

Н. В. Гоголь

**ДУХОВНАЯ ПРОЗА**

84Р1  
Г-58

Составление и комментарий  
**В. А. Воропаева, И. А. Виноградова**  
Вступительная статья **В. А. Воропаева**  
Художник **А. И. Ременник**  
Иллюстрации **Ф. Г. Солиццева**

Г 4702010101-088 50-1992  
М-105(03) 92

ISBN 5-268-00183-3

© В. А. Воропаев, 1992 г., составление, вступительная статья,  
комментарий.

© И. А. Виноградов, 1992 г., составление, комментарий

# ОГЛАВЛЕНИЕ

«МОНАСТЫРЬ ВАШ — РОССИЯ!»	3
ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ	14
ПРЕДИСЛОВИЕ	14
ЗАВЕЩАНИЕ	16
ЖЕНЩИНА В СВЕТЕ (Письмо к ....ой)	19
ЗНАЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ (Из письма к гр. А. П. Т .....му)	21
О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ СЛОВО	23
ЧТЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ ПЕРЕД ПУБЛИКОЮ (Письмо к Л**)	25
О ПОМОЩИ БЕДНЫМ (Из письма к А. О. С.....ой)	26
ОБ ОДИССЕЕ, ПЕРЕВОДИМОЙ ЖУКОВСКИМ (Письмо к Н. М. Я....ву)	27
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НАШЕЙ ЦЕРКВИ И ДУХОВЕНСТВЕ (Из письма к гр. А. П. Т.....му)	31
О ТОМ ЖЕ (Из письма к гр. А. П. Т.....му)	32
О ЛИРИЗМЕ НАШИХ ПОЭТОВ (Письмо к В. А. Ж.....му)	33
СПОРЫ (Из письма к Л***)	41
ХРИСТИАНИН ИДЕТ ВПЕРЕД (Письмо к Щ.....ву)	42
КАРАМЗИН (Из письма к Н. М. Я.... ву)	43
О ТЕАТРЕ, ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ВЗГЛЯДЕ НА ТЕАТР И ВООБЩЕ ОБ ОДНОСТОРОННОСТИ (Письмо к гр. А. П. Т.....му)	45
ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЛИРИЧЕСКОГО ПОЭТА В НЫНЕШНЕЕ ВРЕМЯ (Два письма к Н. М. Я....у)	50
СОВЕТЫ (Письмо к Щ.....ву)	52
ПРОСВЕЩЕНИЕ (Письмо к В. А. Ж.....му)	53
ЧЕТЫРЕ ПИСЬМА К РАЗНЫМ ЛИЦАМ ПО ПОВОДУ «МЕРТВЫХ ДУШ»	55
НУЖНО ЛЮБИТЬ РОССИЮ (Из письма к гр. А. П. Т.....му)	61
НУЖНО ПРОЕЗДИТЬСЯ ПО РОССИИ (Из письма к гр. А. П. Т.....му)	62
ЧТО ТАКОЕ ГУБЕРНАТОРША (Письмо к А. О. С.....ой)	66
РУССКОЙ ПОМЕЩИК (Письмо к Б. Н. Б.....му)	72
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖИВОПИСЕЦ ИВАНОВ (Письмо к гр. Матв. Ю. В..... му)	75
ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ЖЕНА ДЛЯ МУЖА В ПРОСТОМ ДОМАШНЕМ БЫТУ, ПРИ НЫНЕШНЕМ ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ В РОССИИ	79
СЕЛЬСКИЙ СУД И РАСПРАВА (Из письма к М.)	81
СТРАХИ И УЖАСЫ РОССИИ (Письмо к графине .....ой)	82
БЛИЗОРУКОМУ ПРИЯТЕЛЮ	84
ЗАНИМАЮЩЕМУ ВАЖНОЕ МЕСТО	85
ЧЕЙ УДЕЛ НА ЗЕМЛЕ ВЫШЕ (Из письма к У.....му)	93
НАПУТСТВИЕ	93
В ЧЕМ ЖЕ НАКОНЕЦ СУЩЕСТВО РУССКОЙ ПОЭЗИИ И В ЧЕМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЬ	94
СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ	114
КОММЕНТАРИЙ	118

## «МОНАСТЫРЬ ВАШ — РОССИЯ!»

В сознании большинства своих современников Гоголь представлял собой классическую фигуру писателя-сатирика — обличителя пороков человеческих и общественных, блестящего юмориста, наконец, просто писателя-комика, развлекающего и веселящего публику Сам он с горечью осознавал это и писал в «Авторской исповеди» (1847): «Я не знал еще тогда, что мое имя в ходу только затем, чтобы попрекнуть друг друга и посмеяться друг над другом».

Иного Гоголя — писателя-аскета, продолжателя святоотеческой традиции в русской литературе, религиозного мыслителя и публициста, автора молитв — современники так и не узнали. За исключением «Выбранных мест из переписки с друзьями», изданных со значительными цензурными изъятиями и большинством читателей неверно воспринятых, духовная проза Гоголя при жизни его оставалась неопубликованной. Правда, последующие поколения уже смогли познакомиться с ней, и к началу XX столетия писательский облик Гоголя был в какой-то степени восстановлен. Но здесь возникала другая крайность, религиозно-мистическая, «неохристианская» критика рубежа веков и более всего известная книга Д. С. Мережковского «Гоголь. Творчество, жизнь и религия» выстраивали духовный путь Гоголя по своей мерке, изображая его едва ли не болезненным фанатиком, мистиком со средневековым сознанием, одиноким борцом с нечистой силой, а главное — полностью оторванным от Православной Церкви и даже противопоставленным ей, — отчего образ писателя представлял в ярком, но совершенно искаженном виде.

Читатель — наш современник — в своих представлениях о Гоголе отброшен на полтора века назад: ему вновь известен только Гоголь-сатирик, автор «Ревизора», «Мертвых душ» и «тенденциозной» книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Духовная проза Гоголя для наших современников практически не существует; отчасти они находятся в еще более печальном положении, чем современники писателя: те могли судить о нем самостоятельно, а нынешнее общественное мнение о Гоголе является навязанным — многочисленными статьями, научными монографиями и преподаванием в школах и университетах. Между тем понять и оценить творчество Гоголя в целом невозможно вне духовных категорий.

Гений Гоголя до сих пор остается неизвестным в полной мере не только широкому читателю, но и литературоведению, которое в нынешнем его виде просто неспособно осмыслить судьбу писателя и его зрелую прозу. Это может сделать только глубокий знаток как творчества Гоголя, так и святоотеческой литературы — и непременно находящийся в лоне Православной Церкви, живущий церковной жизнью. Дерзнем утверждать, что такого исследователя у нас пока нет. Не беремся за эту задачу и мы: настоящая статья — лишь попытка наметить вехи духовного пути Гоголя.

В письмах Гоголя начала сороковых годов можно встретить намеки на событие, которое, как он потом скажет, «произвело значительный переворот в деле творчества» его. Летом 1840 года он пережил болезнь, но скорее не телесную, а душевную. Испытывая тяжелые приступы «нервического расстройства» и «болезненной тоски» и не надеясь на выздоровление, он даже написал духовное завещание. По словам С.Т. Аксакова, Гоголю были «видения», о которых он рассказывал ухаживавшему за ним в ту пору Н.П. Боткину (брату критика В.П. Боткина). Затем последовало «воскресение», «чудное исцеление», и Гоголь уверовал, что жизнь его «нужна и не будет бесполезна». Ему открылся новый путь. «Отсюда, — пишет С.Т. Аксаков, — начинается постоянное стремление Гоголя к улучшению в себе духовного человека и преобладание религиозного направления, достигшего впоследствии, по моему мнению, такого высокого настроения, которое уже не совместимо с телесною оболочкою человека».

О переломе в воззрениях Гоголя свидетельствует и П.В. Анненков, который утверждает в своих воспоминаниях: «Великую ошибку сделает тот, кто смешает Гоголя последнего периода с тем, который начинал тогда жизнь в Петербурге, и вздумает прилагать к молодому Гоголю нравственные черты, выработанные гораздо позднее, уже тогда, как совершился важный переворот в его существовании». Начало «последнего периода» Гоголя Анненков относит к тому времени, когда они вместе жили в Риме: «Летом 1841 года, когда я встретил Гоголя, он стоял на рубеже нового направления, принадлежа двум различным мирам».

Суждение Анненкова о резкости совершившегося перелома едва ли справедливо: в 1840-е годы духовная устремленность Гоголя только обозначилась яснее и приобрела конкретные жизненные формы. Сам Гоголь всегда подчеркивал цельность и неизменность своего пути и внутреннего мира. В «Авторской исповеди» он писал, отвечая на упреки критиков, утверждавших, что в «Выбранных местах...» он изменил своему назначению и вторгся в чуждые ему пределы: «Я не совращался с своего пути. Я шел тою же дорогою<...> — и я пришел к Тому, Кто есть источник жизни». В статье «Несколько слов о биографии Гоголя» С.Т.Аксаков авторитетно свидетельствует: «Да не подумают, что Гоголь менялся в своих убеждениях; напротив, с юношеских лет он оставался им верен. Но Гоголь шел постоянно вперед; его христианство становилось чище, строже; высокое значение цели писателя яснее и суд над самим собой суровее».

У Гоголя постепенно вырабатываются аскетические устремления и все яснее вырисовывается христианский идеал. Еще в апреле 1840 года он писал Н.Д. Белозерскому: «Я же теперь больше гожусь для монастыря, чем для жизни светской». А в феврале 1842 года признается Н. М. Языкову: «Мне нужно уединение, решительное уединение <...> Я не рожден для треволнений и чувствуя с каждым днем и часом, что нет выше удела на свете, как звание монаха». Однако монашеский идеал Гоголя имеет особенный вид. Речь идет об очищении не только души, но и вместе с нею и художественного таланта. В начале 1842 года он задумал поездку в Иерусалим и получил благословение на

это преосвященного Иннокентия (Борисова), известного проповедника и духовного писателя, в ту пору епископа Харьковского. С. Т. Аксаков так рассказывает об этом: «Вдруг входит Гоголь с образом Спасителя в руках и сияющим, просветленным лицом. Такого выражения в глазах у него я никогда не видывал. Гоголь сказал: «Я все ждал, что кто-нибудь благословит меня образом, и никто не сделал этого; наконец, Иннокентий благословил меня. Теперь я могу объявить, куда я еду: ко Гробу Господню». С этим образом Гоголь не расставался, а после смерти он хранился у Анны Васильевны Гоголь, сестры писателя.

Когда жена Аксакова, Ольга Семеновна, сказала, что ожидает теперь от него описания Палестины, Гоголь ответил: «Да, я опишу вам ее, но для того мне надобно очиститься и быть достойным». Продолжение литературного труда он теперь не мыслит без предварительного обновления души: «Чище горнего снега и светлей небес должна быть душа моя, и тогда только я приду в силы начать подвиги и великое поприще, тогда только разрешится загадка моего существования» (из письма к В. А. Жуковскому, июнь 1842 года).

Косвенное отражение духовной жизни Гоголя этой поры можно найти во второй редакции повести «Портрет». Художник, создавший портрет ростовщика, решает уйти от мира и становится монахом. Очистившись подвижнической жизнью отшельника, он возвращается к творчеству и пишет картину, которая поражает зрителей святостью изображенного. В конце повести монах-художник наставляет сына: «Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится».

Вторая редакция «Портрета», появившаяся в 1842 году, незадолго до выхода «Мертвых душ», осталась не замеченной критикой, если не считать неодобрительного отзыва Белинского. Но Шевырев, прочитавший переделанный Гоголем «Портрет», писал ему в марте 1843 года: «Ты в нем так раскрыл связь искусства с религией, как еще нигде она не была раскрыта».

Паломничество в Иерусалим состоялось только шесть лет спустя, хотя стремление в Святую Землю Гоголь хранил все эти годы, — пытаясь поехать и в 1845 и в 1847 годах.

С лета 1842 года Гоголь живет за границей. Он принимается за чтение книг духовного содержания, уделяя преимущественное внимание святоотеческой литературе. Его письма сороковых годов наполнены просьбами о присылке книг по богословию, истории Церкви, русским древностям. Друзья и знакомые шлют ему творения святых отцов, издаваемые Московской Духовной академией, сочинения Тихона Задонского, Димитрия Ростовского, епископа Иннокентия, номера журнала «Христианское чтение». Присланное Н. М. Языковым «Добротолюбие» (собрание аскетических писаний) стало для Гоголя одной из самых насыщенных книг. Не обходит он и западного богословия, читая Боссюэ, Фому Аквинского, приписываемую Фоме Кемпийскому книгу «О подражании Иисусу Христу». Сам Гоголь в «Авторской исповеди» так писал о той эпохе своей жизни: «С этих пор человек и душа человека сделались, больше чем когда-либо, предметом наблюдений. Я оставил на время все современное; я обратил

внимание на узnanье тех вечных законов, которыми движется человек и человечество вообще. Книги законодателей, душеведцев и наблюдателей за природой человека стали моим чтением <...> и на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши, что в Нем ключ к душе человека...»

В 1844 году Гоголь делает выписки в особую тетрадь из творений святых отцов и учителей Церкви, пользуясь в основном журналом «Христианское чтение» за 1842 год<sup>1</sup>. Помимо святых Иоанна Златоуста, Василия Великого, Ефрема Сиринса, Григория Нисского, Иоанна Дамаскина, Димитрия Ростовского, в этом сборнике содержатся также отрывки из сочинений духовных писателей, современников Гоголя: митрополита Филарета (Дроздова), Задонского Затворника Георгия (Машурина), преосвященного Михаила (Десницкого), протоиерея Сабинина. В это время — зимой 1843/44 года — Гоголь живет в Ницце у Виельгорских. Здесь он пишет для своих друзей ряд духовно-нравственных наставлений, или «правил», которыми они должны были руководствоваться в повседневной жизни. Покинув Ниццу в марте 1844 года, он напоминает Л. К. Виельгорской, обращаясь одновременно ко всей семье: «Вы дали мне слово во всякую горькую и трудную минуту, помолившись внутри себя, сильно и искренно приняться за чтение тех правил, которые я вам оставил, вникая внимательно в смысл всякого слова, потому что всякое слово многозначительно и многое нельзя понимать вдруг. Исполнили ли вы это обещание? Не пренебрегайте никак этими правилами, они все истекли из душевного опыта, подтверждены святыми примерами, и потому примите их как повеление Самого Бога».

Эту попытку проповеди можно представить себе как подступы к «Выбранным местам из переписки с друзьями» — многие идеи будущей книги содержатся в этих «правилах». Гоголь как бы нащупывает новый для себя жанр, приближаясь к традиции святоотеческой литературы.

Теперь уже продолжение «Мертвых душ» Гоголь не мыслит без постоянной внутренней работы над собой. «Сочиненья мои так связаны тесно с духовным образованием меня самого и такое мне нужно до того времени вынести внутреннее сильное воспитание душевное, глубокое воспитание, что нельзя и надеяться на скорое появление моих новых сочинений», — писал он П. А. Плетневу в октябре 1843 года. А в июле следующего года отвечал Н. М. Языкову на его запрос: «Ты спрашиваешь, пишутся ли «Мертвые души»? Пишутся и не пишутся. <...> Я иду вперед — идет и сочинение, я остановился — нейдет и сочинение».

Напряженная внутренняя жизнь отразилась и на внешнем облике Гоголя. П. В. Анненков, встретивший его в 1846 году в Париже, вспоминает: «Гоголь

<sup>1</sup> Эта рукопись дошла до нас в двух копиях, которые хранятся ныне в Центральной научной библиотеке АН Украины в г. Киеве. Описание сборника см.: Петров Н. И. Новые материалы для изучения религиозно-нравственных воззрений Н. В. Гоголя//Труды Киевской Духовной академии.— 1902.— Т. 2.— Кн. 6.

постарел, но приобрел особенного рода красоту, которую нельзя иначе определить, как назвав красотой мыслящего человека. Лицо его побледнело, осунулось; глубокая, томительная работа мысли положила на нем ясную печать истощения и усталости, но общее выражение его показалось мне как-то светлее и спокойнее прежнего. Это было лицо философа».

Одним из самых трудных в жизни Гоголя был год 1845-й. Его письма этой поры полны жалоб на ухудшающееся здоровье. Болезненность его усугублялась тем, что он «хотел насильно заставить писать себя», тогда как душа его «была не готова» к этому. «Я мучил себя, — признавался он в начале апреля этого года А. О. Смирновой, — насиливал писать, страдал тяжким страданием, видя бессилие, и несколько раз даже причинял себе болезнь таким принуждением и ничего не мог сделать, и все выходило принужденно и дурно. И много, много раз тоска и даже чуть-чуть не отчаяние овладевали мною от этой причины».

В январе-феврале 1845 года Гоголь — в Париже у графа А. П. Толстого. Об этом времени он писал Н. М. Языкову: «Жил внутренне, как в монастыре, и, в прибавку к тому, не пропустил почти ни одной обедни в нашей церкви». Такому образу жизни соответствует и характер его занятий: он изучает чинопоследование Литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого на греческом языке, пользуясь библиотекой настоятеля русской посольской церкви протоиерея отца Димитрия Вершинского, который был глубоким знатоком святоотеческой письменности и публиковал свои переводы в журнале «Христианское чтение».

Почти ежедневные посещения церковных служб создавали у Гоголя высокое духовное настроение. В связи с этим он писал в конце февраля 1845 года А. О. Смирновой, что «был сподоблен Богом и среди глупейших минут душевного состояния вкусить небесные и сладкие минуты».

В Париже Гоголь приступает к работе над книгой о Божественной Литургии, оставшейся незаконченной и увидевшей свет только после его смерти. Цель этого духовно-просветительского труда, как ее определил Гоголь, — «показать, в какой полноте и внутренней глубокой связи совершается наша Литургия, юношам и людям, еще начинающим, еще мало ознакомленным с ее значением».

Однако стремление к пониманию сокровенного смысла Литургии возникло у Гоголя не в это время, а гораздо раньше. Еще в 1842 году он писал матери: «...есть много тайн во глубине души нашей, которых еще не открыл человек и которые могут подарить ему чудные блаженства. Если вы почувствуете, что слово ваше нашло доступ к сердцу страждущего душою, тогда идите с ним прямо в церковь и выслушайте Божественную Литургию. Как прохладный лес среди палящих степей, тогда примет его молитва под сень свою». Эта любовь к литургическому слову вызревала постепенно и после нескольких лет заграничных странствий и душевных тревог вылилась в желание передать другим накопленный опыт.

К весне — началу лета 1845 года болезнь Гоголя усиливается. О его тяжком физическом и душевном состоянии свидетельствует православный священник, духовник Жуковского отец Иоанн Базаров, в ту пору настоятель вновь учрежденной домовой церкви в Висбадене. В апреле он получил от Гоголя,

жившего тогда во Франкфурте, записку: «Приезжайте ко мне причастить меня, я умираю». Отец Иоанн застал его на ногах. На вопрос, почему он считает свое положение столь опасным, Гоголь протянул руки и сказал: «Посмотрите! совсем холодные!» Однако священник убедил его, что он вовсе не в таком состоянии, чтобы причащаться на дому, и уговорил приехать в Висбаден говеть, что тот и исполнил. Будучи в доме Базарова, в кабинете хозяина, Гоголь по своей всегдашней привычке рассматривал его библиотеку. Увидев свои книги, он воскликнул чуть ли не с испугом: «Как! И эти несчастные попали в вашу библиотеку!» «Это было именно то время, — поясняет отец Иоанн, — когда он раскаивался во всем, что им было написано»<sup>2</sup>.

В конце июня — начале июля разразился кризис. Как бы предчувствуя неминуемую смерть, Гоголь пишет новое духовное завещание, впоследствии включенное в книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», и сжигает рукопись второго тома. О самом сожжении мы почти не имеем других сведений, кроме сообщенных Гоголем в последнем из «Четырех писем к разным лицам по поводу «Мертвых душ», напечатанных в той же книге. «Не легко было сжечь пятилетний труд, производимый с такими болезненными напряжениями, где всякая строка досталась потрясением, где было многое того, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу».

В этом же письме Гоголь указал и на причины сожжения: «Появление второго тома в том виде, в каком он был, произвело бы скорее вред, нежели пользу. <...> Бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколение к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бывает время, что даже вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого».

В несомненной связи с сожжением второго тома и созданием «Завещания» находится и попытка Гоголя в конце июня — начале июля 1845 года оставить литературное поприще и уйти в монастырь. Об этом рассказывает в своих «Записках» Марфа Степановна Сабинина — дочь веймарского православного священника Степана Карповича Сабинина: «Он (Гоголь. — В. В.) приехал в Веймар, чтобы поговорить с моим отцом о своем желании поступить в монастырь. Видя его болезненное состояние, следствием которого было ипохондрическое настроение духа, отец отговаривал его и убедил не принимать окончательного решения»<sup>3</sup>. О состоянии души Гоголя в данный момент свидетельствует и следующий эпизод из рассказа Сабининой: «Моей матери он подарил хромолитографию — вид Брюлевской террасы<sup>4</sup> она наклеила этот вид в свой альбом и попросила Гоголя подписаться под ним. Он долго ходил по комнате, наконец сел к столу и написал: «Совсем забыл свою фамилию: кажется, был когда-то Гоголем». Эта фраза заставляет вспомнить осуждение писателем своих сочинений в библиотеке отца Иоанна Базарова — Гоголь как бы видит себя

<sup>2</sup> Воспоминания протоиерея И. И. Базарова // Русская старина. — 1901. — № 2. — С. 294.

<sup>3</sup> Русский архив. — 1900. — № 4. — С. 534.

<sup>4</sup> Парк в Дрездене.

уже монахом.

В Веймаре Гоголь был вместе с графом Толстым, чьи устремления также были направлены к монашеству. Отзвук поездки в Веймар можно найти в письме Гоголя «Нужно проездиться по России», вошедшем в «Выбранные места...» и адресованном графу Толстому: «Нет выше званья, как монашеское, и да сподобит нас Бог надеть когда-нибудь простую ризу чернечца, так желанную душе моей, о которой уже и помышленье мне в радость. Но без зова Божьего этого не сделать. Чтобы приобрести право удалиться от мира, нужно уметь расстаться с миром. <...> Нет, для вас так же, как и для меня, заперты двери желанной обители. Монастырь ваш — Россия!»

По словам В. А. Жуковского, настоящим призванием Гоголя было монашество. «Я уверен, — писал Жуковский П. А. Плетневу в марте 1852 года из Бадена, получив известие о смерти Гоголя, — что если бы он не начал свои «Мертвые Души», которых окончание лежало на его совести и все ему не давалось, то он давно бы был монахом и был бы успокоен совершенно, вступив в ту атмосферу, в которой душа его дышала бы легко и свободно»<sup>5</sup>.

Гоголь — одна из самых аскетических фигур нашей литературы. Последнее его десятилетие проходит под знаком все усиливающейся тяги к земному претворению христианского идеала. Не давая важнейших обетов монашества — целомудрия и нестяжания, — он воплощал их в своем образе жизни. «Niщенство есть блаженство, которого еще не раскусил свет. Но кого Бог удостоил отведать его сладость и кто уже возлюбил истинно свою нищенскую сумку, тот не продаст ее ни за какие сокровища здешнего мира».

Однако подлинный трагизм ситуации заключался в том, что монашеский склад был только одной и, вероятно, не главной стороной гоголевской натуры. Художническое начало побеждало в нем; кризис Гоголя — следствие глубочайшего внутреннего конфликта между духовными устремлениями и писательским даром.

Еще по меньшей мере дважды Гоголь пытался если не уйти в монахи, то хотя бы приблизиться к монастырю — в конце жизни он собирался на Афон и несколько раз ездил в Оптину Пустынь. Одним из ключевых моментов его духовного развития стало паломничество в Иерусалим в 1848 году.

О своем намерении совершить путешествие в Святую Землю Гоголь публично объявил в предисловии к «Выбранным местам...», прося при этом прощения у своих соотечественников, испрашивая молитвы у всех в России — «начиная от святителей» и кончая теми, «которые не веруют вовсе в молитву», — и в свою очередь обещая молиться о всех у Гроба Господня.

В 1847 году в Иерусалиме в связи с большим числом паломников из России была основана Русская Духовная миссия. Начальником ее был назначен архимандрит Порфирий (Успенский), впоследствии епископ Чигиринский, крупнейший знаток культуры христианского Востока; в составе миссии находились также иеромонах Феофан (Говоров), будущий епископ Тамбовский, Владимирский и Сузdalский, знаменитый Затворник Вышинский

<sup>5</sup> Сочинения и переписка П. А. Плетнева. — Спб., 1885. — Т. 3. — С. 732.

(прославленный в лице святых Поместным Собором Русской Православной Церкви в 1988 году), и только что окончивший Петербургскую семинарию молодой священник отец Петр Соловьев. Последний оставил воспоминания о встрече с Гоголем в январе 1848 года на пароходе «Истамбул», следовавшем к берегам Сирии — в Бейрут, откуда миссия должна была отправиться в Иерусалим. Архимандрит Порфирий отрекомендовал Гоголю отца Петра как художника. Гоголь показал тому маленький образ Святителя Николая и спросил его мнения о работе. «По всему видно было, что он высоко ценил в художественном отношении свою икону и дорожил ею как святынею», — вспоминал отец Петр<sup>6</sup>.

Из Бейрута Гоголь и его спутник, отставной генерал М. И. Крутов, в сопровождении нежинского однокашника Гоголя, русского генерального консула в Сирии и Палестине К. М. Базили отправились в Иерусалим. Примерно в середине февраля 1848 года в записной книжке Гоголя появляется запись: «Николай Гоголь — в Св. Граде».

Пребывание Гоголя в Святой Земле — довольно неясный эпизод его духовной биографии. Он осуществляет все то, что полагается паломнику: проходит по местам земной жизни Спасителя, говеет и приобщается Св. Тайн у Гроба Господня, молится за всю Россию — подобно своему далекому предшественнику, древнерусскому поклоннику игумену Даниилу, который в XII веке молился здесь за себя и еще больше за Русскую Землю.

Гоголевское описание Литургии у Гроба Господня исполнено высокого воодушевления и теплого чувства: «Я стоял в нем (алтаре. — В. В.) один: передо мною только священник, совершивший Литургию. Диакон, призывающий народ к молению, уже был позади меня, за стенами Гроба. Его голос уже мне слышался в отдалении. Голос же народа и хора, ему ответствовавшего, был еще отдаленнее. Соединенное пение русских поклонников, возглашавших «Господи, помилуй» и прочие гимны церковные, едва доходило до ушей, как бы исходившее из какой-нибудь другой области. Все это было так чудно! Я не помню, молился ли я. Мне кажется, я только радовался тому, что поместился на месте, так удобном для молчания и так располагающем молиться. Молиться же собственно я не успел. Так мне кажется. Литургия неслась, мне казалось, так быстро, что самые крылатые молчания не в силах бы угнаться за нею. Я не успел почти опомниться, как очутился перед Чашей, вынесенной священником из вертепа для приобщения меня, недостойного...» (из письма В. А. Жуковскому в апреле 1848 года).

Однако в целом паломничество, видимо, не дало тех плодов, на которые Гоголь надеялся, — некоего духовного просветления. «Мое путешествие в Палестину точно было совершено мною затем, — писал он тому же Жуковскому в феврале 1850 года, — чтобы узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика черствость моего сердца. Друг, велика эта черствость! Я удостоился провести ночь у Гроба Спасителя, я удостоился приобщиться от Святых Тайн, стоявших на самом Гробе вместо алтаря, — и при всем том я не стал лучшим, тогда как все земное должно бы во мне сгореть и остаться одно

<sup>6</sup> Русская старина. — 1883. — № 3. — С. 554.

небесное».

Позднее Гоголь не раз говорил и писал о новой поездке в Иерусалим. Однажды Н.Н. Сорен, рожденная Смирнова, дочь Александры Осиповны, тогда еще маленькая девочка, спросила его: «А меня возьмете в Иерусалим?» Гоголь ответил задумчиво: «Я не скоро поеду; мне нужно прежде кончить дело».

В Иерусалиме Гоголю побывать больше не удалось — как не удалось ему и съездить на Афон, куда он также стремился. Летом 1850 года И. С. Аксаков извещал родных, что получил письмо от А. О. Смирновой, которая пишет, что «Гоголь, вероятно, поселится на Афонской горе и там будет кончать «Мертвые Души». А в сентябре А. О. Смирнова сама писала Гоголю об его поездке на Афон как о деле, уже для него решенном. Намерения Гоголя подтверждаются и свидетельством одного из его друзей — известного паломника и духовного писателя Святогорца (в мире Семен Авдиеевич Веснин, в монашестве — Серафим, в схиме — Сергий). Узнав о кончине Гоголя, он писал из Афонской Козмодамиановской пустыни в апреле 1852 года: «Смерть Гоголя — торжество моего духа. Покойный много потерпел и похворал, — надобно и пора ему на отдых в райских обителях. Жаль только, что он не побывал у нас. Я очень любил его; в Одессе мы с ним видались несколько раз, и наше расставание было условное — видеться здесь. Судьбы Божий непостижимы!»<sup>7</sup>

Вместо Афона Гоголь оказался в Оптиной Пустыни. Помимо чисто паломнических целей, его влек туда и углубленный интерес к свято-отеческой литературе. В середине 1840-х годов по инициативе старца Макария и его духовных чад, Ивана Васильевича Киреевского, известного общественного деятеля и философа-славянофила, и его жены Натальи Петровны Киреевской в монастыре началось издание этой литературы.

В Оптиной Пустыни Гоголь бывал по крайней мере трижды. Впервые он приехал сюда вместе со своим другом М. А. Максимовичем 17 июня 1850 года проездом на юг. Здесь он присутствовал на всенощном бдении, во время которого «молился весьма усердно и с сердечным умилением», потом посетил старцев и через день (19 июня) отправился в имение И. В. Киреевского Долбино, находившееся в сорока verstах от монастыря. Отсюда он написал письмо оптинскому иеромонаху Филарету: «Ради Самого Христа, молитесь обо мне, отец Филарет. Просите вашего достойного настоятеля, просите всю братию, просите всех, кто у вас усерднее молится и любит молиться, просите молитв обо мне. Путь мои труден; дело мое такого рода, что без ежеминутной, без ежечасной и без явной помощи Божией не может двинуться мое перо...» Гоголь понял, что оптинский дух стал для него жизненно необходим: «Мне нужно ежеминутно, говорю вам, быть мыслями выше житейского дрязгу и на всяком месте своего странствия быть в Оптинской Пустыни».

О своем впечатлении от поездки Гоголь спустя три недели рассказал в письме к графу А. П. Толстому: «Я заезжал на дороге в Оптинскую Пустынь и навсегда унес с ней воспоминание. Я думаю, на самой Афонской горе не лучше.

<sup>7</sup> Биография Святогорца, письма его к друзьям своим о Святой Горе Афонской, доныне не изданные, и келейные записки. — М., 1883. — Т. 3. — С. 68-69.

Благодать видимо там присутствует. Это слышится в самом наружном служении, хотя и не можем объяснить себе, почему. Нигде я не видел таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует все небесное».

Во второй раз Гоголь посетил святою обитель в июне 1851 года. Об этой поездке (выпавшей из поля зрения биографов Гоголя) известно из записи в дневнике оптинского иеромонаха Евфимия (Трунова) от 2 — 3 июня 1851 года: «Пополудни прибыл проездом из Одессы в Петербург известный писатель Николай Васильевич Гоголь. С особенным чувством благоговения отслушал вечерню, панихиду на могиле своего духовного друга, монаха Порфирия Григорова, потом всенощное бдение в со боре. Утром в воскресенье 3-го числа он отстоял в скиту Литургию и во время поздней обедни отправился в Калугу, поспешая по какому-то делу. Гоголь оставил в памяти нашей обители примерный образец своего благочестия»<sup>8</sup>.

В третий и последний раз Гоголь совершил паломничество в Оптину Пустынь в сентябре 1851 года. 22 сентября он выехал из Москвы в Васильевну на свадьбу сестры, намереваясь оттуда проехать в Крым и остаться там на зиму. Однако, доехав только до Калуги, он отправился в Оптину, а потом неожиданно для всех вернулся в Москву. 24 сентября он был у старца Макария в скиту, а на следующий день обменялся с ним записками, из которых видно, что Гоголь пребывал в нерешительности — ехать или не ехать ему на родину. Он обратился к старцу за благословением, и тот посоветовал ему вернуться в Москву.

По некоторым сведениям Гоголь имел намерение остаться в монастыре. В 1912 году оптинский старец Варсонофий (Плиханков) рассказывал своим духовным детям: «Есть предание, что незадолго до смерти он (Гоголь. — В. В.) говорил своему близкому другу: «Ах, как много я потерял, как ужасно много потерял, что не поступил в монахи. Ах, отчего батюшка Макарий не взял меня к себе в скит?»

Если это действительно так, то старец Макарий, вероятно, не мог не напомнить Гоголю о его писательском даре, тем более что Гоголь просил у него благословения на свои труды. Сохранилось письмо старца от 21 июля 1851 года (ответ на не дошедшее до нас письмо Гоголя), где он как раз и поддерживает писателя в его творческих планах: «Спаси вас Господи за посещение нашей обители и за <...> намерение составить книгу для пользы юношества...»<sup>9</sup> (речь идет о неосуществленном замысле).

Гоголь был едва ли не единственным русским светским писателем XIX века, творческую мысль которого могли питать святоотеческие писания. Так, в один из своих приездов в Оптину Пустынь он прочитал здесь рукописную книгу св. Исаака Сирина (с которой в 1854 году старцем Макарием было сделано печатное издание), ставшую для него откровением. На полях 11-й главы первого издания «Мертвых душ» Гоголь против того места, где речь идет о «прирожденных страсти», набросал карандашом: «Это я писал в «прелести»

<sup>8</sup> Нилус С. Святыня под спудом. Тайна православного монашеского духа. — Сергиев Посад, 1911. — С. 81.

<sup>9</sup> Шенрок В.И. Материалы для биографии Гоголя. — М., 1897. — Т. 4. — С. 828.

(обольщении. — В. В.), это вздор — прирожденные страсти — зло, и все усилия разумной воли человека должны быть устремлены для искоренения их. Только дымное надмение человеческой гордости могло внушить мне мысль о высоком значении прирожденных страстей — теперь, когда стал я умнее, глубоко сожалею о «гнилых словах», здесь написанных. Мне чуялось, когда я печатал эту главу, что я путаюсь, вопрос о значении прирожденных страстей много и долго занимал меня и тормозил продолжение «Мертвых душ». Жалею, что поздно узнал книгу Исаака Сир이나, великого душеведца и прозорливого инока. Здравая психология, и не кривое, а прямое понимание души встречаем у подвижников-отшельников»<sup>10</sup>.

\* \* \*

«Выбранные места из переписки с друзьями» — центральная вещь позднего Гоголя, в которой, как в фокусе, собраны и сконцентрированы все проблемы его писательской и личной биографии. Книга вышла в самом начале 1847 года. О замысле ее Гоголь впервые сообщает А.О. Смирновой в апреле 1845 года: «Это будет небольшое произведение и не шумное по названию в отношении к нынешнему свету, но нужное для многих...» Год спустя, в письме к Н.М. Языкову, он снова говорит о своем замысле: «Я как рассмотрел все то что писал разным лицам в последнее время, особенно нуждавшимся и требовавшим от меня душевной помощи, вижу, что из этого может составиться книга, полезная людям, страждущим на разных поприщах. <...> Я попробую издать, прибавив кое-что вообще о литературе». В это время Гоголь уже работает над книгой. Это видно из письма к Языкову от 5 мая н. ст. 1846 года: «Я не оставляю намерения издать выбранные места из писем, а потому, может быть, буду сообщать тебе отныне почаще те мысли, которые нужно будет пустить в общий обиход». В этом же году Гоголь набрасывает в записной книжке план будущей книги, в которой, как он надеялся, он сможет разрешить свою важнейшую писательскую задачу.

Наиболее напряженное время работы над книгой — лето и осень 1846 года (почти половина писем датированы этим годом). Работа шла в двух направлениях: Гоголь перерабатывает уже написанные письма (возможно, часть из них он сохранил в черновиках, другие были возвращены его корреспондентами) и пишет ряд новых глав. Одни представляют собой статьи, другие — письма, адресованные реальным и вымышленным лицам. Среди немногих, посвященных в замысел, был Жуковский, которому Гоголь читал отрывки.

Книга была написана быстро — на одном дыхании. «...Вдруг остановились самые тяжкие недуги, вдруг отклонились все помешательства в работе, и продолжалось все это до тех пор, покуда не кончилась последняя строка труда» (из письма П.А. Плетневу в октябре 1847 года). Здесь же Гоголь объясняет происхождение той легкости, с которой он на этот раз работал: «Я действовал твердо во имя Бога, когда составлял мою книгу, во славу Его святого имени взял перо, а потому и расступились перед мною все препядды...»

---

<sup>10</sup> Матвеев П. Гоголь в Оптино Пустыни // Русская старина. — 1903. — № 2. — С. 303.

Посылая в конце июля 1846 года Плетневу в Петербург первую тетрадь рукописи, Гоголь требует: «Все свои дела в сторону, и займись печатаньем этой книги под названием: «Выбранные места из переписки с друзьями». Она нужна, слишком нужна всем — вот что покамест могу сказать; все прочее объясnit тебе сама книга». Гоголь настолько уверен в успехе, что советует Плетневу запасать бумагу для второго издания, которое, по его убеждению, последует незамедлительно: «Книга эта разойдется более, чем все мои прежние сочинения, потому что это до сих пор моя единственная дельная книга». Узнав о возникших цензурных затруднениях. Гоголь просит Смирнову, которая жила в Калуге, съездить в Петербург и предпринять необходимые шаги для устронения препятствий, а Плетневу предлагает в случае осложнения с цензором представить книгу самому государю на прочтение в корректурных листах: «Дело мое — правда и польза, и я верю, что моя книга будет вся им пропущена».

Первый и весьма ощутимый удар нанесла книге цензура: пять писем-статей были сняты, в других были сделаны купюры и искажены отдельные места. Встревоженный и огорченный Гоголь жалуется графине А. М. Виельгорской: «В этой книге все было мною рассчитано и письма размещены в строгой последовательности, чтобы дать возможность читателю быть постепенно введену в то, что теперь для него дико и непонятно. Связь разорвана. Книга вышла какою-то оглодыш».

Но гораздо более болезненным для Гоголя оказалось то, что «Выбранные места...» были враждебно встречены критикой и большинством читающей публики: перелом в умонастроении Гоголя, явственно отразившийся в книге, для многих стал полной неожиданностью. Гоголь как бы нарушил законы жанра и в светском произведении заговорил о таких вопросах, которые исконно считались привилегией духовной прозы. П. А. Вяземский не без остроумия писал С. П. Шевыреву в марте 1847 года: «...наши критики смотрят на Гоголя, как смотрел бы барин на крепостного человека, который в доме его занимал место сказочника и потешника и вдруг сбежал из дома и постригся в монахи»<sup>11</sup>.

В спорах быстро выявилась основная тенденция — неприятие книги. Ее безоговорочно осудили не только западники (Герцен, Грановский, Боткин, Анненков), но и люди близкие Гоголю — например, Константин и Сергей Тимофеевич Аксаковы (последний, правда, впоследствии раскаялся в своих резких высказываниях). Апофеозом стала статья Белинского и его известное письмо к Гоголю от 15 июля н. ст. 1847 года из Зальцбрунна, в котором критик утверждал, что Гоголь изменил своему дарованию и убеждениям, что книга написана с целью попасть в наставники к сыну наследника престола; в языке книги он видел падение таланта и недвусмысленно намекал на сумасшествие Гоголя. Но главный пункт, на который нападал Белинский и который является центральным в книге, — был вопрос о религиозном будущем народа.

«По-вашему, русский народ самый религиозный в мире: ложь! — писал критик. — <...> Приглядитесь пристальнее, и вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа

<sup>11</sup> Русский архив. — 1885. — № 6. — С. 311. 19

религиозности. <...> Мистическая экзальтация вовсе не в его натуре: у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме: вот в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических судеб его в будущем».

Гоголь был потрясен несправедливостью многих упреков. Поначалу он написал большое и негодящее письмо, в котором ответил Белинскому по всем пунктам. «Что мне сказать вам на резкое замечание, будто русский мужик не склонен к религии, — писал, в частности, Гоголь, — и что, говоря о Боге, он чешет у себя другой рукой пониже спины, замечание, которое вы с такою самоуверенностью произносите, как будто век обращались с русским мужиком? Что тут говорить, когда так красноречиво говорят тысячи церквей и монастырей, покрывающих Русскую Землю. Они строятся не дарами богатых, но бедными лептами неимущих, тем самым народом, о котором вы говорите, что он с неуважением отзыается о Боге <...> Нет, Виссарион Григорьевич, нельзя судить о русском народе тому, кто прожил век в Петербурге, в занятиях легкими журнальными статейками...»

Этого письма Гоголь, однако, не отправил. Он написал другое, короткое и сдержанное, заключив его словами: «Желаю вам от всего сердца спокойствия душевного, первейшего блага, без которого нельзя действовать и поступать разумно ни на каком поприще». А П. В. Анненкову, знакомому с письмом Белинского, Гоголь признавался, что оно огорчило его «не столько оскорбительными словами», сколько «чувством ожесточенья вообще».

Среди немногих, безоговорочно принявших книгу, был П. А. Плетнев, который назвал ее в письме к Гоголю «началом собственно русской литературы», но оговорил, что она «совершит влияние свое только над избранными». Вряд ли это устраивало Гоголя, ведь он собирался наставить на путь истинный всю Россию.

Весьма сдержанно отнеслось к книге и духовенство, традиционно не вмешивающееся в дела светской литературы. С. Т. Аксаков в письме к сыну Ивану в феврале 1847 года передал мнение митрополита Московского Филарета, который сказал, что «хотя Гоголь во многом заблуждается, но надо радоваться его христианскому направлению». Архиепископ Иннокентий, которому Гоголь послал экземпляр «Выбранных мест...», свое отношение к ним высказал в письме к М. П. Погодину: «...скажите, что я благодарен за дружескую память, помню и уважаю его, а люблю по-прежнему, радуюсь перемене с ним, только прошу его не парадировать набожностию: она любит внутреннюю клеть. Впрочем, это не то чтоб он молчал. Голос его нужен, для молодежи особенно, но если он будет неумерен, то поднимут на смех, и пользы не будет». Гоголь отвечал преосвященному Иннокентию (в июле 1847 года), что не хотел «парадировать набожностию», то есть выставлять ее напоказ: «Я хотел чистосердечно показать некоторые опыты над собой, именно те, где помогла мне религия в исследовании души человека, но вышло все это так неловко, так странно, что я не удивляюсь этому вихрю недоразумения, какой подняла моя книга».

На «Выбранные места...» откликнулся и святитель Игнатий (Брянчанинов), в ту пору архимандрит, настоятель Троице-Сергиевой пустыни

близ Петербурга, а впоследствии епископ Кавказский и Черноморский, один из авторитетнейших духовных писателей XIX века, канонизированный Русской Православной Церковью на Поместном Соборе 1988 года. Он отзывался о книге Гоголя довольно критически: «...она издает из себя и свет и тьму. Религиозные его понятия неопределены, движутся по направлению сердечного вдохновения неясного, безотчетливого, душевного, а не духовного»<sup>12</sup>.

Отзыв архимандрита Игнатия Гоголю переслал П. А. Плетнев. В ответном письме к Плетневу из Неаполя в мае 1847 года Гоголь признал справедливость упреков, но утверждал, что для произнесения полного суда над книгой «нужно быть глубокому душеведцу, нужно почувствовать и услышать страданье той половины современного человечества, с которою даже не имеет и случая сойтись монах; нужно знать не свою жизнь, но жизнь многих. Поэтому никак для меня не удивительно, что им видится в моей книге смешение света со тьмой. Свет для них та сторона, которая им знакома; тьма та сторона, которая им незнакома...»

Последнее замечание Гоголя о святителе Игнатии едва ли справедливо. Еще до монашества тому было хорошо известно светское общество, представители которого и впоследствии обращались к нему за духовным руководством. С ранней юности стремившийся к подлинной духовно нравственной жизни и явивший в себе высокий образец такой жизни, святитель Игнатий в этом смысле был, разумеется, неизмеримо опытнее Гоголя. Весьма показательно, например, его отношение к популярной в России книге «О подражании Иисусу Христу» Фомы Кемпийского. Эта книга, которую многие современники Гоголя, и в частности Пушкин, ставили рядом с Евангелием и которой увлекался сам Гоголь — он рекомендовал ее для чтения своим друзьям, — оказала определенное влияние на «Выбранные места...». Насколько Гоголь высоко оценивал книгу Фомы Кемпийского, настолько святитель Игнатий резко ее порицал: «Книга эта написана из «мнения», — считал он, — и «ведет читателей своих прямо к общению с Богом без предохищения покаянием: почему и возбуждает особенное сочувствие к себе в людях страстных, незнакомых с путем покаяния, непредохраненных от самообольщения и прелести, не наставленных правильному жительству учением святых отцов Православной Церкви»<sup>13</sup>.

С отзывом преосвященного Игнатия о «Выбранных местах...», как видно, были согласны и оптинские старцы, к которым святитель был близок (духовный сын старца Леонида, он в молодости проходил послушание в Оптиной, а на склоне лет намеревался поселиться в тамошнем скиту). В библиотеке Оптиной Пустыни хранилась книга Гоголя с вложенным в нее отзывом архимандрита Игнатия, переписанным рукой старца Макария<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> Соколов Л. Епископ Игнатий Брянчанинов. Его жизнь, личность и морально-аскетические воззрения. Ч. 2. Приложения. — Киев 1915. — С. 121.

<sup>13</sup> Сочинения епископа Игнатия Брянчанинова. Т. 1: Аскетические опыты. — Спб., 1905. — С. 253, 255.

<sup>14</sup> См.: Богданов Д.П. Оптина Пустынь и паломничество в нее русских писателей // Исторический вестник. — 1910. — № 10.

По-видимому, резко отрицательное мнение о «Переписке» имел ржевский священник отец Матвей Константиновский (Гоголь послал ему книгу по рекомендации графа Толстого). Отзыв отца Матвея не сохранился, но мы можем судить о нем по ответу Гоголя, который писал ему в мае 1847 года: «Не могу скрыть от вас, что меня очень испугали слова ваши, что книга моя должна произвести вредное действие и я дам за нее ответ Богу». По всей вероятности, отец Матвей упрекал Гоголя в самозваном учительстве, в увлечении светскими темами (в частности, он нападал на статью «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности», как уводящую общество от Церкви к театру), а Гоголь защищался тем, что «закон Христов можно внести с собой повсюду <...> Его можно исполнять также и в званы писателя» (из письма от конца сентября 1847 года). И далее — в этом же письме знаменательная фраза, возможно, отзвук веймарских событий: «Если бы я знал, что на каком-нибудь другом поприще могу действовать лучше во спасенье души моей и во исполненье всего того, что должно мне исполнить, чем на этом, я бы перешел на то поприще. Если бы я узнал, что я могу в монастыре уйти от мира, я бы пошел в монастырь. Но и в монастыре тот же мир окружает нас, те же искушенья вокруг нас...»

Наиболее благоприятный отзыв о «Выбранных местах...» из духовных лиц принадлежал архимандриту Феодору (Бухареву). Он вылился в целую книгу — «Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году», увидевшую свет через двенадцать лет после своего создания. Отец Феодор стремился связать «Выбранные места...» со всем творчеством Гоголя, и в особенности с «Мертвыми душами», главную идею которых видел в воскресении падшего человека. Он читал Гоголю отрывки из своей книги. «Из его речей, — свидетельствует Бухарев, — мне можно было с грустию видеть, что не мешало бы сказать и благоприятному о его «Переписке» голосу: мне виделся в нем уже мученик нравственного одиночества...»<sup>15</sup>

Но надо заметить, что все отзывы духовных лиц носили частный характер — они были переданы в письмах (за исключением книги архимандрита Феодора, вышедшей уже после смерти Гоголя). Напротив, шквал светской критики, обрушившийся на «Выбранные места...» с журнальных страниц, создал в обществе резко недоброжелательное мнение о книге. В ней видели отказ Гоголя от художественного творчества и самонадеянные попытки проповедничества. Распространилось убеждение, что Гоголь помешался, и оно держалось до последних дней жизни писателя. И. С. Тургенев, посетивший вместе с М. С. Щепкиным Гоголя в октябре 1851 года, вспоминал, что они «ехали к нему, как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове... Вся Москва была о нем такого мнения». В который раз подтвердились слова апостола Павла: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно» (1-е Кор. 2,14).

Гоголя огорчала не столько журнальная критика, сколько нападения друзей. «Душа моя изныла, — писал он С. Т. Аксакову в июле 1847 года, — как

<sup>15</sup> <Бухарев А.М.> Три письма к Н.В. Гоголю, писанные в 1848 году. — Спб., 1860. — С. 138-139.

ни креплюсь и ни стараюсь быть хладнокровным. <...> Можно еще вести брань с самыми ожесточенными врагами, но храни Бог всякого от этой страшной битвы с друзьями!» Гоголь стремился выработать в себе христианское чувство смирения. В этом свете следует понимать и его признание в письме к С. Т. Аксакову в августе того же 1847 года: «Да, книга моя нанесла мне пораженье, но на это была воля Божия. <...> Без этого поражения я бы не очнулся и не увидал бы так ясно, чего мне недостает. Я получил много писем очень значительных, гораздо значительнее всех печатных критик. Несмотря на все различие взглядов, в каждом из них так же, как и в вашем, есть своя справедливая сторона».

Это свое понимание христианского смирения, почерпнутое из писаний святых отцов, Гоголь сжато изложил в сочинении «Правило жития в мире», созданном зимой 1843/44 года в Ницце: «От споров как от огня следует остерегаться, как бы ни сильно нам противуречили, какое бы неправое мнение нам ни излагали, не следует никак раздражаться, ни доказывать напротив; но лучше замолчать и, удаляясь к себе, взвесить все сказанное и обсудить хладнокровно. <...> Истина, сказанная в гневе, раздражает, а не преклоняет».

В том же письме к Аксакову, где Гоголь говорит о своем «поражении», он высказывает убеждение, что никто не смог дать верного заключения о книге, и прибавляет: «Осудить меня за нее справедливо может один Тот, Кто ведает помышления и мысли наши в их полноте».

Вокруг Гоголя сложилась атмосфера трагического непонимания. Он сделал вывод из резких критик: «Не мое дело поучать проповедью. Искусство и без того уже поученье». Он возвращается к «Мертвым душам» с убеждением: «здесь мое поприще» — и работает над ними вплоть до самой смерти. «Выбранные места...» самым непосредственным образом связаны с продолжением главного творения Гоголя, призванным разрешить, как он говорил, загадку его жизни. Книга оказалась своеобразным лирико-философским эквивалентом второго тома: отдельные письма-статьи (в первую очередь обращенные к графу Толстому) звучат как наброски глав поэмы. «Видя, что еще не скоро я совладаю с моими «Мертвыми душами» <...> — писал Гоголь в августе 1847 года С. Т. Аксакову, — я поспешил заговорить о тех вопросах, которые готовился развить или создать в живых образах и лицах».

Можно сказать, что неприятие публикой «Выбранных мест...» предопределило и неудачу второго тома «Мертвых душ», который Гоголю, по-видимому, не довелось закончить. Последним, кто ознакомился с главами второго тома, был ржевский протоиерей отец Матвей Константиновский (мнением которого Гоголь особенно дорожил) — вероятно, это произошло во время их последней встречи, незадолго до сожжения рукописей. «Возвращая тетради, — рассказывал отец Матвей, — я воспротивился опубликованию некоторых из них. В одной или двух тетрадях был описан священник. Это был живой человек, которого всякий узнал бы. и прибавлены такие черты, которых... во мне нет, да к тому же еще с католическими оттенками, и выходил не вполне православный священник. Я воспротивился опубликованию этих тетрадей, даже просил уничтожить. В другой из тетрадей были наброски... только наброски какого-то губернатора, каких не бывает. Я советовал не публиковать и эту тетрадь, сказавши, что осмеют за нее даже больше, чем за переписку с друзьями»

<sup>16</sup>. Возможно, предостережение отца Матвея, напомнившего Гоголю о судьбе его книги, стало последним толчком в решении сжечь второй том «Мертвых душ».

Отец Матвей, по-видимому, был одним из немногих, кто понимав смысл предсмертной трагедии Гоголя. «С ним повторилось обыкновенно» явление нашей русской жизни, — говорил он. — Наша русская жизнь не мало имеет примеров того, что сильные натуры, наскучивши суетой мирской или находя себя неспособными к прежней широкой деятельности покидали все и уходили в монастырь искать внутреннего умиротворения и очищения <...> Так было и с Гоголем. Он прежде говорил, что ему «нужен душевный монастырь», а пред смертию он еще сильнее по желал его»<sup>17</sup>.

\* \* \*

«Выбранные места из переписки с друзьями» были задуманы как цельное сочинение. Архимандрит Феодор (Бухарев), едва ли не единственный, кто пытался рассмотреть предмет книги, писал, что мысли Гоголя, «как они по внешнему виду ни разбросаны и ни рассеяны в письмах, имеют строгую внутреннюю связь и последовательность, а потому представляют стройное целое». Бухарев различает в книге три «отдела». «Первый составляют, — пишет он, — общие и основные мысли — о бытии и нравственности, о судьбах рода человеческого, о Церкви, о России, о современном состоянии мира». Второй «отдел» состоит из мыслей, касающихся «искусства и в особенности поэзии». Третий составляют некоторые личные объяснения автора о себе, о сочинениях своих и об отношении его к публике.

Схема Бухарева носит в достаточной степени условный характер: эти «отделы» легко можно перераспределить или — выделить другие — например, письма об обязанностях различных сословий и о призвании каждого отдельного человека («Что такое губернаторша», «Русской помещик», «Занимающему важное место» и пр.). Но главное, в чем Бухарев, несомненно, прав, — это то, что мысли Гоголя имеют определенную внутреннюю связь и подчинены выражению основной идеи. Идея эта просматривается уже в названиях глав, которые поражают обилием акцентов на национальном моменте: «Чтения русских поэтов перед публикою», «Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве», «О лиризме наших поэтов», «Нужно любить Россию», «Нужно проездиться по России», «Страхи и ужасы России». Речь о России идет и в тех главах, где имя ее отсутствует в заглавии. Можно сказать, что главным содержанием «Выбранных мест...» является Россия и ее духовная будущность.

Гоголь был глубоко национален в своем творчестве. Из всех русских писателей никто, кажется, так сильно, как он, не обнажил язв внутреннего мира русской души, указав и на источник их — роковую отделенность жизни общества от Церкви. Вся неправда светского существования с его устремленностью к материальным благам, страстями, мелочностью и суетой, является следствием этой отделенности. Единственную возможность духовного возрождения и процветания России Гоголь видел в воссоединении ее с Церковью. «Эта Церковь,

<sup>16</sup> Тверские епархиальные ведомости. — 1902. — № 5. — 1 марта. -С. 138-139.

<sup>17</sup> Там же. — С. 137, 138.

которая, как целомудренная дева, сохранилась одна только от времен апостольских в непорочной первоначальной чистоте своей, эта Церковь, которая вся с своими глубокими догматами и малейшими обрядами наружными как бы снесена с Неба для русского народа, которая одна в силах разрешить все узлы недоумения и вопросы наши, которая может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы, заставив у нас всякое сословье, званье и должность войти в их законные границы и пределы и, не изменив ничего в государстве, дать силу России изумить весь мир согласной стройностью того же самого организма, которым она доселе пугала, — и эта Церковь нами незнаема! И эту Церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь!»

Как историко-философское произведение книга Гоголя стоит в непосредственной связи с литературно-общественными манифестами своего времени. Успехи внешней политики России, стремительное расширение границ государства, выход его на мировую арену вели к росту национального самосознания, воплотившемуся в различных сферах государственной жизни и культуры. В государственной идеологии это сознание было воплощено в теории С.С. Уварова «Православие, Самодержавие, Народность», провозглашенной как официальный правительственный курс в просвещении, в историографии — в трудах М.П. Погодина, в общественной мысли — в публицистике славянофильства, которое как раз в 40-е годы переживает пору расцвета, в фольклористике и этнографии — в работах И.П. Сахарова, И.М. Снегирева, О.М. Бодянского. «Выбранные места...» следует рассматривать в контексте этих явлений.

В своей книге Гоголь выступает как государственный человек, стремящийся к наилучшему устройству страны, единственно правильной иерархии должностей в ней, при которой каждый выполняет свой долг на своем месте и тем глубже осознает свою ответственность, чем выше это место («Занимающему важное место»). Отсюда — обилие и разнообразие адресатов писем — от светской женщины до духовного пастыря, от человека искусства до государственного деятеля.

Но это — только внешняя сторона дела. Гоголевская апология России, утверждение ее мессианской роли в мире в конечном итоге опираются не на внешние благоустройства, международный авторитет страны или ее военную мощь (хотя и они очень важны), а на духовные начала национального характера. Взгляд Гоголя на Россию — это прежде всего взгляд христианина, сознающего, что все материальные богатства должны быть подчинены высшей цели и направлены к ней.

Здесь — центральная гоголевская идея и вечный момент соблазна для упреков писателю в великодержавном шовинизме: Гоголь яко бы утверждает, что Россия стоит впереди других народов именно в смысле более полного воплощения христианского идеала. Но, по Гоголю, залог будущего России — отнюдь не в особых духовных богатствах, которыми наделен русский человек по сравнению с прочими народами, а как раз наоборот: в осознании им своего неустройства, своей духовной нищеты и в тех огромных возможностях, которые присущи России как сравнительно молодой христианской державе.

Эта идея афористически выражена в замечательной концовке «Светлого Воскресенья»: «Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. «Хуже мы всех прочих» — вот что мы должны всегда говорить о себе. <...> Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя все, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней».

Все вопросы жизни — бытовые, общественные, государственные, литературные — имеют для Гоголя глубокий религиозно-нравственный смысл. Признавая и принимая существующий порядок вещей, он стремился не к преобразованию общества, но к преобразованию человека. «Общество образуется само собою, общество слагается из единиц, — отвечал он Белинскому. — Надобно, чтобы каждая единица исполнила должность свою <...> Нужно вспомнить человеку, что он вовсе не материальная скотина, но высокий гражданин высокого небесного гражданства. Покуда он хоть сколько-нибудь не будет жить жизнью небесного гражданина, до тех пор не придет в порядок и земное гражданство».

С высшими ценностями связано и гоголевское понимание патриотизма: «...Тому, кто пожелает истинно честно служить России, нужно иметь очень много любви к ней, которая бы поглотила уже все другие чувства, — нужно иметь много любви к человеку вообще и сделаться истинным христианином во всем смысле этого слова».

Книга Гоголя говорит о необходимости внутреннего переустройства каждого, которое в конечном счете должно послужить залогом переустройства и преображения всей страны. Эта мысль определяет всю художественную структуру «Выбранных мест...».

Зерно книги зародилось еще в 1844 году — в «Правиле жития в мире», которое глубиной мысли и лаконизмом формы напоминает апостольские послания: «Начало, корень и утверждение всему есть любовь к Богу. Но у нас это начало в конце, и мы все, что ни есть в мире, любим больше, нежели Бога». Гоголь был одним из немногих, кто предчувствовал катастрофическое падение религиозности в обществе. Своей книгой он как бы ударил в набат, призывая сограждан к коренному пересмотру всех вопросов общественной и духовной жизни страны. Он обратился с проповедью и исповедью ко всей России.

Оба этих жанра имеют богатейшую мировую традицию. Как проповедь книга Гоголя ориентирована прежде всего на апостольские послания, и в первую очередь на любимого им апостола Павла, который «всех наставляет и выводит на прямую дорогу». Далее эта традиция шла через святоотеческие послания (Афанасия Великого, Василия Великого, Григория Нисского), хорошо знакомые Гоголю. В «Выбранных местах...» он выступил как проповедник, духовный учитель, способный указать всем путь спасения — от первого до последнего человека в государстве. При этом он, подобно своему любимому богослову, святому Иоанну Златоусту, поучает и обличает соотечественников: «Христианин! Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, наместо того, чтобы призвать

Его к себе в домы, под родную крышу свою, и думают, что они христиане».

В гоголевскую эпоху традиция «слов» жила в проповеднической литературе, наиболее выдающимися представителями которой были митрополит Московский Филарет и архиепископ Иннокентий. Вне сомнения стиль Гоголя питался не только книжными, но и живыми истоками — постоянно слышимыми им проповедями духовных пастырей.

Не менее глубинную традицию имеет и жанр исповеди, в западной литературе представленный классическим произведением — «Исповедью» Блаженного Августина, а в новое время — «Исповедью» Руссо. Он теснейшим образом связан с эпистолярным началом, в высшей степени характерным для России конца XVIII — первой половины XIX века. Достаточно вспомнить «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина, «Хронику русского» А.И. Тургенева, «философические» письма П.Я. Чаадаева или письма В.А. Жуковского, в том числе и к самому Гоголю. В духовной литературе этот жанр был представлен замечательным произведением уже упоминавшегося Святогорца — «Письма Святогорца к друзьям своим о Святой Горе Афонской».

С. Т. Аксаков отмечал естественность эпистолярного жанра для Гоголя: «Гоголь выражается совершенно в своих письмах; в этом отношении они гораздо важнее его печатных сочинений». Не трудно заметить, однако, что и для художественной прозы Гоголя характерна почти та же исповедальность, что и для его писем. Вспомним хотя бы лирические отступления в его повестях и «Мертвых душах».

Эта сторона «Выбранных мест...» для самого Гоголя была очень существенна. Свою книгу он называл «исповедью человека, который провел несколько лет внутри себя». Еще до выхода ее в свет, в декабре 1846 года, он просит С.П. Шевырева отыскать в Москве своего духовника, священника из прихода Саввы Освященного отца Иоанна Никольского, и вручить ему экземпляр книги как продолжение своей исповеди.

Предельная искренность признаний («...во мне заключилось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке»), в которых ощущалась и гордость самоуничижения, отчасти явилась причиной того, что от книги отшатнулись те, кто, казалось бы, разделяли убеждения Гоголя. По словам П.Я. Чаадаева, Гоголь «слишком откровенен, откровенен иногда даже до цинизма». Личность автора была еще более обнажена вмешательством цензуры. «Все должностные и чиновные лица, для которых были писаны лучшие статьи, — сетовал Гоголь, — исчезнули вместе с статьями из вида читателей; остался один я, точно как будто бы я издал мою книгу именно затем, чтобы выставить самого себя на всеобщее позорище».

И все же Гоголь оставался Гоголем, и общество, по его мнению, обязано было принять его исповедь как исповедь писателя, автора «Мертвых душ», а не частного человека. «В ответ же тем, — говорил он, — которые попрекают мне, зачем я выставил свою внутреннюю клеть, могу сказать то, что все-таки я еще не монах, а писатель. Я поступил в этом случае так, как все те писатели, которые говорили, что было на душе».

Современники упрекали Гоголя в том, что он пренебрег своим творческим даром. «Главное справедливое обвинение против тебя следующее, — писал Гоголю Шевырев в марте 1847 года, — зачем ты оставил искусство и отказался от всего прежнего? зачем ты пренебрег даром Божиим?» Так же как и Белинский, Шевырев призывал Гоголя вернуться к художнической деятельности. «Я не могу понять, — отвечал Гоголь, — отчего поселилась эта нелепая мысль об отречении моем от своего таланта и от искусства, тогда как из моей же книги можно бы, кажется, увидеть <...> какие страдания я должен был выносить из любви к искусству <...> Что ж делать, если душа стала предметом моего искусства, виноват ли я в этом? Что же делать, если заставлен я многими особенными событиями моей жизни взглянуть строже на искусство? Кто ж тут виноват? Виноват Тот, без воли Которого не совершается ни одно событие».

В своей книге Гоголь сказал, чем должно быть, по его мнению, искусство. Назначение его — служить «незримой ступенью к христианству», ибо современный человек «не в силах встретиться прямо со Христом». По Гоголю, литература должна выполнять ту же задачу, что и сочинения духовных писателей — просвещать душу, вести ее к совершенству. В этом для него — единственное оправдание искусства. Гоголь искренне верил во всемогущество слова, в возможность словом пронять и переродить человека. И чем выше становился его взгляд на искусство, тем требовательнее он относился к себе как к писателю. Гоголь ставит вопрос о назначении художника-христианина и ответственности за вверенный ему дар Божий — Слово.

Об особой роли слова сказано в Евангелии: «...за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ...» (Мф. 12, 36). Гоголь восстал против праздного литературного слова: «Обращаться с словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку <...> Опасно шутить писателю со словом. Слово гнило да не исходит из уст ваших! Если это следует применить ко всем нам без изъятия, то во сколько крат более оно должно быть применено к тем, у которых поприще — слово...» Страже всего Гоголь спрашивал с себя: «Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастанья и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилица от них подымутся...»

В «Выбранных местах...» Гоголь поставил глубочайшие вопросы русской жизни, которые Достоевский назвал «проклятыми». Отечественная этическая традиция много раз обращалась к этим вопросам и неизменно вспоминала о книге Гоголя. Примечательно в этой связи, что Лев Толстой, поначалу резко не принявший «Переписку», впоследствии говорил по ее поводу: «Я всеми силами стараюсь как новость сказать то, что сказал Гоголь», — а самого Гоголя назвал «нашим Паскалем».

К. Мочульский в книге «Духовный путь Гоголя» (1934) писал: «В нравственной области Гоголь был гениально одарен; ему было суждено круто повернуть всю русскую литературу от эстетики к религии, сдвинуть ее с пути Пушкина на путь Достоевского. Все черты, характеризующие «великую русскую литературу», ставшую мировой, были намечены Гоголем: ее религиозно-нравственный строй, ее гражданственность и общественность, ее боевой и практический характер, ее пророческий пафос и мессианство. С Гоголя

начинается широкая дорога, мировые просторы. Сила Гоголя была так велика, что ему удалось сделать невероятное: превратить пушкинскую эпоху нашей словесности в эпизод, к которому возврата нет и быть не может». В этих словах много правды, хотя, наверное, перелом в русской литературе был не столь резок. В том же Пушкине, особенно зрелом Пушкине 1830-х годов, нельзя не заметить начал будущей русской литературы, что, кстати сказать, хорошо сознавал и Гоголь, называя поэта «нашим первоапостолом».

\* \* \*

Один из упреков, который был предъявлен Гоголю после выхода книги, — это упрек в падении художественного дарования. Так, Белинский в своем «Письме к Гоголю» в запальчивости утверждал: «Какая это великая истина, что, когда человек весь отдается лжи, его оставляют ум и талант! Не будь на вашей книге выставлено вашего имени и будь из нее выключены те места, где вы говорите о самом себе как о писателе, кто бы подумал, что эта надутая и неопрятная шумиха слов и фраз — произведение пера автора «Ревизора» и «Мертвых душ»?»

Как ни удивительно, но это в высшей степени пристрастное суждение за полтораста лет никто не попытался опровергнуть, хотя среди читателей и ценителей книги были люди, одаренные тонким художественным вкусом. Вообще надо сказать, что изучение стиля и языка «Выбранных мест...» — это дело будущего, когда у нас появятся исследователи, способные соотнести книгу Гоголя с традицией святоотеческой литературы и высоким стилем русской философской поэзии XVIII — XIX веков (образцы которой указаны самим Гоголем в статьях «О лиризме наших поэтов», «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» и неоконченном трактате «Учебная книга словесности для русского юношества»). Но достаточно просто непредубежденно вслушаться в музыку гоголевского текста, чтобы понять полную несправедливость этих упреков. Перечитайте последние три страницы «Светлого Воскресенья»: в этом шедевре прозы сначала звучат редкие, глухие удары великопостного колокола, которые в конце постепенно сменяются ликующим пасхальным благовестом.

«Зачем этот утративший значение праздник? Зачем он вновь приходит глупше и глупше скликать в одну семью разошедшихся людей и, грустно окинувши всех, уходит как незнакомый и чужой всем? <...> И непонятной тоской уже загорелася земля; черствей и черствей становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастаet только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире!

Отчего же русскому еще кажется, что праздник этот празднуется, как следует, и празднуется так в одной его земле? Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского? Что значит в самом деле, что самый праздник исчез, а видимые признаки его так ясно носятся по лицу земли нашей: раздаются слова: «Христос Воскрес!» — и поцелуй, и всякий раз так же торжественно выступает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гулят и гудут по всей земле, точно как бы будят нас? Где носятся так очевидно

призраки, там недаром носятся; где будят, там разбудят. Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе. Померкают временно, умирают в пустых и выветрившихся толпах, но воскресают с новой силой в избранных, затем чтобы в сильнейшем свете от них разлиться по всему миру. Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено Самим Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, разозвестится благоуханными устами святителей, вспыхнет померкнувшее — и праздник Светлого Воскресенья воспразднуется, как следует, прежде у нас, чем у других народов!»

И в наши дни с новой силой звучит завет Гоголя, данный им своим соотечественникам: «Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк прелазай иначе есть тать и разбойник».

Владимир ВОРОПАЕВ

# ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Я был тяжело болен<sup>18</sup>; смерть уже была близко. Собравши остаток сил своих и воспользовавшись первой минутой полной трезвости моего ума, я написал духовное завещание, в котором, между прочим, возлагаю обязанность на друзей моих издать, после моей смерти, некоторые из моих писем. Мне хотелось хотя сим искупить бесполезность всего, доселе мною напечатанного, потому что в письмах моих, по признанию тех, к которым они были писаны, находится более нужного для человека, нежели в моих сочинениях. Небесная милость Божия отвела от меня руку смерти. Я почти выздоровел; мне стало легче. Но, чувствуя, однако, слабость сил моих, которая возвещает мне ежеминутно, что жизнь моя на волоске и приготовляясь к отдаленному путешествию<sup>19</sup> к Святым Местам, необходимому душе моей, во время которого может все случиться, я захотел оставить при расставанье что-нибудь от себя моим соотечественникам. Выбираю сам из моих последних писем, которые мне удалось получить назад, все, что более относится к вопросам, занимающим ныне общество, отстранивши все, что может получить смысл только после моей смерти, с исключеньем всего, что могло иметь значение только для немногих. Прибавляю две-три статьи литературные и, наконец, прилагаю самое завещание, с тем чтобы в случае моей смерти, если бы она застигла меня на пути моем<sup>20</sup>, возымело оно тотчас

---

<sup>18</sup> весной — летом 1845 г.

<sup>19</sup> Подразумевается паломничество в Иерусалим, которое Гоголь совершил в начале 1848 г.

<sup>20</sup> Гоголь опасался умереть от морской болезни, которой всегда страдал. В письме из Неаполя от 7 декабря н. ст. 1847 г. он признавался М. Г1. Погодину: «...Замирает малодушный дух мой при одной мысли о том, какой длинный мне предстоит переезд, и все почти морем, которого я не в силах выносить и от которого страдаю ужасно»; оттуда же Гоголь писал и Н. Н. Шереметевой: «Отправляясь мне приходится во время, когда на море бывают непогоды, а я бываю сильно болен морскою болезнью даже и во время малейшего колебанья». Прибыв на Мальту, Гоголь сообщал А. П. Толстому 22 января н. ст. 1848 г.: «Рвало меня таким образом, что все до единого возымели о мне жалость...»; и на

свою законную силу, как засвидетельствованное всеми моими читателями.

Сердце мое говорит, что книга моя нужна и что она может быть полезна. Я думаю так не потому, что имел высокое о себе появление и надеялся на уменье свое быть полезным, но потому, что никогда еще доселе не питал такого сильного желанья быть полезным. От нас уже довольно бывает протянуть руку с тем, чтобы помочь, помогаем же не мы, помогает Бог, ниспосыла силу слову бессильному. Итак, сколь бы ни была моя книга незначительна и ничтожна, но я позволяю себе издать ее в свет и прошу моих соотечественников прочитать ее несколько раз; в то же время прошу тех из них, которые имеют достаток, купить несколько ее экземпляров и раздать тем, которые сами купить не могут, уведомляя их при этом случае, что все деньги, какие перевысят издержки на предстоящее мне путешествие, будут обращены, с одной стороны, в подкрепление тем, которые, подобно мне, почувствуют потребность внутреннюю отправиться к наступающему Великому Посту во Святую Землю и не будут иметь возможности совершить его одними собственными средствами, с другой стороны — в пособие тем, которых я встречу на пути уже туда идущих и которые все помолятся у Гроба Господня за моих читателей, своих благодетелей.

Путешествие мое хотел бы я совершить как добный христианин. И потому испрашиваю здесь прощения у всех моих соотечественников во всем, чем не случилось мне оскорбить их. Знаю, что моими необдуманными и незрелыми сочинениями нанес я огорченье многим, а других даже вооружил против себя, вообще во многих произвел неудовольствие. В оправдание могу сказать только то, что намеренье мое было доброе и что я никого не хотел ни огорчать, ни вооружать против себя, но одно мое собственное неразумие, одна моя поспешность и торопливость были причиной тому, что сочинения мои представали в таком несовершенном виде и почти всех привели в заблуждение насчет их настоящего смысла; за все же, что ни встречается в них умышленно-оскорбляющего, прошу простить меня с тем великодушием, с каким только одна русская душа прощать способна. Прошу прощенья также у всех тех, с которыми на долгое или на короткое время случилось мне встретиться на дороге жизни. Знаю, что мне случалось многим наносить неприятности, иным, быть может, и умышленно. Вообще в обхождении моем с людьми всегда было много неприятно-отталкивающего. Отчасти это происходило оттого, что я избегал встреч и знакомств, чувствуя, что не могу еще произнести умного и нужного слова человеку (пустых же и

---

следующий день А. М. Виельгорской — «Если бы еще такого адского состояния были одни сутки, меня бы не было на свете».

ненужных слов произносить мне не хотелось), и будучи в то же время убежден, что по причине бесчисленного множества моих недостатков мне было необходимо хотя немного воспитать самого себя в некотором отдалении от людей. Отчасти же это происходило и от мелочного самолюбия, свойственного только таким из нас, которые из грязи пробрались в люди и считают себя вправе глядеть спесиво на других. Как бы то ни было, но я прошу прощения во всех личных оскорблениях, которые мне случилось нанести кому-либо, начиная от времен моего детства до настоящей минуты. Прошу также прошенья у моих собратьев-литераторов за всякое с моей стороны пренебреженье или неуваженье к ним, оказанное умышленно или неумышленно; кому же из них почему-либо трудно простить меня, тому напомню, что он христианин. Как говоеющий перед исповедью, которую готовится отдать Богу, просит прошенья у своего брата, так я прошу у него прошенья, и как никто в такую минуту не посмеет не простить своего брата, так и он не должен посметь не простить меня. Наконец, прошу прошенья у моих читателей, если и в этой самой книге встретится что-нибудь неприятное и кого-нибудь из них оскорбляющее. Прошу их не питать против меня гнева сокровенного, но вместо того выставить благородно все недостатки, какие могут быть найдены ими в этой книге, — как недостатки писателя, так и недостатки человека: мое неразумие, недомысле, самонадеянность, пустую уверенность в себе, словом, все, что бывает у всех людей, хотя они того и не видят, и что, вероятно, еще в большей мере находится во мне.

В заключение прошу всех в России помолиться обо мне, начиная от святителей, которых уже вся жизнь есть одна молитва. Прошу молитвы как у тех, которые смиренно не веруют в силу молитв своих, так и у тех, которые не веруют вовсе в молитву и даже не считают ее нужною: но как бы ни была бессильна и черства их молитва, я прошу помолиться обо мне этой самой бессильной и черствой их молитвой. Я же у Гроба Господнего буду молиться о всех моих соотечественниках, не исключая из них ни единого; моя молитва будет так же бессильна и черства, если святая небесная милость не превратит ее в то, чем должна быть наша молитва.

1846, июль

## ЗАВЕЩАНИЕ<sup>21</sup>

Находясь в полном присутствии памяти и здравого рассудка, излагаю здесь мою последнюю волю.

---

<sup>21</sup> По предположению Н. С. Тихонравова, поддержанному современными исследователями, написано в начале июля 1845 г. Публикация «Завещания» вызвала многочисленные нарекания в адрес Гоголя даже со стороны безусловных поклонников книги. 7 февраля 1847 г. А. М. Виельгорская писала ему из Петербурга: «...вообще все хвалят ваши письма, но не одобряют «Предисловия» и особенно духовного завещания, видя в нем, как они говорят, «унижение паче гордости». Признаюсь вам откровенно, я сама сожалею, что вы напечатали ваше духовное завещание, не оттого, что оно мне не нравится, но оттого, что оно не может понравиться публике и что она не может понять его» (Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 232). Князь П. А. Вяземский, разбирая «Выбранные места...», указывал: «Иному в этой книге, как, например, завещанию, не следовало бы войти в состав ее. Что разрешается мертвому, то может быть превратно перетолковано в живом» (Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика С. 179).

Исследователи отмечали литературный характер «Завещания». При переиздании книги Гоголь намеревался заменить его письмом к В. А. Жуковскому от 10 января н. ст. 1848 г. под названием «Искусство есть примирение с жизнью».

В письме к матери от 25 января н. ст. 1847 г. Гоголь так объяснял ей и сестрам причины, побудившие его напечатать свое завещание: «Завещание мое, сделанное во время болезни, мне нужно было напечатать по многим причинам в моей книге. Сверх того, что это было необходимо в объясненье самого появления такой книги, оно нужно затем, чтобы напомнить многим о смерти, о которой редко кто помышляет из живущих. Бог недаром дал мне почувствовать во время болезни моей, как страшно становится перед смертью, чтобы я мог передать это ощущение и другим. Если бы вы истинно и так, как следует, были наставлены в христианстве, то вы бы все до единой знали, что память смертная — это первая вещь, которую человек должен ежеминутно носить в мыслях своих. <...> По тех пор, покуда человек не сроднится с мыслью о смерти и не сделает ее как бы завтра его ожидающею, он никогда не станет жить так, как следует, и все будет откладывать от дня до дня на будущее время».

П. А. Кулиш, первый биограф Гоголя, передает слова, сказанные А. О. Смирновой С. Т. Аксакову: «В Гоголе было именно то прекрасно, что посреди сует и непременного условия своей жизни, т. е. своей художественной деятельности, он хранил о смерти память ежеминутную. Часто он читал молитву Василия Великого: «Господи, даждь ми слезы умиления и память смертную». Эти слезы умиления текли из глаз его во время торжественного последнего обряда миропомазания» (Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя. Спб., 1856. Т. 2. С. 266). Ссылка мемуаристки на св. Василия Великого ошибочна: речь идет о 7-й молитве св. Иоанна Златоуста из молитв на сон грядущим, которая звучит следующим образом: «Господи, даждь ми слезы, и память смертную, и умиление».

I. Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться... Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение, я возвещаю это здесь в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности. Предать же тело мое земле, не разбирая места, где лежать ему, ничего не связывать с оставшимся прахом; стыдно тому, кто привлечется каким-нибудь вниманием к гниющей персти, которая уже не моя: он поклонится червям, ее грызущим; прошу лучше помолиться покрепче о душе моей, а вместо всяких погребальных почестей угостить от меня простым обедом нескольких не имущих наущного хлеба.

II. Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном. Кому же из близких моих я был действительно дорог, тот воздвигнет мне памятник иначе: воздвигнет он его в самом себе своей неколебимой твердостью в жизненном деле, бодреньем и освеженьем всех вокруг себя. Кто после моей смерти вырастет выше духом, нежели как был при жизни моей, тот покажет, что он, точно, любил меня и был мне другом, и сим только воздвигнет мне памятник. Потому что и я, как ни был сам по себе слаб и ничтожен, всегда ободрял друзей моих, и никто из тех, кто сходился поближе со мной в последнее время, никто из них, в минуты своей тоски и печали, не видал на мне унылого вида, хотя и тяжки бывали мои собственные минуты, и тосковал я не меньше других — пускай же об этом вспомнит всяк из них после моей смерти, сообразя все слова, мней ему сказанные, и перечтя все письма, к нему писанные за год перед сим.

III. Завещаю вообще никому не оплакивать меня, и грех себе возьмет на душу тот, кто станет почитать смерть мою какой-нибудь значительной или всеобщей утратой. Если бы даже и удалось мне сделать что-нибудь полезного и начинал бы я уже исполнять свой долг действительно так, как следует, и смерть унесла бы меня при начале дела, замышленного не на удовольствие некоторым, но надобною всем, — то и тогда не следует предаваться бесплодному сокрушению. Если бы даже вместо меня умер в России муж, действительно ей нужный в теперешних ее обстоятельствах, то и оттого не следует приходить в уныние никому из живущих, хотя и справедливо то, что если рановременно похищаются люди всем нужные, то это знак гнева небесного, отъемлющего сим орудия и средства, которые помогли бы иным подвигнуться ближе к цели, нас зовущей. Не унынию должны мы предаваться при всякой внезапной утрате, но оглянувшись строго на самих себя, помышляя уже не

о черноте других и не о черноте всего мира, но о своей собственной черноте. Страшна душевная чернота, и зачем это видится только тогда, когда неумолимая смерть уже стоит перед глазами!

IV. Завещаю всем моим соотечественникам (основываясь единственно на том, что всякий писатель должен оставить после себя какую-нибудь благую мысль в наследство читателям), завещаю им лучшее из всего, что произвело перо мое, завещаю им мое сочинение, под названием <sup>22</sup> «Прощальная повесть». Оно, как увидят, относится к ним. Его носил я долго в своем сердце, как лучшее свое сокровище, как знак небесной милости ко мне Бога. Оно было источником слез, никому не зримых, еще от времен детства моего. Его оставляю им в наследство. Но умоляю, да не оскорбится никто из моих соотечественников, если услышит в нем что-нибудь похожее на поученье. Я писатель, а долг писателя — не одно доставленье приятного занятья уму и вкусу; строго взыщется с него, если от сочинений его не распространится какая-нибудь польза душе и не останется от него ничего в поучение людям. Да вспомнят также мои соотечественники, — что, и не бывши писателем, всякий отходящий от мира брат наш имеет право оставить нам что-нибудь в виде братского поученья, и в этом случае нечего глядеть ни на малость его звания, ни на бессилие, ни на самое неразумие его, нужно помнить только то, что человек, лежащий на смертном одре, может иное видеть лучше тех, которые кружатся среди мира. Несмотря, однако, на все таковые права мои, я бы все не дерзнул заговорить о том, о чем они услышат в «Прощальной повести», ибо не мне, худшему всех душою, страждущему тяжкими болезнями собственного несовершенства, произносить такие речи. Но меня побуждает к тому другая, важнейшая причина: соотечественники! страшно!.. Замирает от ужаса душа при одном только предсъщании загробного величия и тех духовных высших творений Бога, перед которыми пыль все величие Его творений, здесь нами зримых и нас изумляющих. Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастанья и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся... Может быть, «Прощальная повесть» моя подействует сколько-нибудь на тех, которые до сих пор еще считают жизнь игрушкою <sup>23</sup>, и сердце их

---

<sup>22</sup> Это произведение до нас не дошло. Недавно была высказана гипотеза, что «Прощальной повестью» Гоголь называет книгу, которая в итоге вылилась в «Выбранные места...» (см.: Барабаш Ю. «Соотечественники, я вас любил..»: (Гоголь: завещание или «Завещание»?)//Вопросы литературы. 1989. № 3).

<sup>23</sup> Об этом Гоголь писал и в конце апреля 1850 г. отцу Матвею Константиновскому: «Хотелось бы живо, в живых примерах, показать темной моей братии, живущей в мире, играющей жизнию, как игрушкой, что жизнь — не игрушка».

услышит хотя отчасти строгую тайну ее и сокровеннейшую небесную музыку этой тайны. Соотечественники!.. не знаю и не умею, как вас назвать в эту минуту. Прочь пустое приличие! Соотечественники, я вас любил; любил тою любовью, которую не высказывают, которую мне дал Бог, за которую благодарю Его, как за лучшее благодеяние, потому что любовь эта была мне в радость и утешение среди наитягчайших моих страданий — во имя этой любви прошу вас выслушать сердцем мою «Прощальную повесть». Клянусь: я не сочинял и не выдумывал ее, она выпалась сама собою из души, которую воспитал Сам Бог испытаньями и горем, а звуки ее взялись из сокровенных сил нашей русской породы нам общей, по которой я близкий родственник вам всем<sup>24</sup>.

V. Завещаю по смерти моей не спешить ни хвалой, ни осуждением моих произведений в публичных листах и журналах: все будет так же пристрастно, как и при жизни. В сочинениях моих гораздо больше того, что нужно осудить, нежели того, что заслуживает хвалу. Все нападения на них были в основании более или менее справедливы. Передо мною никто не виноват; неблагодарен и несправедлив будет тот, кто попрекнет мною кого-либо в каком бы то ни было отношении. Объявляю также во всеуслышанье, что, кроме доселе напечатанного, ничего не существует из моих произведений: все, что было в рукописях, мною сожжено, как бессильное и мертвое, писанное в болезненном и принужденном состоянии. А потому, если бы кто-нибудь стал выдавать что-либо под моим именем, прошу считать это презренным подлогом. Но возлагаю вместо того обязанность на друзей моих сбрать все мои письма, писанные к кому-либо, начиная с конца 1844 года, и, сделавши из них строгий выбор только того, что может доставить какую-нибудь пользу душе, а все прочее, служащее для пустого развлеченья, отвергнувши, издать отдельною книгою. В этих письмах было кое-что послужившее в пользу тем, к которым они были писаны. Бог милостив; может быть, послужат они в пользу и другим, и снимется чрез то с души моей хотя часть суровой ответственности за бесполезность прежде написанного.

VI. ....<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> «Прощальная повесть» не может явиться в свет: что могло иметь значение по смерти, то не имеет смысла при жизни. (Примеч. Н. В. Гоголя.)

<sup>25</sup> Статья содержит распоряженья по делам семейственным. (Примеч. Н. В. Гоголя.)

Этот пункт Завещания не был включен Гоголем в книгу. 14 ноября н. ст. 1846 г. он писал матери из Рима: «Посылаю вам выпущенный в печати отрывок из завещания, относящийся собственно к вам и к сестрам. Хотя, благодаря неизреченную милость Божию, я еще раз спасен, и живу, и вижу свет Божий, но вы все-таки прочитайте это завещание и постараитесь исполнить (как вы, так я сестры) хотя часть моей воли при жизни моей».

VII. Завещаю... но я вспомнил, что уже не могу этим располагать. Неосмотрительным образом похищено у меня право собственности: без моей воли и позволения опубликован мой портрет<sup>26</sup>. Но многим

---

Полный текст VI пункта Завещания гласит: «Завещаю доходы от изданий сочинений моих, какие ни выйдут по смерти моей, в собственность моей матери и сестрам моим на условий делиться с бедными пополам. Как бы ни нуждались они сами, но да помнят вечно, что есть на свете такие, которые нуждаются еще более их. Из бедных же должны они помогать только таким, которые возымеют желание искреннее переменить жизнь и сделаться лучшими, для чего им следует подробно входить в обстоятельства и положение каждого бедняка и помогать не прежде, как совершенно его узнавши; деньги эти приобретены не без труда, а потому и не должны бытьброшены на воздух. Все же мое недвижимое имущество, какое я имел, отдано мною уже давно моей матери. Если же акт, утверждавший сию дачу и сделанный назад тому пятнадцать лет, не покажется довольно утвердительным, то я подтверждаю это вновь здесь, дабы никто Не дерзнул у ней оспаривать ее право. Прошу как мать, так и сестер моих перечесть сызнова после моей смерти все мои письма к ним, писанные в последние три года, особенно не исключая тех, которые, по-видимому, относятся к одному хозяйству: многое поймется по смерти моей лучше. По кончине моей никто из них уже не имеет права принадлежать себе, но всем тоскующим, страждущим и претерпевающим какое-нибудь жизненное горе. Чтобы дом и деревня их походили скорей на гостиницу и странноприимный дом, чем на обиталище помещика; чтобы всякий, кто ни приезжал, был ими принят как родной и сердцу близкий человек, чтобы радушно и родственно расспросили они его обо всех обстоятельствах его жизни, дабы узнать, не понадобится ли в чем ему помочь или же, по крайней мере, дабы уметь ободрить и освежить его, чтобы никто из их деревни не уезжал сколько-нибудь не утешенным. Если же путник простого звания привыкнул к нищенской жизни и ему неволко почему-либо поместиться в помещичьем доме, то чтобы он отведен был к зажиточному и лучшему крестьянину на деревне, который был бы притом жизни примерной и умел бы помогать собрату умным советом, чтобы и он расспросил своего гостя так же радушно обо всех его обстоятельствах, ободрил, освежил и снабдил разумным напутствием, донося потом обо всем владельцам, дабы и они могли, с своей стороны, прибавить к тому свой совет или вспомоществование, как и что найдут приличным, чтобы таким образом никто из их деревни не уезжал и не уходил сколько-нибудь не утешенным».

<sup>26</sup> В одиннадцатом номере журнала «Москвитянин» за 1843 г. М. П. Погодиным была помещена литография П. Зенькова с портрета Гоголя работы А. Иванова (1841). По этому поводу Гоголь писал Н. М. Языкову из Франкфурта 26 октября н. ст. 1844 г.: «...скажу тебе откровенно, что большего оскорблении мне нельзя было придумать. Если бы Булгарин, Сенковский, Полевой, совокупившись вместе, написали на меня самую злейшую критику, если бы сам Погодин соединился с ними и написал бы вместе все, что способствует к моему унижению, это было бы совершенно ничто в сравнении с сим». Кажется вполне правдоподобным предположение Н. Г. Машковцева, что публикация портрета

причинам, которые мне объявлять не нужно, я не хотел этого, не продавал никому права на его публичное издание и отказывал всем книгопродающим, доселе приступавшим ко мне с предложенными, и только в таком случае предполагал себе это позволить, если бы помог мне Бог совершить тот труд, которым мысль моя была занята во всю жизнь мою, и притом так совершить его, чтобы все мои соотечественники сказали в один голос, что я честно исполнил свое дело, и даже пожелали бы узнать черты лица того человека, который до времени работал в тишине и не хотел пользоваться незаслуженной известностью. С этим соединялось другое обстоятельство: портрет мой в таком случае мог распродаться вдруг во множестве экземпляров, принеся значительный доход тому художнику, который должен был гравировать его. Художник этот уже несколько лет трудится в Риме<sup>27</sup> над гравированием бессмертной картины Рафаэля «Преображение Господне». Он всем пожертвовал для труда своего, — труда убийственного, пожирающего годы и здоровье, и с таким совершенством исполнил свое дело, подходящее ныне к концу, с каким не исполнял еще ни один из граверов. Но по причине высокой цены и малого числа знатоков эстамп его не может разойтись в таком количестве, чтобы вознаградить его за все; мой портрет ему помог бы. Теперь план мой разрушен: раз опубликованное изображение кого бы то ни было делается уже собственностью каждого, занимающегося изданьями гравюр и литографий. Но если бы случилось так, что после моей смерти письма, после меня изданные, доставили бы какую-нибудь общественную пользу (хотя бы даже одним только чистосердечным стремлением ее доставить) и пожелали бы мои соотечественники увидать и портрет мой, то я прошу всех таковых издателей благородно отказаться от своего права; тех же моих читателей, которые по излишней благосклонности ко всему, что ни

---

Гоголя, где он был выставлен на всеобщее обозрение, по его собственным словам, «забулдыгой» — «неряхой, в халате, с длинными, взъерошенными волосами и усами» (из письма к С. П. Шевыреву от 14 декабря н. ст. 1844 г.), противоречила замыслу Гоголя явиться впервые перед русской публикой в ином облике, а именно в образе одного из персонажей картины А. Иванова «Явление Мессии» — кающегося грешника, так называемого «ближайшего к Христу» (см. об этом: Машковцев Н. Г. История портрета Гоголя//Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. Т. 2. М.; Л., 1936).

<sup>27</sup> Имеется в виду русский гравер Федор Иванович Иордан (1800 — 1883), который с 1834 по 1850 г. работал в Риме над гравюрой по картине Рафаэля «Преображение». О его встречах с Гоголем, А. А. Ивановым, Ф. А. Моллером, Ф. В. Чижовым, Н. М. Языковым см.: Записки ректора и профессора Академии художеств Федора Ивановича Иордана. М., 1918. Выполняя завещание Гоголя, Иордан гравировал его портрет (работы Ф. Моллера) для изданных П. А. Кулишом «Сочинений и писем Н. Гоголя» (Спб., 1857. Т. 1).

пользуется известностью, завели у себя какой-нибудь портрет мой, прошу уничтожить его тут же, по прочтенье сих строк, тем более что он сделан дурно и без сходства, и покупать только тот, на котором будет выставлено: «Гравировал Иорданов». Сим будет сделано, по крайней мере, справедливое дело. А еще будет справедливей, если те, которые имеют достаток, станут вместо портрета моего покупать самый эстамп «Преображенья Господня»<sup>28</sup>, который, по признанью даже чужеземцев, есть венец гравировального дела и составляет славу русскую.

Завещанье мое немедленно по смерти моей должно быть напечатано во всех журналах и ведомостях, дабы, по случаю неведения его, никто не сделался бы передо мною невинно-виноватым и тем бы не нанес упрека на свою душу.

1845

## II

### ЖЕНЩИНА В СВЕТЕ

---

<sup>28</sup> Объясняя в письме к С. П. Шевыреву от 14 декабря н. ст. 1844 г. причины своего недовольства публикацией портрета М. П. Погодиным, Гоголь пишет, что «у многих» из молодежи «бываю чистые стремления; но у них всегда бывает потребность создать себе каких-нибудь идолов. Если в эти идолы попадет человек, имеющий точно достоинства, это бывает для них еще хуже. Достоинства самих они не узнают и не оценят как следует, подражать им Не будут, а на недостатки и пороки прежде всего бросятся: им же подражать так легко! Поверь, что прежде всего будут подражать мне в пустых и глупых вещах». «...Вместо того, — продолжает Гоголь, — чаще будем изображать им настоящий Образец человека. Который есть совершеннейшее из всего, что увидел слабыми глазами своими мир, и перед Которым побледнеют сами собою даже лучшие из нас...» «...Еще лучше, — размышляет далее Гоголь, уже непосредственно подводя нас к мысли о преображении, — если мы даже и говорить им не будем о Нем, о Совершеннейшем, но заключим Его сами в душе своей...» Интересно еще признание Гоголя в письме к П. Н. Демидову начала 1839 г.: «...я убегал старательно встречи с вами. Мне не хотелось, чтобы вы переменили обо мне ваше доброе мнение.

Мы обыкновенно воображаем видеть писателя чем-то более обыкновенного человека, стало быть, чем-то более, чем он есть, и увидевши пошлую, даже слишком обыкновенную его фигуру, мы никак не можем соединить с ней то лицо, которое нам представлялось в мыслях. Вот почему мне не хотелось, чтобы вы меня когда-либо увидали, хотя очень хотел вас увидеть».

Вы думаете, что никакого влияния на общество иметь не можете; я думаю напротив. Влияние женщины может быть очень велико, именно теперь, в нынешнем порядке или беспорядке общества, в котором, с одной стороны, представляется утомленная образованность гражданская, а с другой — какое-то охлаждение душевное, какая-то нравственная усталость, требующая оживотворения. Чтобы произвести это оживотворение, необходимо содействие женщины. Эта истина в виде какого-то темного предчувствия пронеслась вдруг по всем углам мира, и все чего-то теперь ждет от женщины. Оставивши все прочее в сторону, посмотрим на нашу Россию, и в особенности на то, что у нас так часто перед глазами, — на множество всякого рода злоупотреблений. Okажется, что большая часть взяток, несправедливостей по службе и тому подобного, в чем обвиняют наших чиновников и нечиновников всех классов, произошла или от расточительности их жен, которые так жадничают блистать в свете большом и малом и требуют на то денег от мужей, или же от пустоты их домашней жизни, преданной каким-то идеальным мечтам, а не существу их обязанностей, которые в несколько раз прекрасней и возвышенней всяких мечтаний. Мужья не позволили бы себе и десятой доли произведенных ими беспорядков, если бы их жены хотя сколько-нибудь исполняли свой долг. Душа жены — хранительный талисман для мужа, оберегающий его от нравственной заразы; она есть сила, удерживающая его на прямой дороге, и проводник, возвращающий его с кривой на прямую; и наоборот, душа жены может быть его злом и погубить его навеки. Вы сами это почувствовали и выразились об этом так хорошо, как до сих пор еще никогда не выражались никакие женские

<sup>29</sup> Некоторые современники Гоголя, например С. Т Аксаков, считали, что адресатом письма является Аполлинария Михайловна Веневитинова (рожденная Виельгорская; 1818—1884) Н. С. Тихонравов полагал, что оно обращено к Софье Михайловне Соллогуб (рожденной Виельгорской; 1820—1878); последнее представляется более вероятным.

П. А. Вяземский отмечал, что в этом письме «много свежести, прелести и глубокого верования в назначение женщины в обществе. Нужно иметь большую независимость во мнениях и нетронутую чистоту в понятиях и в чувстве, чтобы облечь женщину в подобнее краски...» (Вяземский П. А. Эстетика и литературная Критика. С. 182). Архимандрит Феодор (Бухарев) заметил по поводу настоящей главы: «Понятна сама по себе верность и той глубокой в своих основаниях мысли Гоголя, что особенно, христиански настроенная, женщина может и должна служить к незаметному смягчению и освещению жесткости духовной в обществе» (Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. Спб., 1860. С. 259).

строки. Но вы говорите, что всем другим женщинам предстоит поприща, а вам нет. Вы им видите работу повсюду, или исправлять и поправлять уже испорченное, или заводить вновь что-нибудь нужное, словом — всячески помогать, а себе одной только не видите ничего и грустно повторяете: «Зачем я не на их месте!» Знайте же, что это общее ослепление всех. Всякому теперь кажется, что он мог бы наделать много добра на месте и в должности другого, и только не может сделать его в своей должности. Это причина всех зол. Нужно подумать теперь о том всем нам, как на своем собственном месте сделать добро. Поверьте, что Бог недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит. Нужно только хорошо осмотреться вокруг себя. Вы говорите, зачем вы не мать семейства, чтобы исполнять обязанности матери, которые вам представляются теперь так ясно; зачем не расстроено ваше имение, чтобы заставить вас ехать в деревню, быть помещицей и заняться хозяйством; зачем ваш муж не занят какой-нибудь общеполезной трудной должностью, чтобы вам хоть здесь ему помогать и быть силой, его освежающей, и зачем, вместо всего этого, предстоят вам одни пустые выезды в свет и пустое, выдохшееся светское общество, которое теперь вам кажется безлюднее самого безлюдья. Но тем не менее свет все же населен; в нем люди, и притом такие же, как и везде. Они и болеют, и страждут, и нуждаются, и без слов вопиют о помощи, — и, увы! даже не знают, как попросить о ней. Какому же нищему следует прежде помочь: тому ли, кто еще может выходить на улицу и просить, или же тому, который не в силах уже и руки протянуть? Вы говорите, что даже не знаете и не можете придумать, чем вы можете быть кому-нибудь полезны в свете; что для этого нужно иметь столько всякого рода орудий, нужно быть такой и умной и всезнающей женщиной, что у вас уже кружится голова при одном помышлении обо всем этом. А если для этого нужно быть только тем, чем вы уже есть? А если у вас уже есть именно такие орудия, которые теперь нужны? Все, что вы ни говорите о самой себе, совершенная правда: вы, точно, слишком молоды, не приобрели ни познанья людей, ни познанья жизни, словом — ничего того, что необходимо, дабы оказывать помощь душевную другим; может быть, даже вы и никогда этого не приобретете; но у вас есть другие орудия, с которыми вам все возможно. Во-первых, вы имеете уже красоту, во-вторых — неопозоренное, неоклеветанное имя, в-третьих — власть, которой сами в себе не подозреваете, — власть чистоты душевной. Красота женщины еще тайна. Бог недаром повелел иным из женщин быть красавицами; недаром определено, чтобы всех равно поражала красота, — даже и таких, которые ко всему бесчувственны и ни к чему не способны. Если уже один бессмысленный каприз красавицы бывал причиной переворотов всемирных и заставлял делать глупости

наиумнейших людей, что же было бы тогда, если бы этот каприз был осмыслен и направлен к добру? Сколько бы добра тогда могла произвести красавица сравнительно перед другими женщинами! Стало быть, это орудие сильное. Но вы имеете еще высшую красоту, чистую прелесть какой-то особенной, одной вам свойственной невинности, которую я не умею определить словом, но в которой так и светится всем ваша голубиная душа. Знаете ли, что мне признавались наизрвратнейшие из нашей молодежи, что перед вами ничто дурное не приходило им в голову, что они не отваживаются сказать в вашем присутствии не только двусмысленного слова, которым потчевают других избранниц, но даже просто никакого слова, чувствуя, что все будет перед вами как-то грубо и отзовется чем-то ухарским и неприличным. Вот уже одно влияние, которое совершается без вашего ведома от одного вашего присутствия! Кто не смеет себе позволить при вас дурной мысли, тот уже ее стыдится; а такое обращенье на самого себя, хотя бы даже и мгновенное, есть уже первый шаг человека к тому, чтобы быть лучше. Стало быть, это орудие также сильное. В прибавленье ко всему вы имеете уже Самим Богом водворенное вам в душу стремленье, или, как называете вы, жажду добра. Неужели вы думаете, что даром внушена вам эта жажда, от которой вы не спокойны ни на минуту? Едва вышли вы замуж за человека благородного, умного, имеющего все качества, чтобы сделать счастливой жену свою, как уже, наместо того чтобы скрыться во глубину вашего домашнего счаstия, мучитесь мыслию, что вы недостойны такого счаstья, что не имеете права им пользоваться в то время, когда вокруг вас так много страданий, когда ежеминутно раздаются вести о бедствиях всякого рода: о голоде, пожарах, тяжелых горестях душевных и страшных болезнях ума, которыми заражено текущее поколение. Поверьте, это недаром. Кто заключил в душе своей такое небесное беспокойство о людях, такую ангельскую тоску о них среди самых развлекательных увеселений, тот много, много может для них сделать; у того повсюду поприще, потому что повсюду люди. Не убегайте же из света, среди которого вам назначено быть, не спорьте с Провидением. В вас живет та неведомая сила, которая нужна теперь для света: самый ваш голос, от постоянного устремленья вашей мысли лететь на помощь человеку, приобрел уже какие-то родные звуки всем, так что, если вы заговорите в сопровожденье чистого взора вашего и этой улыбки, никогда не оставляющей уст ваших, которая одним только вам свойственна, то каждому кажется, как бы заговорила с ним какая-то небесная родная сестра. Ваш голос стал всемогущ; вы можете повелевать и быть таким деспотом, как никто из нас. Повелевайте же без слов, одним присутствием вашим; повелевайте самим бессилием своим, на которое вы так негодуете; повелевайте и

именно той женскою прелестью вашей, которую, увы уже утратила женщина нынешнего света. С вашей робкой неопытностью, вы теперь в несколько раз больше сделаете, нежели женщина умная и все испытавшая с своей гордой самонадеянностью: ее наиумнейшие убеждения, с которыми она бы захотела обратить на путь нынешний свет, в виде злых эпиграмм посыплются обратно на ее же голову; но ни у кого не посмеет пошевелиться на губах эпиграмма, когда одним умоляющим взором, без слов, вы попросите кого-нибудь из нас, чтобы он сделался лучшим. Отчего вы так испугались рассказов о светском разврате? Он, точно, есть, и еще даже в большей мере, чем вы думаете; но вам и знать об этом не должно. Вам ли боятьсяся жалких соблазнов света? Влетайте в него смело, с той же сияющей вашей улыбкой. Входите в него, как в больницу, наполненную страждущими; но не в качестве доктора, приносящего строгие предписанья и горькие лекарства: вам не следует и рассматривать, какими болезнями кто болен. У вас нет способности распознавать и исцелять болезни, и я вам не дам такого совета, какой бы мне следовало дать всякой другой женщине, к тому способной. Ваше дело только приносить страждущему вашу улыбку да тот голос, в котором слышится человеку прилетевшая с небес его сестра, и ничего больше. Не останавливайтесь долго над одними и спешите к другим, потому что вы повсюду нужны. Увы! на всех углах мира ждут и не дождутся ничего другого, как только тех родных звуков, того самого голоса, который у вас уже есть. Не болтайте со светом о том, о чем он болтает; заставьте его говорить о том, о чем вы говорите. Храни вас Бог от всякого педантства и от всех тех разговоров, которые исходят из уст какой-нибудь нынешней львицы. Вносите в свет те же самые простодушные ваши рассказы, которые так говорливо у вас изливаются, когда вы бываете в кругу домашних и близких вам людей, когда так и сияет всякое простое слово вашей речи, а душе всякого, кто вас ни слушает, кажется, как будто бы она лепечет с ангелами о каком-то небесном младенчестве человека. Эти-то именно речи вносите и в свет.

## ЗНАЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ

(Из письма к гр. А. П. Т .....му)<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Письмо адресовано графу Александру Петровичу Толстому (1801—1873). В «Выбранных местах...» к нему обращены, по крайней мере, семь писем-статьей — больше, чем к кому-либо. Переписка Гоголя с Толстым была обширна, но после смерти писателя Толстой, вероятно, уничтожил свои письма. Во всяком случае, весной 1852 г. он сообщал сестре, С. П. Апраксиной, что, разбирая гоголевские бумаги (Гоголь умер у него в доме), изымают свои и ее письма к покойному (см.: Паламарчук; П. Г. Список уцелевших от сожжения рукописей Гоголя // Гоголь: История и современность. М., 1985). За Толстым закрепилась репутация человека, сыгравшего в судьбе Гоголя роковую роль. Нередко можно встретить ссылку на слова С. Т. Аксакова, считавшего знакомство с Толстым «решительно гибельным для Гоголя». Однако если обратиться к личности графа Толстого и подробностям его отношений с Гоголем, то мы увидим иную картину.

Он был потомком грузинского царя Вахтанга VI. Шестнадцати лет вступил в военную службу, в двадцать восемь пожалован флигель-адъютантом, затем был дипломатом, губернатором в Твери (1834 — 1837), генерал-губернатором в Одессе (1837 — 1840). После конфликта с князем М. С. Воронцовым, новороссийским и бессарабским генерал-губернатором, Толстой в 1840 г. вышел в отставку и уехал за границу. К службе он вернулся только в 1855 г. Я занимал крупнейшие государственные посты обер-прокурора Синода и члена Государственного совета.

Знакомство Гоголя с Толстым состоялось еще в тридцатых годах (в 1839 г. они уже переписывались). Со временем это знакомство перешло в близкую дружбу. Гоголя привлекало в Толстом многое, в частности — природная доброта, религиозная настроенность души, склонность к аскетизму. Анна Васильевна Гоголь, сестра писателя, рассказывала В. И. Шенроку со слов брата, что Толстой носил тайно вериги (Шенрок В. И Материалы для биографии Гоголя М., 1897. Т. 4. С. 409). И. В. Киреевский говорил про него: «Легче становится жить после встречи с таким человеком» (цит. по: Филиппов Т. Воспоминания о графе Александре Петровиче Толстом // Гражданин. 1874 № 4. С. 113). Чрезвычайно выразительную характеристику Толстого после назначения его обер-прокурором Синода в 1856 г. дал Н. П. Гиляров-Платонов в письме к протоиерою А. В. Горскому, профессору, а впоследствии ректору Московской Духовной академии: «Трудно найти человека, более преданного Церкви, более готового на всякое улучшение и в то же время менее склонного проводить какие-нибудь свои личные расчеты в управлении столь важною частию. <...> Он принадлежит к разряду тех людей которых я не умею иначе характеризовать, как назвать их оптинскими христианами. Это люди, глубоко уважающие духовную жизнь,

...Силы мои слабеют ежеминутно, но не дух. Никогда еще телесные недуги не были так изнурительны. Часто бывает так тяжело, так тяжело, такая страшная усталость чувствуется во всем составе тела, что рад бываешь, как Бог знает чему, когда наконец оканчивается день и доберешься до постели. Часто, в душевном бессилии, восклицаешь: «Боже! где же наконец берег всего?» Но потом, когда оглянешься на самого себя и посмотришь глубже себе внутрь — ничего уже не издает душа, кроме одних слез и благодарения. О! как нужны нам недуги! Из множества польз, которые я уже извлек из них, скажу вам только одну: ныне каков я ни есть, но я все же стал лучше, нежели был прежде; не будь этих недугов, я бы задумал, что стал уже таким, каким следует мне быть. Не говорю уже о том, что самое здоровье, которое беспрестанно подталкивает русского человека на какие-то прыжки и желанье порисоваться своими качествами перед другими, заставило бы меня наделать уже тысячу глупостей. Притом ныне, в мои свежие минуты, которые дает мне милость небесная и среди самих страданий, иногда приходят ко мне мысли, несравненно лучшие прежних, и я вижу сам, что

---

желающие видеть в духовенстве руководителей к духовной высоте жизни, жаждущие, чтобы православное христианство в России было осуществлением того, что читаем в Исааке Сирине, Варсонофии и проч. И он сам в своей жизни именно таков. Никто менее не способен мириться с казенностью, с формализмом и с мирскою суетой в деле Христианства <...> К таким людям принадлежал покойный Гоголь...» (Материалы для биографии Н. П. Гилярова-Платонова // Русское обозрение. 1896. № 12 С. 997).

Трудно сказать, в какой мере Толстой влиял на Гоголя однако письма Гоголя к нему сороковых годов проникнуты тем же учительным тоном, что и по отношению к другим адресатам «Все же, что ни говорил я относительно Великого Поста и пред стоящих вам подвигов говения и ношения, выполните с буквальною точностью, как бы она ни казалась вам не нужна или не идущею к делу. Наложите также на себя обет добровольного воздержания в слове во все продолжение этого времени...» (Из письма Гоголя от 5 марта н. ст. 1845 г.). Гоголь относил Толстого к числу людей, «которые способны сделать много у нас добра при нынешних именно обстоятельствах России, который не с европейской заносчивой высоты, а прямо с русской здравой середины видит вещь», и побуждал его заняться государственной деятельностью.

Гоголь неоднократно останавливался у графа Толстого в Париже, а в 1848 — 1852 гг. жил в его доме на Никитском бульваре в Москве, где писал второй том «Мертвых душ». «Здесь за Гоголем ухаживали как за ребенком, — вспоминал Н. В. Берг, — про доставив ему полную свободу во всем. Он не заботился ровно ни о чем» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 504). Устные рассказы Толстого стали основным источником сведений о предсмертных днях Гоголя.

В данном письме Гоголь развивает общую для христианских писателей мысль о значении болезней и страданий человека для его духовного возрождения. Этую идею он намеревался воплотить во втором томе «Мертвых душ».

теперь все, что ни выйдет из-под пера моего, будет значительнее прежнего. Не будь тяжких болезненных страданий, куда б я теперь не занесся! каким бы значительным человеком вообразил себя! Но, слыша ежеминутно, что жизнь моя на волоске, что недуг может остановить вдруг тот труд мой, на котором основана вся моя значительность<sup>31</sup>, и та польза, которую так желает принести душа моя, останется в одном бессильном желании, а не в исполнении, и не дам я никаких процентов на данные мне Богом таланты, и буду осужден, как последний из преступников... Слыша все это, смиряюсь я всякую минуту и не нахожу слов, как благодарить небесного Промыслителя за мою болезнь. Принимайте же и вы покорно всякий недуг, веря вперед, что он нужен. Молитесь Богу только о том, чтобы открылось перед вами его чудное значение и вся глубина его высокого смысла.

1846

---

<sup>31</sup> «Мертвые души».

## IV

# О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ СЛОВО<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Адресат письма неизвестен. Настоящая глава перекликается с выдержкой из толкования св. Иоанна Златоуста на 140-й Псалом, содержащейся в гоголевском сборнике выписок из творений святых отцов и учителей Православной Церкви, составленном не позднее марта 1844 г. Приводим эту выдержку, названную Гоголем «О слове», целиком.

«Язык есть такой член, которым мы беседуем с Богом, чрез который возносим Ему хвалу. Такое блюдение имеет Иов, посему и не произнес ни одного непристойного слова, напротив, большую частию молчал; когда же и надлежало ему говорить с женою, то произнес слова, исполненные любомуздрия. Ибо должно говорить тогда только, когда разговор полезнее молчания. Потому и Христос сказал: всяко слово праздное еже рекут человечы, воздадят о нем слово. И Павел: слово гнило да не исходит из уст ваших. А как можно содержать эту дверь в безопасности и иметь над нею точное наблюдение, об этом вот что говорит (Сирах): вся повесть твоя в закон Вышняго. Ибо если та приучишь себя ничего не говорить лишнего, напротив, непрестанно будешь беседою о Божественном писании ограждать и мысль, и уста свои, то стража твоя будет тверже адаманта. И ты, когда увидишь, что кто-либо нуждается в душевном или телесном врачевании, не говори себе: почему такой-то и такой-то не излечил его? но сам избавь больного от недуга и не требуй от всех отчета в их небрежении о нем. Ведь если ты заметишь, что лежит золотая монета, то не говоришь, зачем такой-то и такой-то не поднял ее, но спешишь схватить ее прежде всех. Так рассуждай и о падших братиях и заботливость о них считай за находку сокровища. Ибо если ты прольешь на него, как масло, слово учения, если обвязишь его кротостию, если уврачуешь терпением, то он обогатит тебя более, нежели какое-либо сокровище. Аще изведеши честное от недостойного, яко уста моя будеши, говорит Господь (Иер 13, 19)» (ОР ЦНБ АН Украины. Ф Гог. 78 С. 45)

«Приятель наш П.....Н» — Михаил Петрович Погодин (1800 — 1875), известный историк, писатель и журналист, который своим бестактным поведением по отношению к Гоголю не однажды доставлял ему огорчения (см. напр., comment. к с. 43) Характерна дарственная надпись Гоголя на Экземпляре «Выбранных Мест...»:

«Неопрятному и растрепанному душой Погодину, ничего не помнящему, наносящему на всяком шагу оскорблений другим и того не видящему, Фоме Неверному, близоруким и грубым аршином меряющему людей, дарит сию книгу, в вечное напоминание грехов его, человек, также грешный, как и он, и во многом еще неопрятнейший его самого». Этот автограф Погодин вклейл в свой дневник за 1847 г. (ныне хранится в Отделе рукописей бывшей Румянцевской библиотеки). В первом издании книги несколько резких строк о Погодине были

Пушкин, когда прочитал следующие стихи из оды Державина к Храповицкому:

За слова меня пусть гложет,  
За дела сатирик чтит, —<sup>33</sup>

сказал так: «Державин не совсем прав: слова поэта суть уже его дела». Пушкин прав. Поэт на поприще слова должен быть так же безукоризнен, как и всякий другой на своем поприще. Если писатель станет оправдываться какими-нибудь обстоятельствами, бывшими причиной неискренности, или необдуманности, или поспешной торопливости его слова, тогда и всякий несправедливый судья может оправдаться в том, что брал взятки и торговал правосудием, складывая вину на свои тесные обстоятельства, на жену, на большое семейство, словом — мало ли на что можно сослаться. У человека вдруг явятся тесные обстоятельства. Потомству нет дела до того, кто был виной<sup>34</sup>, что писатель сказал глупость или нелепость, или же выразился вообще необдуманно и незрело. Оно не станет разбирать, кто толкал его под руку: близорукий ли приятель, подстрекавший его на рановременную деятельность, журналист ли, хлопотавший только о выгоде своего журнала. Потомство не примет в уважение ни кумовство, ни журналистов, ни собственную его бедность и затруднительное положение. Оно сделает упрек ему, а не им. Зачем ты не устоял противу всего этого? Ведь ты же почувствовал сам честность званья своего; ведь ты же умел предпочесть его другим, выгоднейшим должностям и

---

исключены цензурой. Многие друзья Гоголя, в том числе С. Т Аксаков и С П Шевырев, были возмущены выпадами Гоголя. Шевырев отказался заниматься вторым изданием «Выбранных мест...», требуя исключения из них всего, что компрометирует Погодина. В ответ на это Гоголь решил поместить в новом издании книги статью под названием «О достоинстве сочинений и литературных трудов Погодина». Замысел этот остался неосуществленным.

<sup>33</sup> Из стихотворения Г. Р. Державина «Храповицкому» (1797).

<sup>34</sup> Здесь Гоголь исповедует и собственный грех. 6 февраля 1842 г. он писал П. А. Плетневу об издании первого тома «Мертвых душ»: «...что ж делать: у меня больше никаких не оставалось средств». Ссылка на «обстоятельства, важные для одного только Автора» предваряла и первую поэму Гоголя «Ганц Кюхельгартен». Также, издавая «Арабески», Гоголь признавался: «Недосуг и обстоятельства <...> не позволяли мне пересматривать спокойно и внимательно свои рукописи...» Обобщая все это, Гоголь питал между 1 и 14 декабря н. ст. 1844 г. П. А. Плетневу: «Крутые обстоятельства заставили меня прежде времени выдать некоторые сочинения, на которых я не имел времени даже взглянуть моими тогдашними глазами, не только теперешними, и в каком ярком виде я показал всем и свое невежество и неряшество и своими же словами опозорил то, что хотел возвысить».

сделал это не вследствие какой-нибудь фантазии, но потому, что в себе услышал на то призванье Божие, ведь ты же получил в добавку к тому ум, который видел подальше, пошире и поглубже дела, нежели те, которые тебя подталкивали. Зачем же ты был ребенком, а не мужем, получа все, что нужно для мужа? Словом, еще какой-нибудь обыкновенный писатель мог бы оправдываться обстоятельствами, но не Державин. Он слишком повредил себе тем, что не сжег, по крайней мере, целой половины од своих. Эта половина од представляет явление поразительное: никто еще доселе так не посмеялся над самим собой, над святыней своих лучших верований и чувств, как это сделал Державин в этой несчастной половине своих од. Точно как бы он силился здесь намалевать карикатуру на самого себя: все, что в других местах у него так прекрасно, так свободно, так проникнуто внутреннею силою душевного огня, здесь холодно, бездушно и принужденно; а что хуже всего — здесь повторены те же самые обороты, выражения и даже целиком фразы, которые имеют такую орлиную замашку в его одушевленных одах и которые тут просто смешны и походят на то, как бы карлик надел панцирь великана, да еще и не так, как следует. Сколько людей теперь произносит сужденье о Державине, основываясь на его пошлых одах. Сколько усумнилось в искренности его чувств потому только, что нашли их во многих местах выраженными слабо и бездушно; какие двусмысленные толки составились о самом его характере, душевном благородстве и даже неподкупности того самого правосудья, за которое он стоял. И все потому, что не сожжено то, что должно быть предано огню. Приятель наш П...н имеет обыкновение, отрывши, какие ни попало, строки известного писателя, тот же час их тиснуть в свой журнал, не взвесив хорошенъко, к чести ли оно или к бесчестью его. Он скрепляет это дело известной оговоркой журналистов: «Надеемся, что читатели и потомство останутся благодарны за сообщение сих драгоценных строк; в великом человеке все достойно любопытства»<sup>35</sup>, — и тому подобное. Все это пустяки. Какой-нибудь мелкий читатель останется благодарен; но потомство плюнет на эти драгоценные строки, если в них бездушно повторено то, что уже известно, и если не дышит от них святыня того, что должно быть свято. Чем истины выше, тем нужно

---

<sup>35</sup> Вероятно, Гоголь оспаривает здесь суждение А. С. Пушкина из статьи «Вольтер» (Современник. 1836. Кн. 3): «Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное, как отрывок из расходной тетради или записка к портному об отсрочке платежа. Нас невольно поражает мысль, что рука, начертавшая эти смиренные цифры, эти незначащие слова, тем же самым почерком и, может быть, тем же самым пером написала и великие творения, предмет наших изучении и восторгов».

быть осторожнее с ними; иначе они вдруг обратятся в общие места, а общим местам уже не верят. Не столько зла произвели сами безбожники, сколько произвели зла лицемерные или даже просто неприготовленные проповедатели Бога, дерзавшие произносить имя Его неосвященными устами. Обращаться с словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку. Беда произносить его писателю в те поры, когда он находится под влиянием страстных увлечений, досады, или гнева, или какого-нибудь личного нерасположения к кому бы то ни было, словом — в те поры, когда не пришла еще в стройность его собственная душа: из него такое выйдет слово, которое всем опротивеет. И тогда с самым чистейшим желанием добра можно произвести зло. Тот же наш приятель П...и тому порука: он торопился всю свою жизнь, спеша делиться всем с своими читателями, сообщать им все, чего он набирался сам, не разбирая, созрела ли мысль в его собственной голове таким образом, дабы стать близкой и доступной всем, словом — выказывал перед читателем себя всего во всем своем неряшестве. И что ж? Заметили ли читатели те благородные и прекрасные порывы, которые у него сверкали весьма часто? приияли ли от него то, чем он хотел с ними поделиться? Нет, они заметили в нем одно только неряшество и неопрятность, которые прежде всего замечает человек, и ничего от него не приияли. Тридцать лет работал и хлопотал, как муравей, этот человек, торопясь всю жизнь свою передать поскорей в руки всем все, что ни находил на пользу просвещенья и образованья русского... И ни один человек не сказал ему спасибо; ни одного признательного юноши я не встретил, который бы сказал, что он обязан ему каким-нибудь новым светом или прекрасным стремлением к добру, которое бы внушило его слово. Напротив, я должен был даже спорить и стоять за чистоту самих намерений и за искренность слов его перед такими людьми, которые, кажется, могли бы поять его. Мне было трудно даже убедить кого-либо, потому что он сумел так замаскировать себя перед всеми, что решительно нет возможности показать его в том виде, каков он действительно есть. Заговорит ли он о патриотизме, он заговорит о нем так, что патриотизм его кажется подкупной; о любви к царю, которую питает он искренно и свято в душе своей, изъяснится он так, что это походит на одно раболепство и какое-то корыстное угождение. Его искренний, непрятворный гнев противу всякого направления, вредного России, выразится у него так, как бы он подавал донос на каких-то некоторых, ему одному известных людей. Словом, на всяком шагу он сам свой клеветник. Опасно шутить писателю со словом. Слово гнило да не исходит из уст ваших! <sup>36</sup> Если это следует применить ко всем нам без изъятия, то во сколько крат более оно должно

---

<sup>36</sup> Послание апостола Павла к Ефесянам (гл. 4, ст. 29).

быть применено к тем, у которых поприще — слово и которым определено говорить о прекрасном и возвышенном. Беда, если о предметах святых и возвышенных станет раздаваться гнилое слово; пусть уже лучше раздается гнилое слово о гнилых предметах. Все великие воспитатели людей налагали долгое молчание именно на тех, которые владели даром слова, именно в те поры и в то время, когда больше всего хотелось им пощеголять словом и рвалась душа сказать даже много полезного людям. Они слышали, как можно опозорить то, что стремишься возвысить, и как на всяком шагу язык наш есть наш предатель. «Наложи дверь и замки на уста твои,<sup>37</sup> — говорит Иисус Сирах, — растопи золото и серебро, какое имеешь, дабы сделать из них весы, которые взвешивали бы твое слово, и выковать надежную узду, которая бы держала твои уста».

1844

## V

### ЧТЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ ПЕРЕД ПУБЛИКОЮ (Письмо к Л\*\*)<sup>38</sup>

Я рад, что наконец начались у нас публичные чтения произведений наших писателей. Мне уже писали об этом кое-что из Москвы: там читали разные литературные современности, а в том числе и мои повести. Я думал всегда, что публичное чтение у нас необходимо. Мы

<sup>37</sup> Гоголь цитирует Книгу Премудрости Иисуса сына Сирахова (гл. 28, ст. 28 — 29). В традиции Восточной Церкви (в отличие от Западной) эта книга считается неканонической и, следовательно, не обладающей качеством богодохновенности, хотя издревле рассматривалась как глубоко поучительная для тех, кто искал уроков мудрости и благочестия, особенно для вступающих в Церковь. Святые отцы нередко пользовались этой книгой в своих писаниях. Синодальный перевод данного места выглядит так: «Свяжи серебро твое и золото, и для слов твоих сделай вес и меру, и для уст твоих — дверь и запор». Каким переводом пользовался Гоголь — неизвестно. Возможно, что это его собственный перевод.

<sup>38</sup> Адресат письма неизвестен. В 1843 г., во время Великого Поста, в Москве, но инициативе М. С. Щепкина были устроены публичные чтения произведений русских писателей. Помимо Щепкина участие в них принимали П. М. Садовский, П. С. Мочалов и другие актеры. Читались главным образом сочинения Гоголя. См. об этом статью Ригельмана «Вечера для чтения» (Москвитянин. 1843. № 5).

как-то охотней готовы действовать сообща, даже и читать; поодиночке из нас всяк ленив и, пока видит, что другие не тронулись, сам не тронется. Искусные чтецы должны создаться у нас: среди нас мало речистых говорунов, способных щеголять в палатах и парламентах, но много есть людей, способных всему *сочувствовать*. Передать, поделиться ощущением у многих обращается даже в страсть, которая становится еще сильней по мере того, как живее начинают замечать они, что не умеют изъясняться словом (признак природы эстетической). К образованью чтецов способствует также и язык наш, который как бы создан для искусственного чтения, заключая в себе все оттенки звуков и самые смелые переходы от возвышенного до простого в одной и той же речи. Я даже думаю, что публичные чтения со временем заместят у нас спектакли. Но я бы желал, чтобы в нынешние наши чтения избиралось что-нибудь истинно стоящее публичного чтения, чтобы и самому чтецу не жаль было потрудиться над ним предварительно. В нашей современной литературе нет ничего такого, да и нет надобности читать современное. Публика его прочтет и без того, благодаря страсти к новизне. Все эти новые повести (в том числе и мои) не так важны, чтобы сделать из них публичное чтение. Нам нужно обратиться к нашим поэтам, к тем высоким произведениям стихотворным, которые у них долго обдумывались и обрабатывались в голове, над которыми и чтец должен поработать долго. Наши поэты до сих пор почти неизвестны публике. В журналах о них говорили много, разбирали их даже весьма многословно, но высказывали больше самих себя, нежели разбираемых поэтов. Журналы достигнули только того, что сбили и спутали понятия публики о наших поэтах, так что в глазах ее личность каждого поэта теперь двоится, и никто не может представить себе определительно, что такое из них всяк в существе своем. Одно только искусное чтение может установить о них ясное понятие. Но, разумеется, нужно, чтобы самое чтение произведено было таким чтецом, который способен передать всякую неуловимую черту того, что читает. Для этого не нужно быть пламенным юношей, который готов сгоряча и не переводя духа прочесть в один вечер и трагедию, и комедию, и оду, и все что ни попало. Прочесть как следует произведение лирическое — вовсе не безделица, для этого нужно долго его изучать. Нужно разделить искренно с поэтом высокое ощущение, наполнившее его душу; нужно душой и сердцем почувствовать всякое слово его — и тогда уже выступать на публичное его чтение. Чтение это будет вовсе не крикливое, не в жару и горячке. Напротив, оно может быть даже очень спокойное, но в голосе чтеца послышится неведомая сила, свидетель истинно-растроганного внутреннего состояния. Сила эта сообщится всем и произведет чудо: потрянутся и те, которые не потрясались никогда от звуков поэзии. Чтение наших поэтов может принести много публичного

добра. У них есть много прекрасного, которое не только совсем позабыто, но даже оклеветано, очернено, представлено публике в каком-то низком смысле, о котором и не помышляли благородные сердцем наши поэты. Не знаю, кому принадлежит мысль — обратить публичные чтения в пользу бедным, но мысль эта прекрасна. Особенно это кстати теперь, когда так много страждущих внутри России от голода, пожаров, болезней и всякого рода несчастий. Как бы утешились души от нас удалившихся поэтов такому употреблению их произведений!

1843

## VI

### О ПОМОЩИ БЕДНЫМ (Из письма к А. О. С.....ой)<sup>39</sup>

...Обращаюсь к нападеньям вашим на глупость петербургской молодежи, которая затеяла подносить золотые венки и кубки чужеземным певцам и актрисам в то самое время, когда в России голодают целиком губернии. Это происходит не от глупости и не от ожесточения сердец, даже и не от легкомыслия. Это происходит от всем нам общей человеческой беспечности. Эти несчастья и ужасы, производимые голодом, далеки от нас; они совершаются внутри провинций, они не перед нашими глазами, — вот разгадка и объяснение всего! Тот же самый, кто заплатил, дабы насладиться пеньем Рубини<sup>40</sup>,

---

<sup>39</sup> Письмо адресовано Александре Осиповне Смирновой (рожденной Россет; 1810 — 1882), фрейлине императрицы Александры Феодоровны. Ее воспоминания о Гоголе см.: Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. Об их взаимоотношениях см.: Колосова Н. Смирнова и Гоголь // Кавказиони: Лит. сборник. Вып. 3. Тбилиси, 1985.

В настоящем письме нашла отражение переписка Гоголя со Смирновой в 1844 г., в частности письма Смирновой от 18 и 30 декабря (опубликованы: Русская старина. 1888. № 10) и письмо Гоголя от 28 декабря.

<sup>40</sup> Джованни Баттиста Рубини (1794 или 1795—1854) — итальянский певец-тенор, выступавший с концертами в России в 1843—1845 и 1847 гг. О его гастролях в Москве С. П. Шевырев писал в «Москвитянине» (1843. № 4. Московская летопись): «Рубини за 3 концерта повез из Москвы 70 000 р<sup>ц</sup> [ублей] ассигнациями. В последнем собрано им было 10 000 р<sup>ц</sup> [ублей], по причине ограниченности мест театра, который был, однако, полон».

сто рублей за кресло в театре, продал бы свое последнее имущество, если бы довелось ему быть свидетелем на деле хотя одной из тех ужасных картин голода, перед которыми ничто всякие страхи и ужасы, выставляемые в мелодрамах. За пожертвованье у нас не станет дело: мы все готовы жертвовать. Но пожертвованья собственно в пользу бедных у нас делаются теперь не весьма охотно, отчасти потому, что не всякий уверен, дойдет ли, как следует, до места назначенья его пожертвованье, попадет ли оно именно в те руки, в которые должно попасть. Большею частию случается так, что помочь, точно какая-то жидкость, несомая в руке, вся расхлещется по дороге, прежде чем донесется, и нуждающемуся приходится посмотреть только на одну сухую руку, в которой нет ничего. Вот о каком предмете следует подумать, прежде чем собирать пожертвованья. Об этом мы с вами после потолкуем, потому что это дело ничуть не маловажное и стоит того, чтобы о нем толково потолковать. А теперь поговорим о том, где скорей нужно помогать. Помогать нужно прежде всего тому, с которым случилось несчастие внезапное, которое вдруг, в одну минуту, лишило его всего за одним разом: или пожар, сжегший все дотла, или падеж, выморивший весь скот, или смерть, похитившая единственную подпору, словом — всякое лишение внезапное, где вдруг является человеку бедность, к которой он еще не успел привыкнуть. Туда несите помочь. Но нужно, чтобы помочь эта произведена была истинно христианским образом; если же она будет состоять в одной только выдаче денег, она ровно ничего не будет значить и не обратится в добро. Если вы не обдумали прежде в собственной голове всего положения того человека, которому хотите помочь, и не принесли с собой ему наученья, как отныне следует вести ему свою жизнь, он не получит большого добра от вашей помощи. Цена поданной помощи редко равняется цене утраты; вообще она едва составляет половину того, что человек потерял, часто одну четверть, а иногда и того меньше. Русский человек способен на все крайности: увида, что с полученными небольшими деньгами он не может вести жизнь, как прежде, он с горя может прокутить вдруг то, что ему дано на долговременное содержанье. А потому наставьте его, как ему изворотиться именно с той самой помощью, которую вы принесли ему, объясните ему истинное значение несчастья, чтобы он видел, что оно послано ему затем, дабы он изменил прежнее житие свое, дабы отныне он стал уже не прежний, но как бы другой человек и вещественно и нравственно. Вы сумеете это сказать умно, если только вникнете хорошенько в его природу и в его обстоятельства. Он вас поймет: несчастье умягчает человека; природа его становится тогда более чуткой и доступной к пониманию предметов, превосходящих появление человека, находящегося в обыкновенном и вседневном положении; он как бы весь

обращается тогда в разогретый воск, из которого можно лепить все, что ни захотите. Всего лучше, однако ж, если бы всякая помощь производилась через руки опытных и умных священников. Они одни в силах истолковать человеку святой и глубокий смысл несчастия, которое, в каких бы ни являлось образах и видах кому бы то ни было на земле, обитает ли он в избе или палатах, есть тот же крик небесный, вопиющий человеку о перемене всей его прежней жизни.

1844

## VII

### ОБ ОДИССЕЕ, ПЕРЕВОДИМОЙ ЖУКОВСКИМ

(Письмо к Н. М. Я....ву)<sup>41</sup>

Появление «Одиссеи» произведет эпоху. «Одиссея» есть решительно совершеннейшее произведение всех веков. Объем ее велик; «Илиада» пред нею эпизод. «Одиссея» захватывает весь древний мир, публичную и домашнюю жизнь, все поприща тогдаших людей, с их ремеслами, знаньями, верованьями... словом, трудно даже сказать, чего бы не обняла «Одиссея» или что бы в ней было пропущено. В продолжение нескольких веков служила она неиссякаемым колодцем для древних, а потом и для всех поэтов. Из нее черпались предметы для бесчисленного множества трагедий, комедий; все это разнеслось по всему свету, сделалось достоянием всех, а сама «Одиссея» позабыта.

<sup>41</sup> Письмо адресовано Николаю Михайловичу Языкову (1803—1846). Гоголь познакомился с ним в июне 1839 г. за границей. В дальнейшем их связывали тесные дружеские отношения. Через Языкова и его братьев Гоголь получал из России книги, в том числе духовного содержания. Посыпая П. А. Плетневу настоящую статью. Гоголь писал ему 4 июля н. ст. 1846 г.: «Покамест к тебе маленькая просьба <...> Жуковскому нужно, чтобы публика была несколько подготовлена к принятию «Одиссеи». В прошлом году я писал Языкову о том, чем именно нужна и полезна в наше время «Одиссея» и что такое перевод Жуковского. Теперь я выправил это письмо и посыпаю его для напечатания вначале в твоем журнале, а потом во всех журналах, которые больше расходятся в публике, в виде статьи, заимствованной из «Современника»...» Статья была опубликована в «Современнике» (1846. № 7) и, при посредстве Н. М. Языкова, в «Московских ведомостях» (1846, 25 июля. № 89) и в «Москвитянине» (1846. № 7). «Одиссея» была издана В. А. Жуковским в 1849 г.

Участь «Одиссеи» странна: в Европе ее не оценили; виной этого отчасти недостаток перевода, который бы передавал художественно великолепнейшее произведение древности, отчасти недостаток языка, в такой степени богатого и полного, на котором отразились бы все бесчисленные, неуловимые красоты как самого Гомера, так и вообще эллинской речи; отчасти же недостаток, наконец, и самого народа, в такой степени одаренного чистотой девственного вкуса, какая потребна для того, чтобы почувствовать Гомера.

Теперь перевод первейшего поэтического творения производится на языке, полнейшем и богатейшем всех европейских языков.

Вся литературная жизнь Жуковского была как бы приготовлением к этому делу. Нужно было его стиху выработать на сочинениях и переводах с поэтов всех наций и языков, чтобы сделаться потом способным передать вечный стих Гомера, — уху его наслушаться всех лир, дабы сделаться до того чутким, чтобы и оттенок эллинского звука не пропал; нужно было мало того, что влюбиться ему самому в Гомера, но получить еще страстное желание заставить всех соотечественников своих влюбиться в Гомера, на эстетическую пользу души каждого из них; нужно было совершиться внутри самого переводчика многим таким событиям, которые привели в большую стройность и спокойствие его собственную душу, необходимые для передачи произведения, замышленного в такой стройности и спокойствии; нужно было, наконец, сделаться глубже христианином, дабы приобрести тот презирающий, углубленный взгляд на жизнь, которого никто не может иметь, кроме христианина, уже постигнувшего значение жизни. Вот скольким условиям нужно было выполниться, чтобы перевод «Одиссеи» вышел не рабская передача, но послышалось бы в нем *слово живо*, и вся Россия приняла бы Гомера, как родного!

Зато вышло что-то чудное. Это не перевод, но скорей воссоздание, восстановление, воскресенье Гомера. Перевод как бы еще более вводит в древнюю жизнь, чем сам оригинал. Переводчик незримо стал как бы истолкователем Гомера, стал как бы каким-то зрительным, выясняющим стеклом перед читателем, сквозь которое еще определительней и ясней выказываются все бесчисленные его сокровища.

По-моему, все нынешние обстоятельства как бы нарочно обстановились так, чтобы сделать появление «Одиссеи» почти необходимым в настоящее время: в литературе, как и во всем, — охлаждение. Как очаровываться, так и разочаровываться устали и перестали. Даже эти судорожные, больные произведения века, с примесью всяких непереварившихся идей, нанесенных политическими и прочими броженьями, стали значительно упадать: только одни задние

чтецы, привыкшие держаться за хвосты журнальных вождей, еще кое-что перечитывают, не замечая в простодушии, что козлы, их предводившие, давно уже остановились в раздумье, не зная сами, куда повести заблудшие стада свои. Словом, именно то время, когда слишком важно появление произведенья стройного во всех частях своих, которое изображало бы жизнь с отчетливостью изумительной и от которого повевало бы спокойствием и простотой почти младенческой.

«Одиссея» произведет у нас влияние, как *вообще на всех*, так и *отдельно на каждого*.

Рассмотрим то влияние, которое она может у нас произвести *вообще на всех*. «Одиссея» есть именно то произведение, в котором заключились все нужные условия, дабы сделать ее чтением всеобщим и народным. Она соединяет всю увлекательность сказки и всю простую правду человеческого похождения, имеющего равную заманчивость для всякого человека, кто бы он ни был. Дворянин, мещанин, купец, грамотей и неграмотей, рядовой солдат, лакей, ребенок обоего пола, начиная с того возраста, когда ребенок начинает любить сказку, ее прочитают и выслушают без скуки. Обстоятельство слишком важное, особенно, если примем в соображение то, что «Одиссея» есть вместе с тем самое нравственнейшее произведение<sup>42</sup> и что единственно затем и предпринята древним поэтом, чтобы в живых образах начертать законы действий тогдашнему человеку.

Греческое многобожие не соблазнит нашего народа. Народ наш умен: он растолкует, не ломая головы, даже то, что приводят в тупик умников. Он здесь увидит только доказательство того, как трудно человеку самому, без пророков и без откровения свыше, дойти до того, чтобы узнать Бога в истинном виде, и в каких нелепых видах станет он представлять себе лик Его, раздробивши единство и единосилие на множество образов и сил. Он даже не посмеется над тогдашними язычниками, признав их ни в чем не виноватыми: пророки им не говорили, Христос тогда не родился, апостолов не было. Нет, народ наш скорей почешет у себя в затылке, почувствовав то, что он, зная Бога в Его истинном виде, имея в руках уже письменный закон Его, имея даже истолкователей закона в отцах духовных, молится ленивее и выполняет долг свой хуже древнего язычника. Народ смекнет, почему та же верховная сила помогала и язычнику за его добрую жизнь и усердную

<sup>42</sup> В связи с этим суждением архимандрит Феодор (Сухарев) писал, обращаясь к Гоголю: «Вы сказали глубокую истину, — такую, которую за пятнадцать веков изрек великий отец Церкви, величайший мыслитель и поэт св. Григорий Богослов. Он сказал об Одиссее, что она вся похвала добродетели» (Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. С. 52).

молитву, несмотря на то, что он, по невежеству, взывал к ней в образе Посейдонов, Кронионов, Гефестов, Гелиосов, Киприд и всей вереницы, которую наплело играющее воображение греков. Словом, многобожие оставит он в сторону, а извлечет из «Одиссеи» то, что ему следует из нее извлечь, — то, что ощутительно в ней видимо всем, что легло в дух ее содержания и для чего написана сама «Одиссея», то есть, что человеку везде, на всяком поприще, предстоит много бед, что нужно с ними бороться, — для того и жизнь дана человеку, — что ни в каком случае не следует унывать, как не унывал и Одиссей, который во всякую трудную и тяжелую минуту обращался к своему милому сердцу, не подозревая сам, что таковым внутренним обращением к самому себе он уже творил ту внутреннюю молитву Богу, которую в минуты бедствий совершают всякий человек, даже не имеющий никакого понятия о Боге. Вот то *общее*, тот живой дух ее содержания, которым произведет на всех впечатление «Одиссея» прежде, чем одни восхитятся ее поэтическими достоинствами, верностью картин и живостью описаний; прежде, чем другие поразятся раскрытием сокровищ древности в таких подробностях, в каких не сохранило ее ни ваянье, ни живопись, ни вообще все древние памятники; прежде, чем третья останутся изумлены необыкновенным познанием всех изгибов души человеческой, которые все были ведомы всевидевшему слепцу; прежде, чем четвертые будут поражены глубоким ведением государственным, знанием трудной науки править людьми и властвовать ими, чем обладал также божественный старец, законодатель и своего и грядущих поколений; словом — прежде, чем кто-либо завлечется чем-нибудь отдельно в «Одиссее» сообразно своему ремеслу, занятиям, наклонностям и своей личной особенности. И все потому, что слишком осзательно слышен этот дух ее содержания, эта внутренняя сущность его, что ни в одном творении не пропадает она так сильно наружу, проникая все и преобладая над всем, особенно, когда рассмотрим еще, как ярки все эпизоды, из которых каждый в силах застенить главное.

Отчего же так сильно это слышится всем? Оттого, что залегло это глубоко в самую душу древнего поэта. Видишь на всяком шагу, как хотел он облечь во всю обворожительную красоту поэзии то, что хотел бы утвердить навеки в людях, как стремился укрепить в народных обычаях то, что в них похвально, напомнить человеку лучшее и святейшее, что есть в нем и что он способен позабывать всякую минуту, оставить в каждом лице своем пример каждому на его отдельном поприще, а всем вообще оставить пример в своем неутомимом Одиссее на общечеловеческом поприще.

Это строгое почитание обычаев, это благоговейное уважение власти и начальников, несмотря на ограниченные пределы самой власти,

эта девственная стыдливость юношей, эта благость и благодушное безгневие старцев, это радужное гостеприимство, это уважение и почти благоговение к человеку, как представителю образа Божия, это верование, что ни одна благая мысль не зарождается в голове его без верховной воли высшего насущества и что ничего не может он сделать своими собственными силами, словом — все, всякая малейшая черта в «Одиссее» говорит о внутреннем желании поэта всех поэтов оставить древнему человеку живую и полную книгу законодательства в то время, когда еще не было ни законодателей, ни учредителей порядков, когда еще никакими гражданскими и письменными постановлениями не были определены отношения людей, когда люди еще многое не ведали и даже не предчувствовали и когда один только божественный старец все видел, слышал, соображал и предчувствовал, слепец, лишенный зрения, общего всем людям, и вооруженный тем внутренним оком, которого не имеют люди!

И как искусно скрыт весь труд многолетних обдумываний под простотой самого простодушнейшего повествования! Кажется, как бы собрав весь люд в одну семью и усевшись среди них сам, как дед среди внуков, готовый даже с ними ребячиться, ведет он добродушный рассказ свой и только заботится о том, чтобы не утомить никого, не запугать неуместной длиннотой поученья, но развеять и разнести его невидимо по всему творению, чтобы, играя, набрались все того, что дано не на игрушку человеку, и незаметно бы надыхались тем, что знал он и видел лучшего на своем веку и в своем веке. Можно бы почесть все за изливающуюся без приготовления сказку, если бы по внимательном рассмотрении уже потом не открывалась удивительная постройка всего целого и порознь каждой песни. Как глупы немецкие умники, выдумавшие, будто Гомер — миф<sup>43</sup>, а все творения его — народные песни и рапсодии!

Но рассмотрим то влияние, которое может произвести у нас «Одиссея» *отдельно на каждого*. Во-первых, она подействует на пишущую нашу братию, на сочинителей наших. Она возвратит многих к свету, проведя их, как искусный лоцман, сквозь сумятицу и мглу, нанесенную неустроенным, неорганизовавшимися писателями. Она снова напомнит нам всем, в какой бесхитростной простоте нужно воссоздавать природу, как уяснить всякую мысль до ясности почти ощутительной, в каком уравновешенном спокойствии должна изливаться речь наша. Она вновь даст почувствовать всем нашим писателям ту старую истину, которую век мы должны помнить и которую всегда

<sup>43</sup> О современных Гоголю теориях по «гомеровскому вопросу» см.: Лосев А. ф. Гомер. М., 1960.

позабываем, а именно: до тех пор не приниматься за перо, пока все в голове не установится в такой ясности и порядке, что даже ребенок в силах будет поять и удержать все в памяти. Еще более, чем на самих писателей, «Одиссея» подействует на тех, которые еще готовятся в писатели и, находясь в гимназиях и университетах, видят перед собой еще туманно и неясно свое будущее поприще. Их она может навести с самого начала на прямой путь, избавив от лишнего шатания по кривым закоулкам, по которым натолкались изрядно их предшественники.

Во-вторых, «Одиссея» подействует на вкус и на развитие эстетического чувства. Она освежит критику. Критика устала и запуталась от разборов загадочных произведений новейшей литературы, с горя бросилась в сторону и, уклонившись от вопросов литературных, понесла дичь. По поводу «Одиссеи» может появиться много истинно дельных критик, тем более что вряд ли есть на свете другое произведение, на которое можно было бы взглянуть с таких многих сторон, как на «Одиссею». Я уверен, что толки, разборы, рассуждения, замечания и мысли, ею возбужденные, будут раздаваться у нас в журналах в продолжение многих лет. Читатели будут от этого не в убытке: критики не будут ничтожны. Для них потребуется много перечесть, оглянуть вновь, перечувствовать и перемыслить; пустой верхогляд не найдется даже, что и сказать об «Одиссее».

В-третьих, «Одиссея» своей русской одеждой, в которую облек ее Жуковский, может подействовать значительно на очищение языка. Еще ни у кого из наших писателей, не только у Жуковского во всем, что ни писал он доселе, но даже у Пушкина и Крылова, которые несравненно точней его на слова и выражения, не достигала до такой полноты русская речь. Тут заключались все ее извороты и обороты во всех видоизмененьях. Бесконечно огромные периоды, которые у всякого другого были бы вялы, темны, и периоды сжатые, краткие, которые у другого были бы черствы, обрублены, ожесточили бы речь, у него так братски улегаются друг возле друга, все переходы и встречи противоположностей совершаются в таком благозвучии, все так и сливаются в одно, улетучивая тяжелый громозд всего целого, что, кажется, как бы пропал вовсе всякий слог и склад речи: их нет, как нет и самого переводчика. Наместо его стоит перед глазами, во всем величии, старец Гомер, и слышатся те величавые, вечные речи, которые не принадлежат устам какого-нибудь человека, по которых удел вечно раздаваться в мире. Здесь-то увидят наши писатели, с какой разумной осмотрительностью нужно употреблять слова и выражения, как всякому простому слову можно возвратить его возвышенное достоинство уменьем поместить его в надлежащем месте и как много значит для такого сочинения, которое назначается на всеобщее употребление и есть

сочинение гениальное, это наружное благоприличие, эта внешняя отработка всего: тут малейшая соринка заметна и всем бросается в глаза. Жуковский сравнивает весьма справедливо эти соринки с бумажками, которые стали бы валяться в великолепно убранной комнате<sup>44</sup>, где все сияет ясностью зеркала, начиная от потолка до паркета: всякий вошедший прежде всего увидит эти бумажки, именно потому же самому, почему бы он их вовсе не приметил в неприбранной, нечистой комнате.

В-четвертых, «Одиссея» подействует в любознательном отношении, как на занимающихся науками, так и на не учившихся никакой науке, распространив живое познание древнего мира. Ни в какой истории не начитаешь того, что отыщешь в ней: от нее так и дышит временем минувшим; древний человек, как живой, так и стоит перед глазами, как будто еще вчера его видел и говорил с ним. Так его и видишь во всех его действиях, во все часы дня: как приготавляется он благоговейно к жертвоприношению, как беседует чинно с гостем за пировою критерой<sup>45</sup>, как одевается, как выходит на площадь, как слушает старца, как поучает юношу; его дом, его колесница, его спальня, малейшая мебель в доме, от подвижных столов до ременной задвижки у дверей, — все перед глазами, еще свежее, чем в открытой из земли Помпее.

Наконец, я даже думаю, что появление «Одиссеи» произведет впечатление на современный дух нашего общества вообще. Именно в нынешнее время, когда таинственною волей Провидения стал слышаться повсюду болезненный ропот неудовлетворения, голос неудовольствия человеческого на все, что ни есть на свете: на порядок вещей, на время, на самого себя. Когда всем, наконец, начинает становиться подозрительным то совершенство, на которое возвели нас наша новейшая гражданственность и просвещение; когда слышна у всякого какая-то безотчетная жажда быть не тем, чем он есть, может быть, происшедшая от прекрасного источника быть лучше; когда сквозь нелепые крики и опрометчивые проповедования новых, еще темно услышанных идей, слышно какое-то всеобщее стремление стать ближе к какой-то желанной середине, найти настоящий закон действий, как в массах, так и отдельно взятых особях; словом, в это именно время

<sup>44</sup> Гоголь использует выражение В. А. Жуковского из письма к нему от 31 марта н. ст. 1846 г., где тот, имея в виду крыловский перевод начала первой песни «Одиссеи» (присланный Гоголем), говорит: «Наш дедушка Крылов не подмел горницы: убрал ее прекрасно, да на полу валяются бумажки» (Переписка Н. В. Гоголя. Т. 1. С. 192).

<sup>45</sup> Критера (кратер) — у древних греков большой сосуд для смешивания жидкостей, преимущественно вина с водой.

«Одиссея» поразит величавою патриархальностью древнего быта, простой несложностью общественных пружин, свежестью жизни, непритупленной, младенческою ясностью человека. В «Одиссее» услышит сильный упрек себе наш девятнадцатый век, и упрекам не будет конца, по мере того как станет он поболее всматриваться в нее и вчитываться.

Что может быть, например, уже сильней того упрека, который раздастся в душе, когда разглядишь, как древний человек, с своими небольшими орудиями, со всем несовершенством своей религии, дозволявшей даже обманывать, мстить и прибегать к коварству для истребления врага, с своею непокорной, жестокой, несклонной к повиновению природой, с своими ничтожными законами, умел, однако же, одним только простым исполнением обычаев старины и обрядов, которые не без смысла были установлены древними мудрецами и заповеданы передаваться в виде святыни от отца к сыну, — одним только простым исполнением этих обычаев дошел до того, что приобрел какую-то стройность и даже красоту поступков, так что все в нем сделалось величаво с ног до головы, от речи до простого движения и даже до складки платья, и кажется, как бы действительно слышишь в нем богоподобное происхождение человека? А мы, со всеми нашими огромными средствами и орудиями к совершенствованию, с опытами всех веков, с гибкой, преимчивой нашей природой, с религией, которая именно дана нам на то, чтобы сделать из нас святых и небесных людей, — со всеми этими орудиями, умели дойти до какого-то неряшства и неустройства как внешнего, так и внутреннего, умели сделаться лоскутными, мелкими, от головы до самого платья нашего, и, ко всему еще в прибавку, опротивели до того друг другу, что не уважает никто никого, даже не выключая и тех, которые толкуют об уважении ко всем.

Словом, на страждущих и болеющих от своего европейского совершенства «Одиссея» подействует. Многое напомнит она им младенчески прекрасного, которое (увы!) утрачено, но которое должно возвратить себе человечество, как свое законное наследство. Многие над многим призадумаются. А между тем многое из времен патриархальных, с которыми есть такое сродство в русской природе, разнесется невидимо по лицу русской земли. Благоухающими устами поэзии навевается на души то, чего не внесешь в них никакими законами и никакой властью!

## VIII

# НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НАШЕЙ ЦЕРКВИ И ДУХОВЕНСТВЕ

(Из письма к гр. А. П. Т.....му)<sup>46</sup>

Напрасно смущаетесь вы нападениями, которые теперь раздаются на нашу Церковь в Европе. Обвинять в равнодушии духовенство наше будет также несправедливость. Зачем хотите вы, чтобы наше духовенство, доселе отличавшееся величавым спокойствием, столь ему пристойным, стало в ряды европейских крикунов и начало, подобно им, печатать опрометчивые брошюры? Церковь наша действовала мудро. Чтобы защищать ее, нужно самому прежде узнать ее. А мы вообще знаем плохо нашу Церковь. Духовенство наше не бездействует. Я очень знаю, что в глубине монастырей и в тишине келий готовятся неопровергимые сочинения в защиту Церкви нашей. Но дела свои они делают лучше, нежели мы: они не торопятся и, зная, чего требует такой предмет, совершают свой труд в глубоком спокойствии, молясь, воспитывая самих себя, изгоняя из души своей все страстное, похожее на неуместную, безумную горячку, возвышая свою душу на ту высоту бесстрастия небесного, на которой ей следует пребывать, дабы быть в силах заговорить о таком предмете. Но и эти защиты еще не послужат к

---

<sup>46</sup> Письмо адресовано А. П. Толстому (о нем см. в comment. к письму III. Значение болезней).

Публикация этого и следующего письма («О том же») встретила препятствия в духовной цензуре. «Нельзя пропустить, — сделал заключение цензор, — ибо у сочинителя понятия о силе предметах конфузны». Только после обращения П. А. Плетнева к обер-прокурору Синода Н. А. Протасову Синод разрешил публикацию писем за исключением нескольких фраз.

Гоголь сознавал огромное нравственное и культурное значение духовенства. Он был знаком со многими церковными иерархами и русскими священниками за границей, среди которых было немало широко образованных людей. Что касается сельского духовенства, то Гоголь, видя его не всегда высокий культурный уровень, тем не менее настойчиво стремился внушить прихожанам уважение к любому пастырю. В этом он следовал заветам святоотеческой литературы. В сборнике высокий Гоголя из творений святых отцов и учителей Православной Церкви помещена выдержка из св. Иоанна Златоуста — «О почитании священника, хотя бы и погрешающего»: «Кто чтит священника, тот будет читать и Бога. Но кто научился презирать священника, тот будет хулить и Самого Бога» (ОР ЦНБ АН Украины. Ф. Дис. 2165. Прил. С. 14).

полному убеждению западных католиков. Церковь наша должна святиться в нас, а не в словах наших. Мы должны быть Церковь наша и нами же должны возвестить ее правду. Они говорят, что Церковь наша безжизненна. — Они сказали ложь, потому что Церковь наша есть жизнь; но ложь свою они вывели логически, вывели правильным выводом: мы трупы, а не Церковь наша, и по нас они назвали и Церковь нашу трупом. Как нам защищать нашу Церковь и какой ответ мы можем дать им, если они нам зададут такие вопросы:

«А сделала ли ваша Церковь вас лучшими? Исполняет ли всяк у вас, как следует, свой долг?» Что мы тогда станем отвечать им, почувствовавши вдруг в душе и в совести своей, что шли все время мимо нашей Церкви и едва знаем ее даже и теперь? Владеем сокровищем, которому цены нет, и не только не заботимся о том, чтобы это почувствовать, но не знаем даже, где положили его. У хозяина спрашивают показать лучшую вещь в его доме, и сам хозяин не знает, где лежит она. Эта Церковь, которая, как целомудренная дева, сохранилась одна только от времен апостольских в непорочной первоначальной чистоте своей, эта Церковь, которая вся с своими глубокими догматами и малейшими обрядами наружными как бы снесена прямо с Неба для русского народа, которая одна в силах разрешить все узлы недоумения и вопросы наши, которая может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы, заставив у нас всякое сословье, званье и должность войти в их законные границы и пределы и, не изменив ничего в государстве, дать силу России изумить весь мир согласной стройностью того же самого организма, которым она доселе пугала, — и эта Церковь нами незнаема! И эту Церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь!

Нет, храни нас Бог защищать теперь нашу Церковь! Это значит уронить ее. Только и есть для нас возможна одна пропаганда — жизнь наша. Жизнью нашей мы должны защищать нашу Церковь, которая вся есть жизнь; благоуханием душ наших должны мы возвестить ее истину. Пусть миссионер католичества западного бьет себя в грудь, размахивает руками и красноречием рыданий и слов исторгает скоро высыхающие слезы. Проповедник же католичества восточного должен выступить так перед народ, чтобы уже от одного его смиренного вида, потухнувших очей и тихого, потрясающего гласа, исходящего из души, в которой умерли все желания мира, все бы подвигнулось еще прежде, чем он объяснил бы самое дело, и в один голос заговорило бы к нему: «Не произноси слов, слышим и без них святую правду твоей Церкви!»<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Рассказывая в письме к графу А. П. Толстому от 10 июля 1850 г. о своем посещении Оптиной Пустыни, Гоголь заметил о ее иноках: «Я не расспрашивал,

# IX

## О ТОМ ЖЕ

(Из письма к гр. А. П. Т....му)<sup>48</sup>

Замечание, будто власть Церкви оттого у нас слаба, что наше духовенство мало имеет светскости и ловкости обращенья в обществе, есть такая нелепость, как и утверждение, будто духовенство у нас вовсе отстранено от всякого прикосновения с жизнью уставами нашей Церкви и связано в своих действиях правительством. Духовенству нашему указаны законные и точные границы в его соприкосновениях со светом и людьми. Поверьте, что если бы стали они встречаться с нами чаще, участвуя в наших ежедневных собраниях и гульбищах или входя в семейные дела, — это было бы нехорошо. Духовному предстоит много искущений, гораздо более даже, нежели нам: как раз завелись бы те интриги в домах, в которых обвиняют римско-католических попов. Римско-католические попы именно оттого сделались дурными, что чересчур сделались светскими. У духовенства нашего два законных поприща, на которых они с нами встречаются: исповедь и проповедь. На этих двух поприщах, из которых первое бывает только раз или два в год, а второе может быть всякое воскресенье, можно сделать очень много. И если только священник, видя многое дурное в людях, умел до времени молчать о нем и долго соображать в себе самом, как ему сказать таким образом, чтобы всякое слово дошло прямо до сердца, то он уже скажет об этом так сильно на исповеди и проповеди, как никогда ему не сказать на ежедневных с нами беседах. Нужно, чтобы он говорил стоящему среди света человеку с какого-то возвышенного места, чтобы не его присутствие слышал в это время человек, но присутствие Самого Бога, принимающего равно им обоим, и слышался бы обоюдный страх от Его незримого присутствия. Нет, это даже хорошо, что духовенство наше находится в некотором отдалении от нас. Хорошо, что даже самой одеждой своей, не подвластной никаким изменениям и прихотям наших глупых мод, они отделились от нас. Одежда их прекрасна и величественна. Это не бессмысленное, оставшееся от османнадцатого века рококо и не лоскутная, ничего не объясняющая одежда римско-католических священников. Она имеет смысл: она по образу и подобию той одежды, которую носил Сам Спаситель. Нужно, чтобы и в самой

---

кто из них как живет: их лица сказывали сами все».

<sup>48</sup> Письмо адресовано А. П. Толстому.

одежде своей они носили себе вечное напоминание о Том, Чей образ они должны представлять нам, чтобы и на один миг не позабылись и не растерялись среди развлечений и ничтожных нужд света, ибо с них тысячу крат более взыщется, чем с каждого из нас; чтобы слышали беспрестанно, что они — как бы другие и высшие люди. Нет, покамест священник еще молод и жизнь ему неизвестна, он не должен даже и встречаться с людьми иначе, как на исповеди и проповеди. Если же и входить в беседу, то разве только с мудрейшими и опытнейшими из них, которые могли бы познакомить его с душой и сердцем человека, изобразить ему жизнь в ее истинном виде и свете, а не в том, в каком она является неопытному человеку. Священнику нужно время также и для себя: ему нужно поработать и над самим собою. Он должен с Спасителя брать пример, Который долгое время провел в пустыне и не прежде, как после сорокадневного предуготовительного поста, вышел к людям учить их. Некоторые из нынешних умников выдумали, будто нужно толкаться среди света для того, чтобы узнать его. Это просто вздор. Опровергнем такого мнения служат все светские люди, которые толкаются вечно среди света и при всем том бывают всех пустее. Воспитываются для света не посреди света, но вдали от него, в глубоком внутреннем созерцании, в исследовании собственной души своей, ибо там законы всего и всему: найди только прежде ключ к своей собственной душе; когда же найдешь, тогда этим же самым ключом отопрешь души всех.

# X

## О ЛИРИЗМЕ НАШИХ ПОЭТОВ (Письмо к В. А. Ж.....му)<sup>49</sup>

Поведем речь о статье, над которой произнесен смертный приговор, то есть о статье под названием: «О лиризме наших поэтов». Прежде всего благодарность за смертный приговор! Вот уже во второй раз я спасен тобою, о мой истинный наставник и учитель! Прошлый год твоя же рука остановила меня, когда я уже было хотел послать Плетневу в «Современник» мои сказания о русских поэтах<sup>50</sup>; теперь ты вновь предал уничтожению новый плод моего неразумия. Только один ты меня еще останавливаешь, тогда как все другие торопят неизвестно зачем. Сколько глупостей успел бы я уже наделать, если бы только послушался других моих приятелей! Итак, вот тебе прежде всего моя благодарственная песнь! А затем обратимся к самой статье. Мне стыдно, когда помыслю, как до сих пор еще я глуп и как не умею заговорить ни о чем, что поумнее. Всего нелепее выходят мысли и толки о литературе.

---

<sup>49</sup> Обращено к Василию Андреевичу Жуковскому (1783 — 1852). Это второй вариант письма, что явствует из начальных строк статьи (первый был написан в 1845 г.). Посыпая П. А. Плетневу 16 октября н. ст. 1846 г. заключительную тетрадь «Выбраных мест...», Гоголь писал, имея в виду настоящую главу: «Нужно выбросить все то место, где говорится о значении власти монарха, в каком оно должно явиться в мире. Это не будет понято и примется в другом смысле. К тому же сказано несколько нелепо, о нем после когда-нибудь можно составить умную статью. Теперь выбросить нужно ее непременно, хотя бы статья была и напечатана, и на место ее вставить то, что написано на последней странице тетради». Плетнев выполнил просьбу Гоголя.

Многие современники усмотрели в статье искательство перед царем. В записной книжке Гоголя 1845 — 1846 гг. содержится набросок, помогающий уяснить его представления о назначении монарха: «Соединяя в лице <своем> званье верховного хранителя и блюстителя Церкви, из которой исходит свет просвещения и которая неумолкаемо молится о свете просвещения, государь у нас <1 нрзб.> стремится к свету. И если только он вполне христианин, если первый выполнит долг свой в том духе, какой повелевает ему Церковь, и как строгий христианин будет взыскательнее всех к самому себе, ничего не может произвести он худого, ибо Сам Дух Божий двинет его повеленьями».

Цитаты в настоящей статье не всегда точны, так как приводятся Гоголем большей частью по памяти

<sup>50</sup> Речь идет, по-видимому, о первоначальной редакции статьи «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность».

Тут как-то особенно становится все у меня напыщенно, темно и невразумительно. Мою же собственную мысль, которую не только вижу умом, но даже чую сердцем, не в силах передать. Слышит душа многое, а пересказать или написать ничего не умею. Основание статьи моей справедливо, а между тем объяснился я так, что всяким выражением вызвал на противоречие. Вновь повторяю то же самое: в лиризме наших поэтов есть что-то такое, чего нет у поэтов других наций, именно — что-то близкое к библейскому, — то высшее состояние лиризма, которое чуждо движений страстных и есть твердый взлет в свете разума, верховное торжество духовной трезвости<sup>51</sup>. Не говоря уже о Ломоносове и Державине, даже у Пушкина слышится этот строгий лиризм повсюду, где ни коснется он высоких предметов. Вспомни только стихотворенья его: к пастырю Церкви<sup>52</sup>, «Пророк» и, наконец, этот таинственный побег

<sup>51</sup> Здесь, как и в главе XXXI — *В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность*, — слышны отзвуки древнего учения исихастов («безмолвников»), известного также под именем «трезвения» или «умного делания». Оно восходит к истокам монашества, ко временам св. отцов Антония Великого, Макария Великого, Иоанна Лествичника и др. В позднейшие века учителями «умного делания» были преподобный Григорий Синаит (умер в 1346 г.), Солунский архиепископ св. Григорий Палама (1296 — 1359) и др. подвижники Восточной Церкви, а затем преподобные отцы Нил Сорский (ок. 1433 — 1508) и Паисий Величковский (1722 — 1794). Эта традиция получила развитие у старцев Оптиной Пустыни. Подробнее см. об этом: Концевич И. М. Стяжание Духа Святаго в путях Древней Руси. Париж, 1952.

<sup>52</sup> Имеется в виду стихотворение А. С. Пушкина «В часы забав иль праздной скучи...» (1830). История его создания такова. В 1828 г. Пушкин написал стихотворение «Дар напрасный, дар случайный...». Митрополит Московский Филарет (в мире Василий Михайлович Дроздов; 1782 — 1867) ответил Пушкину стихотворным посланием «Не напрасно, не случайно...», которое распространялось в списках. Впервые опубликовано С. А. Бурачком в его статье «Видение в царстве духов» без указания на авторство преосвященного Филарета (Маяк. 1840. Ч. 10):

Не напрасно, не случайно  
Жизнь от Господа дана!  
Не без цели Его тайной  
На тоску осужден!  
Сам я своенравной властью  
Зло из бездн земных воззвал;  
Сам наполнил душу страстью,  
Ум сомненьем взволновал.  
Вспомнись мне, забытый мною!  
Просияй средь смутных дум —  
И созиждется Тобою  
Сердце чисто, светлый ум!

из города<sup>53</sup>, напечатанный уже после его смерти. Перебери стихи Языкова и увидишь, что он всякий раз становится как-то неизмеримо выше и страстей, и самого себя, когда прикоснется к чему-нибудь высшему. Приведу одно из его даже молодых стихотворений, под названием «Гений»; оно же не длинно:

Когда, гремя и пламенея,  
Пророк на небо улетал,  
Огонь могучий проникал  
Живую душу Елисея.<sup>54</sup>  
Святыми чувствами полна,  
Мужала, крепла, возвышалась,  
И вдохновеньем озарялась,  
И Бога слышала она.  
Так гений радостно трепещет,  
Свое величье познает,  
Когда пред ним гремит и блещет  
Иного гения полет.  
Его воскреснувшая сила  
Мгновенно зреет для чудес,  
И миру новые светила —  
Дела избранника небес.

Какой свет и какая строгость величия! Я изъяснял это тем, что наши поэты видели всякий высокий предмет в его законном

---

Пушкин ответил на это стихотворением «В часы забав иль праздной скуки...» (напечатано в «Литературной газете» 25 февраля 1830 г.).

В марте 1845 г. Гоголь, живший во Франкфурте, обращается к своему парижскому знакомому Ф. Н. Беляеву с просьбой, чтобы отец Димитрий Вершинский, настоятель русской посольской церкви в Париже, списал для него «стихи Филарета в ответ Пушкину». Беляев через графа А. П. Толстого переслал стихотворение Гоголя.

<sup>53</sup> Стихотворение А. С. Пушкина «Странник» (1835; впервые опубликовано в т. 9 посмертного собрания сочинений Пушкина в 1841 г. под заглавием «Отрывок»). Есть свидетельство П. И. Бартенева, касающееся этого стихотворения: «Припомните также загадочное стихотворение «Отрывок», которое Гоголь в статье о лиризме наших поэтов назвал таинственным побегом из города. По словам Гоголя, которые удалось узнать мне частным образом, Пушкин за год до смерти действительно хотел бежать из Петербурга в деревню; но жена не пустила...» (цит. по: Зайцев А. Д. Петр Иванович Бартенев. М., 1989. С. 78). Это свидетельство подтверждается записью в дневнике Екатерины Александровны Хитрово, передавшей слова Гоголя о Пушкине: «Он хотел оставить Петербург и уехать в деревню; жена и родные уговорили остаться» (Гоголь в Одессе. 1850-1851 // Русский архив. 1902. № 3. С. 554).

<sup>54</sup> ветхозаветный пророк из Третьей и Четвертой книг Царств.

соприкосновение с верховным источником лиризма — Богом, одни сознательно, другие бессознательно, потому что русская душа вследствие своей русской природы уже слышит это как-то сама собой, неизвестно почему. Я сказал, что два предмета вызывали у наших поэтов этот лиризм, близкий к библейскому. Первый из них — *Россия*. При одном этом имени как-то вдруг просветляется взгляд у нашего поэта, раздвигается дальше его кругозор, все становится у него шире, и он сам как бы облекается величием, становясь превыше обыкновенного человека. Это что-то более, нежели обыкновенная любовь к отечеству. Любовь к отечеству отзывалась бы приторным хвастаньем. Доказательством тому наши так называемые квасные патриоты: после их похвал, впрочем довольно чистосердечных, только плюнешь на Россию. Между тем заговорит Державин о России — слышишь в себе неестественную силу и как бы сам дышишь величием России. Одна простая любовь к отечеству не дала бы сил не только Державину, но даже и Языкову выражаться так широко и торжественно всякий раз, где ни коснется он России. Например, хоть бы в стихах, где он изображает, как наступил было на нее Баторий<sup>55</sup>:

...Повелительный Стефан<sup>56</sup>  
В один могущественный стан  
Уже сбирая толпы густые —  
Да ниспровергнет псковитян,  
Да уничтожится Россия!  
Но ты, к отечеству любовь,  
Ты, чем гордились наши деды,  
Ты ополчилась. Кровь за кровь —  
И он не праздновал победы!

Эта богатырски трезвая сила, которая временами даже соединяется с каким-то невольным пророчеством о России, рождается от невольного прикосновения мысли к верховному Промыслу, который так явно слышен в судьбе нашего отечества. Сверх любви участвует здесь сокровенный ужас при виде тех событий, которым повелел Бог совершиться в земле, назначенней быть нашим отечеством, прозрение прекрасного нового здания, которое покамест не для всех видимо зиждется и которое может слышать всеслышащим ухом поэзии поэт или же такой духовидец, который уже может в *зерне* прозревать его *плод*. Теперь начинают это слышать понемногу и другие люди, но выражаются так неясно, что слова их похожи на безумие. Тебе напрасно кажется, что

<sup>55</sup> Стефан Баторий (1533 — 1586) — польский король, в 1581 — 1582 гг. осаждал Псков.

<sup>56</sup> Из стихотворения Н. М. Языкова «Тригорское» (1826).

нынешняя молодежь, бредя славянскими началами и пророча о будущем России, следует какому-то модному поветрию. Они не умеют вынашивать в голове мыслей, торопятся их объявлять миру, не замечая того, что их мысли еще глупые ребенки, вот и все. И в еврейском народе четыреста пророков пророчествовали вдруг: из них один только бывал избранник Божий, которого сказанья вносились в святую книгу еврейского народа; все же прочие, вероятно, наговаривали много лишнего, но тем не менее они слышали неясно и темно то же самое, что избранники умели сказать здраво и ясно; иначе народ побил бы их камнями. Зачем же ни Франция, ни Англия, ни Германня не заражены этим поветрием и не пророчествуют о себе, а пророчествует только одна Россия? — Затем, что сильнее других слышит Божью руку на всем, что ни сбывается в ней, и чует приближение иного Царствия. Оттого и звуки становятся библейскими у наших поэтов. И этого не может быть у поэтов, других наций, как бы ни сильно они любили свою отчизну и как бы ни жарко умели выражать такую любовь свою. И в этом не спорь со мною, прекрасный друг мой!

Но перейдем к другому предмету, где также слышится у наших поэтов тот высокий лиризм, о котором идет речь, то есть — *любви к царю*. От множества гимнов и од царям поэзия наша, уже со времен Ломоносова и Державина, получила какое-то величественно-царственное выражение. Что их чувства искрени — об этом нечего и говорить. Только тот, кто наделен мелочным остроумием, способным на одни мгновенные, легкие соображенья, увидит здесь лесть и желанье получить что-нибудь, и такое соображенье оснует на каких-нибудь ничтожных и плохих одах тех же поэтов. Но тот, кто более нежели остроумен, кто мудр, тот остановится перед теми одами Державина, где он очерчивает властелину широкий круг его благотворных действий, где сам, со слезою на глазах, говорит ему о тех слезах, которые готовы заструиться из глаз, не только русских, но даже бесчувственных дикарей, обитающих на концах его империи, от одного только прикосновенья той милости и той любви, какую может показать народу одна полномощная власть. Тут многое так сказано сильно, что если бы даже и нашелся такой государь, который позабыл бы на время долг свой, то, прочитавши сии строки, вспомнит он вновь его и умилится сам перед святостью званья своего. Только холодные сердцем попрекнут Державина за излишние похвалы Екатерине; но кто сердцем не камень, тот не прочтет без умиления тех замечательные строфы, где говорит, что если и перейдет его мраморный истукан в потомство, так это потому только,

Что пел я россов ту царицу,<sup>57</sup>

<sup>57</sup> Из стихотворения Г. Р. Державина «Мой истукан» (1794).

Какой другой нам не найти  
Ни здесь, ни впредь в пространном мире:  
Хвались, хвались моя тем лира!

Не прочтет он также без непритворного душевного волненья сих  
уже почти предсмертных стихов:

Холодна старость дух, у лиры глас отъемлет: <sup>58</sup>  
Екатерины муга дремлет.

...Петь

Уж не могу. Другим певцам греметь  
Мои оставлю ветхи струны.  
Да черплют вновь из них перуны  
Тех чистых пламенных огней,  
Как пел я трех царей.

Старик у дверей гроба не будет лгать. При жизни своей носил он, как святыню, эту любовь, унес и за гроб ее, как святыню. Но не об этом речь. Откуда взялась эта любовь? — вот вопрос. Что весь народ слышит ее каким-то сердечным чутьем, а потому и поэт, как чистейшее отражение того же народа, должен был ее услышать в высшей степени — это объяснит только одну половину дела. Полный и совершенный поэт ничему не предается безотчетливо, не проверив его мудrostю полного своего разума. Имея ухо слышать вперед, заключа в себе стремление воссоздавать в полноте ту же вещь, которую другие видят отрывочно, с одной или двух сторон, а не со всех четырех, он не мог не прозревать развития полнейшего этой власти. Как умно определял Пушкин значение полномощного монарха и как он вообще был умен во всем, что ни говорил в последнее время своей жизни! «Зачем нужно, — говорил он, — чтобы один из нас стал выше всех и даже выше самого закона? <sup>59</sup> Затем,

<sup>58</sup> Из стихотворения Г. Р. Державина «Гимн лиро-эпический на прогнание французов из отечества» (1812).

<sup>59</sup> Здесь и далее Гоголь, по-видимому, передает слова А. С. Пушкина, сказанные в личной беседе. Приводимое высказывание Пушкина о Соединенных Штатах подтверждается в мемуарах В. И. Анненковой: «Разговор был всеобщим, говорили об Америке. И Пушкин сказал: «Мне мешает восхищаться этой страной, которой теперь принято очаровываться, то, что там слишком забывают, что человек жив не единственным хлебом» (цит. по: Андроников Ираклий. Лермонтов: Исследования и находки. М., 1964. С. 175).

Слова Пушкина о «высшей милости, умягчающей закон», по наблюдению М. Новиковой, прямо перекликаются с финалом первоначальной редакции «Повести о капитане Кочейкине» в «Мертвых душах». Копейкин после разбойничих похождений бежит в Соединенные Штаты и пишет оттуда государю письмо с объяснением мотивов своих поступков, — царь прощает его и повелевает учредить комитет по обеспечению раненых воинов.

что закон — дерево; в законе слышит человек что-то жесткое и небратское. С одним буквальным исполнением закона не далеко уйдешь; нарушить же или не исполнить его никто из нас не должен; для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая закон, которая может явиться людям только в одной полномощной власти. Государство без полномощного монарха — автомат: много-много, если оно достигнет того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвчина; человек в них вывятерился до того, что и выеденного яйца не стоит. Государство без полномощного монарха то же, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все музыканты, но, если нет среди них одного такого, который бы движеньем палочки всему подавал знак, никуды не пойдет концерт. А кажется, он сам ничего не делает, не играет ни на каком инструменте, только слегка помахивает палочкой да поглядывает на всех, и уже один взгляд его достаточен на то, чтобы умягчить, в том и другом месте, какой-нибудь шершавый звук, который испустил бы иной дурак-барабан или неуклюжий тулумбас. При нем и мастерская скрипка не смеет слишком разгуляться на счет других: блудет он общий строй, всего оживитель, «верховодец верховного согласья!» Как метко выражался Пушкин! Как понимал он значение великих истин! Это внутреннее существо<sup>60</sup> — силу самодержавного монарха он даже отчасти выразил в одном своем стихотворении, которое между прочим ты сам напечатал в посмертном собрании его сочинений, выправил даже в нем стих, а смысла не угадал. Тайну его теперь открою. Я говорю об оде императору Николаю, появившейся в печати под скромным именем: «К Н\*\*\*»<sup>61</sup>. Вот ее происхождение. Был вечер в

---

<sup>60</sup> Отрывок от *Это внутреннее существо до личность императора Николая* — в первом издании был исключен цензурой. (Впервые опубликован П. И. Бартеневым в «Русском архиве» за 1866 г.) К словам «уподобить его» была сделана сноска: «В стихотворении, начинающемся:

С Гомером долго ты беседовал один,  
Тебя мы долго ожидали — и проч.».

<sup>61</sup> Гоголь имеет в виду стихотворение А. С. Пушкина «К Н\*\*\*» (1832), опубликованное в томе 9 посмертного Собрания сочинений поэта (1841). Современники считали адресатом стихотворения Н. И. Гнедича. Так, В. Г. Белинский в пятой статье пушкинского цикла упоминает его под заглавием «К Гнедичу» (Отечественные записки. 1844. № 2). В советском литературоведении также утверждалось мнение, что это стихотворение обращено к Н. И. Гнедичу, как к переводчику «Илиады» (историю вопроса см.: Мейлах Б. С. «С Гомером долго ты беседовал один.. // Стихотворения Пушкина 1820 — 1830-х годов. Л., 1974). Однако обращенность данного стихотворения к Гнедичу проблематична. Вопрос требует дальнейшего изучения. Спор по этому поводу был начат С. П. Шевыревым, который писал Гоголю 30 января 1847 г.: «Как мог ты сделать ошибку, нашел в послании Пушкина к Гнедичу совершенно иной смысл, смысл

Аничковом дворце, один из тех вечеров, к которым, как известно, приглашались одни избранные из нашего общества. Между ними был тогда и Пушкин. Все в залах уже собралось; но государь долго не выходил. Отделившись от всех в другую половину дворца и воспользовавшись первой досужей от дел минутой, он развернул «Илиаду» и увлекся нечувствительно ее чтением во все то время, когда в залах давно уже гремела музыка и кипели танцы. Сошел он на бал уже несколько поздно, принеся на лице своем следы иных впечатлений. Сближение этих двух противоположностей скользнуло незамеченным для всех, но в душе Пушкина оно оставило сильное впечатление, и плодом его была следующая величественная ода, которую повторю здесь всю, она же вся в одной строфе:

С Гомером долго ты беседовал один,  
Тебя мы долго ожидали.  
И светел ты сошел с таинственных вершин  
И вынес нам свои скрыжали.  
И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром,  
В безумстве суетного пира,  
Поющих буйну песнь и скачущих кругом  
От нас созданного кумира.  
Смутились мы, твоих чуждаяся лучай,  
В порыве гнева и печали  
Ты проклял нас, бессмысленных детей,  
Разбив листы своей скрыжали.  
Нет, ты не проклял нас. Ты любишь с высоты  
Сходить под тень долины малой,  
Ты любишь гром небес, и также внемлешь ты  
Журчанию пчел над розой алой.

Оставим личность императора Николая и разберем, что такое монарх вообще, как Божий помазанник, обязаный стремить вверенный ему народ к тому свету, в котором обитает Бог, и вправе ли был Пушкин уподобить его древнему боговидцу Моисею? Тот из людей, на рамена

---

неприличный даже? Не знаю, как Плетнев не поправил тебя Послание адресовано к Гнедичу: как же бы Пушкин мог сказать кому другому «ты проклял нас»? (Переписка Н. В. Гоголя. Т. 2. С. 345). С. П. Шевырев цитирует стихи Пушкина по первой публикации. Ни он, ни Гоголь не видели автографа стихотворения, — а в нем указанная строка читается: «Ты проклял ли, пророк, бессмысленных детей...» Аргумент Шевырева, таким образом, оказывается несостоятельным. В ответ Гоголь посыпает ему исключенный цензурой отрывок статьи и в приписке сообщает: «Слух о том, что это стихотворение Гнедичу, распустил я. С моих слов повторили это «*Отечественные записки*» (Миллер О. <1>. Неизданные письма Гоголя // Русская старина. 1875. № 12., С. 661).

которого обрушилась судьба миллионов его собратий, кто страшною ответственностью за них пред Богом освобожден уже от всякой ответственности перед людьми, кто болеет ужасом этой ответственности и льет, может быть, незримо такие слезы и страждет такими страданьями, о которых и помыслить не умеет стоящий внизу человек, кто среди самих развлечений слышит вечный, неумолкаемо раздающийся в ушах клик Божий, неумолкаемо к нему вопиющий, — тот может быть уподоблен древнему боговидцу, может, подобно ему, разбить листы своей скрыжали, проклявши ветreno-кружащееся племя, которое, наместо того чтобы стремиться к тому, к чему все должно стремиться на земле, суетно скачет около своих же, от себя самих созданных кумиров. Но Пушкина остановило еще высшее значение той же власти, которую вымолило у небес немощное бессилие человечества, вымолило ее криком не о правосудии небесном, перед которым не устоял бы ни один человек на земле, но криком о небесной любви Божией, которая бы все умела простить нам — и забвенье долга нашего, и самый ропот наш, — все, что не прощает на земле человек, чтобы один затем только собрал свою власть в себя самого и отделился бы от всех нас и стал выше всего на земле, чтобы чрез то стать ближе равно ко всем, снисходить с вышины ко всему и внимать всему, начиная от грома небес и лиры поэта до незаметных увеселений наших.

Кажется, как бы в этом стихотворении Пушкин, задавши вопрос себе самому, что такое эта власть, сам же упал во прах перед величием возникнувшего в душе его ответа. Не мешает заметить, что это был тот поэт, который был слишком горд и независимостию своих мнений, и своим личным достоинством. Никто не сказал так о себе, как он:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,  
К нему не зарастет народная тропа:  
Вознесся выше он главою непокорной  
Наполеонова столпа.

Хотя в Наполеоновом столпе виноват, конечно, ты<sup>62</sup>; но положим, если бы даже стих остался в своем прежнем виде, он все-таки послужил бы доказательством, и даже еще большим, как Пушкин, чувствуя свое личное преимущество, как человека, перед многими из венценосцев, слышал в то же время всю малость званья своего перед званием венценосца и умел благоговейно поклониться пред теми из них, которые показали миру величество своего званья.

<sup>62</sup> При первой публикации стихотворения А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» в томе 9 посмертного собрания сочинений поэта — в нем были сделаны (очевидно, В. А. Жуковским) исправления, в частности, выражения «Александрийского столпа» на «Наполеонова столпа».

---

<sup>63</sup> В первоначальной редакции вместо этих слов было: «Полномощная власть монарха не только не упадет, но возрастет выше по мере того, как возрастет выше образование всего человечества. Чем более всякое звание и должность станут входить в свои законные пределы и отношения между собою всех станут определяться точней, тем более окажется потребность верховодящей силы, которая, собравши в себе всю силу отдельных единиц, показала бы в себе доблести высшие, приближающие человека прямо к Богу, — те верховные собирательные качества и свойства, которых не могут иметь отдельные единицы. Полюбить весь миллион как одного человека трудней, чем полюбить немногих из этого миллиона; восскорбеть болезнями всех людей в такой силе, как болезнью наиближайшего друга, и мыслить о спасеньи всех до единого как бы о спасеньи своей собственной семьи, может вполне только тот, которому это постановлено в непременный закон и который слышит, что за неисполненье его он подвергнется такому же страшному ответу пред Богом, как и всякая отдельная единица за неисполненье своего долга на своем отдельном поприще. Не будь этой верховодящей силы, обнищает дух человечества. Полномощная власть государя потому теперь оспоривается в Европе что ни государям, ни подданным не объяснилось ее полное значение. Власть государя явление бессмысленное, если он не почивает, что должен быть образом Божиим на земле. При всем желанье блага он спутается в своих действиях, особенно при нынешнем порядке вещей в Европе; но, как только почивает он, что должен показать в себе людям образ Бога, все станет ему ясно и его отношения к подданным вдруг объяснятся. В образцы себе он уже не изберет ни Наполеона, ни Фридриха, ни Петра, ни Екатерину, ни Людовиков и ни одного из тех государей, которым придает мир название Великого и которым определено было, вследствие обстоятельств и времени, сверх должности государя сыграть роль полководца, преобразователя, нововводителя, словом, показать с блеском одну какую-нибудь в себе сторону, вводящую в такие заблуждения подражателей и так соблазняющую многих государей. Но возьмет в образец своих действий действия Самого Бога, которые так слышны в истории всего человечества и которые еще видней в истории того народа, который отдал Бог затем именно, чтобы царствовать в нем Самому и показать царям, как царствовать. И как Он небесно царствовал! Как умел возлюбить Свой народ пуще всех других народов! С какой любовью Отца учил его и с каким долготерпением небесным ждал исправленья его! Как неохотно подымал карающий бич Свой! Как даже и тогда, когда вопли нечестия и грехов достигали самих небес, не спешил наказанием, но умел сказать: «Дай сойду Сам на землю и рассмотрю, точно ли так велика неправда!» И Кто же это говорит? Всезнающий и Всепровидящий, напоминающий об осмотрительности земным царям! Как и самые казни насыпал Он не затем, чтобы уничтожить человека, которого не трудно уничтожить, но затем, чтобы спасти его, потому что трудно спасти человека, чтобы средством потрясающим разбудить его бесчувственную природу и, показавши ему весь ужас того, к чему он в неведеньи стремится, напомнить, что есть еще время спастись ему! Как, зная неподкупность ничем не одолимой правды Своей, употреблял Он все для того,

он неминуемо должен наконец сделаться весь одна любовь, и таким образом станет видно всем, почему государь есть образ Божий, как это признает, покуда чутьем, вся земля наша. Значенье государя в Европе неминуемо приблизится к тому же выражению. Все к тому ведет, чтобы вызвать в государях высшую, Божескую любовь к народам. Уже раздаются вопли страданий душевных всего человечества, которыми заболел почти каждый из нынешних европейских народов, и мечется, бедный, не зная сам, как и чем себе помочь: всякое постороннее прикосновение жестоко разболевшимся его ранам; всякое средство, всякая помощь, придуманная умом, ему груба и не приносит целения. Эти крики усилиятся наконец до того, что разорвется от жалости и бесчувственное сердце, и сила еще доселе небывалого сострадания вызовет силу другой, еще доселе небывалой любви. Загорится человек любовью ко всему человечеству, такою, какою никогда еще не загорался. Из нас, людей частных, возьметь такую любовь во всей силе никто не возможет; она останется в идеях и в мыслях, а не в деле; могут проникнуться ею вполне одни только те, которым уже постановлено в непременный закон полюбить всех, как одного человека. Всё полюбивши в своем государстве, до единого человека всякого сословья и званья, и обративши все, что ни есть в нем, как бы в собственное тело свое,

---

чтобы не подпал под нее бессильный и немощный человек: засыпал от Себя пророков, которые, исполнившись любви к своим братьям и нашедши язык им доступный, образумили бы их; и наконец, видя, что все уже тщетно, и ничто не в силах образумить их, и нет средств укрыть людей от Его неотразимой правды, Сам решится Самого Себя принести в жертву за всех, чтобы ценой такой жертвы победить и самую правду Свою, показав людям, что такая любовь есть уже выше всего, что ни есть, и сама по себе есть уже верховнейшее правосудие небесное! Все сказал Бог, как нужно действовать в отношении к людям тому, кто захочет показать им Его образ в себе. А чтобы показать в то же время царю, как он должен действовать относительно Его Самого, Творца всех видимых и невидимых, Он оставил им образцы в помазанных им же царях Давиде и Соломоне, которые пребывали всем существом своим в Боге, как бы в собственном дому своем, и которые в царской власти своей показали мудрое соприкосновение двух властей — и духовной и светской, в таком виде, что не только одна из них не мешает другой, но еще взаимно одна другую утверждает и возвышает. Так в книге Божьей содержится полное и совершенное определение монарха, этого отделенного от нас существа, которому достался такой трудный жребий на земле: исполнив прежде все, что должен исполнить всякой человек, уподобясь Христу в малейших действиях своей частной жизни, уподобиться сверх того еще Богу-Отцу в верховных действиях, относительно всех людей. В этой книге полное определение монарха, а не где-либо в ином месте. Оно еще не приходило в ум европейским правоведам, но у нас его уже слышали поэты, оттого и звуки их становились библейскими».

возболев духом о всех, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о страждущем народе своем, государь приобретет тот всемогущий голос любви, который один только может быть доступен разболевшемуся человечеству и которого прикосновенье будет не жестко его ранам, который один может только внести примиренье во все сословия и обратить в стройный оркестр государство. Там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх высшее значение свое — быть образом Того на земле, Который Сам есть любовь. В Европе не приходило никому в ум определять высшее значение монарха. Государственные люди, законоискусники и правоведцы смотрели на одну его сторону, именно, как на высшего чиновника в государстве, поставленного от людей, а потому не знают даже, как быть с этой властью, как ей указать надлежащие границы, когда, вследствие ежедневно изменяющихся обстоятельств, бывает нужно то расширить ее пределы, то ограничить ее. А через это и государь и народ поставлены между собой в странное положение: они глядят друг на друга чуть не таким же точно образом, как на противников, желающих воспользоваться властью один на счет другого. Высшее значение монарха прозрели у нас поэты, а не законоведцы, услышали с трепетом волю Бога создать ее в России в ее законном виде; оттого и звуки их становятся библейскими всякий раз, как только излетает из уст их слово царь. Его слышат у нас и не поэты, потому что страницы нашей истории слишком явно говорят о воле Промысла: да образуется в России эта власть в ее полном и совершенном виде. Все события в нашем отечестве, начиная от порабощенья татарского, видимо, клоются к тому, чтобы собрать могущество в руки одного, дабы один был в силах произвестить этот знаменитый переворот всего в государстве<sup>64</sup>, все потрясти и, всех разбудивши, вооружить каждого из нас тем высшим взглядом на самого себя, без которого невозможно человеку разобрать, осудить самого себя и воздвигнуть в себе самом ту же брань всему невежественному и темному, какую воздвигнул царь в своем государстве; чтобы потом, когда загорится уже каждый этого святою бранью и все придет в сознанье сил своих, мог бы также один, всех впереди, с светильником в руке, устремить, как одну душу, весь народ свой к тому верховному свету, к которому просится Россия. Смотри также, каким чудным средством, еще прежде, нежели могло объясниться полное значение этой власти как самому государю, так и его подданным, уже брошены были семена взаимной любви в сердца! Ни один царский дом не начинался так необыкновенно, как начался дом Романовых<sup>65</sup>. Его начало было уже подвиг любви.

---

<sup>64</sup> Подразумевается Петр I.

<sup>65</sup> Первый русский царь из династии Романовых — Михаил Феодорович (1596 —

Последний и низший подданный в государстве<sup>66</sup> принес и положил свою жизнь для того, чтобы дать нам царя, и сею чистою жертвою связал уже неразрывно государя с подданным. Любовь вошла в нашу кровь, и завязалось у нас всех кровное родство с царем. И так слился и стал одно-едино с подвластным повелитель, что нам всем теперь видится всеобщая беда — государь ли позабудет своего подданного и отрешится от него или подданный позабудет своего государя и от него отрешится. Как явно тоже оказывается воля Бога — избрать для этого фамилию Романовых, а не другую! Как непостижимо это возведенье на престол никому не известного отрока! Тут же рядом стояли древнейшие родом, и притом мужи доблести, которые только что спасли свое отчество: Пожарский, Трубецкой, наконец князья, по прямой линии происходившие от Рюрика. Всех их мимо произошло избрание, и ни одного голоса не было против: никто не посмел предъявлять прав своих. И случилось это в то смутное время, когда всякий мог вздорить, и оспоривать, и набирать шайки приверженцев! И кого же выбрали? Того, кто приходился по женской линии родственником царю, от которого недавний ужас ходил по всей земле<sup>67</sup>, так что не только им притесняемые и казнимые бояре, но даже и самый народ, который почти ничего не потерпел от него, долго повторял поговорку: «Добро была голова, да слава Богу, что земля прибрала». И при всем том все единогласно, от бояр до последнего бобыля, положило, чтоб он был на престоле. Вот какие у нас делаются дела! Как же ты хочешь, чтобы лиризм наших поэтов, которые слышали полное определение царя в книгах Ветхого Завета и которые в то же время так близко видели волю Бога на всех событиях в нашем отечестве, — как же ты хочешь, чтобы лиризм наших поэтов не был исполнен библейских отголосков? Повторяю, простой любви не стало бы на то, чтобы облечь такою суровою трезвостью их звуки: для этого потребно полное и твердое убеждение разума, а не одно безотчетное чувство любви, иначе звуки их вышли бы мягкими, как у тебя в прежних твоих молодых сочинениях, когда ты предавался чувству одной только любящей души своей. Нет, есть что-то крепкое, слишком крепкое у наших поэтов, чего нет у поэтов других наций. Если тебе этого не видится, то еще не

---

1645), сын Ф. И. Романова (позднее патриарха Филарета), двоюродный племянник царя Феодора Иоанновича, был избран всенародно на Земском Соборе 21 февраля 1613 г. В числе других претендентов на престол были упоминаемые далее Гоголем князь Димитрий Михайлович Пожарский: (1578 — 1642) и князь Димитрий Тимофеевич Трубецкой (умер в 1625 г.).

<sup>66</sup> Здесь говорится об Иване Сусанине, крестьянине из костромского села Молвитино, который зимой 1613 г. спас царя тем, что завел отряд поляков в непроходимые места.

<sup>67</sup> Подразумевается Иоанн Грозный.

доказывает, чтобы его вовсе не было. Вспомни сам, что в тебе не все стороны русской природы; напротив, некоторые из них взошли в тебе на такую высокую степень и так развивались просторно, что через это не дали места другим, и ты уже стал исключением из общерусских характеров. В тебе заключились вполне все мягкие и нежные струны нашей славянской природы; но те густые и крепкие ее струны, от которых проходит тайный ужас и содроганье по всему составу человека, тебе не так известны. А они-то и есть родники того лиризма, о котором идет речь. Этот лиризм уже ни к чему не может возноситься, как только к одному верховному источнику своему — Богу. Он суров, он пуглив, он не любит многословия, ему приторно все, что ни есть на земле, если только он не видит на нем напечатления Божьего. В ком хотя одна крупица этого лиризма, тот, несмотря на все несовершенства и недостатки, заключает в себе суровое, высшее благородство душевное, перед которым дрожит сам и которое заставляет его бежать от всего, похожего на выраженье признательности со стороны людской. Собственный лучший подвиг ему вдруг опровергается, если за него последует ему какая-нибудь награда: он слишком чувствует, что все высшее должно быть выше награды. Только по смерти Пушкина обнаружились его истинные отношения к государю<sup>68</sup> и тайны двух его лучших сочинений<sup>69</sup>. Никому не говорил он при жизни о чувствах, его наполнявших, и поступил умно. После того как вследствие всякого рода холодных газетных возгласов, писанных слогом помадных объявлений, и

<sup>68</sup> По-видимому, Гоголь имеет в виду прежде всего письмо В. А. Жуковского к С. Л. Пушкину (отцу поэта) от 15 февраля 1837 г., где говорится о последних днях жизни Пушкина и, в частности, приводятся его предсмертные слова о государе: «Скажи, что мне жаль умереть; был бы весь его» (Жуковский В. А. Сочинения в стихах и прозе. 10-е изд. Спб., 1901. С. 907).

<sup>69</sup> Гоголь, вероятно, имеет в виду стихотворения А. С. Пушкина «К Н\*\*\*» («С Гомером долго ты беседовал один...») и «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю...»). О первом из них см. comment. к с. 80. История создания второго следующая. После опубликования в 1826 г. «Стансов» («В надежде славы и добра...»), обращенных к императору Николаю I, Пушкина обвинили в заискивании перед царем. С. П. Шевырев, вспоминая о пребывании поэта в Москве в 1826 — 1827 гг., писал: «Москва неблагородно поступила с ним: после неумеренных похвал, лестных приемов охладели к нему, начали даже клеветать на него, возводить на него обвинения в ласкательстве и наушничестве и шпионстве перед государем» (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 50). В ответ на подобные обвинения Пушкин написал «Друзьям» (1828) и представил стихотворение царю, как своему личному цензору. Тот остался доволен им, но не разрешил печатать. Впервые оно было опубликовано в седьмом томе сочинений Пушкина под редакцией П. В. Анненкова (1857)

всяких сердитых, неопрятно-запальчивых выходок, производимых всякими квасными и неквасными патриотами, перестали верить у нас на Руси искренности всех печатных излияний, — Пушкину было опасно выходить: его бы как раз назвали подкупным или чего-то ищущим человеком. Но теперь, когда явились только после его смерти эти сочинения, верно, не отыщется во всей России такого человека, который посмел бы назвать Пушкина льстецом или угодником кому бы то ни было. Чрез то святыня высокого чувства сохранена. И теперь всяк, кто даже и не в силах постигнуть дело собственным умом, примет его на веру, сказавши: «Если сам Пушкин думал так, то уж, верно, это сущая истина». Царственные гимны наших поэтов изумляли самих чужеземцев своим величественным складом и слогом. Еще недавно Мицкевич сказал об этом на лекциях Парижу<sup>70</sup>, и сказал в такое время, когда и сам он был раздражен противу нас, и всё в Париже на нас негодовало. Несмотря, однако ж, на то, он объявил торжественно, что в одах и гимнах наших поэтов ничего нет рабского или низкого, но, напротив, что-то свободно-величественное: и тут же, хотя это не понравилось никому из земляков его, отдал честь благородству характеров наших писателей. Мицкевич прав. Наши писатели, точно, заключили в себя черты какой-то высшей природы. В минуты сознанія своего они сами оставили свои душевные портреты, которые отзывались бы самохвальством, если бы их жизнь не была тому подкрепленьем. Вот что говорит о себе Пушкин, помышляя о будущей судьбе своей:

И долго буду тем народу я любезен,<sup>71</sup>  
Что чувства добрые я лирой пробуждал,  
Что прелестью живой стихов я был полезен  
И миłość k падшим призывал.

Стоит только вспомнить Пушкина, чтобы видеть, как верен этот портрет. Как он весь оживлялся и вспыхивал, когда шло дело к тому, чтобы облегчить участъя какого-либо изгнаниниа или подать руку падшему! Как выжидал он первой минуты царского благоволения к нему, чтобы заикнуться не о себе, а о другом несчастном, упадшем! Черта

<sup>70</sup> Польский поэт Адам Мицкевич (1798 — 1855) в 1840 — 1844 гг. занимал кафедру славянских литератур в Коллеж де Франс и прочел здесь четыре курса лекций о польской и русской культурах. В них он с большим уважением отзывался о русских писателях. Среди откликов на эти лекции было стихотворение Ф. И. Тютчева «От русского, по прочтению отрывков из лекций г-на Мицкевича» (см. об этом: Лит. наследство. Федор Иванович Тютчев. Кн. 1. М., 1988. С. 173 — 175). Гоголь встречался с Мицкевичем неоднократно, в том числе летом 1843 г. в Карлсруэ.

<sup>71</sup> Гоголь Цитирует стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» по первой публикации.

истинно русская. Вспомни только то умилительное зрелище, какое представляет посещение всем народом ссыльных, отправляющихся в Сибирь, когда всякий несет от себя — кто пищу, кто деньги, кто христиански-утешительное слово. Ненависти нет к преступнику, нет также и донкишотского порыва сделать из него героя, собирать его факсимилии, портреты, или смотреть на него из любопытства, как делается в просвещенной Европе. Здесь что-то более: не желанье оправдать его или вырвать из рук правосудия, но воздвигнуть упавший дух его, утешить, как брат утешает брата, как повелел Христос нам утешать друг друга. Пушкин слишком высоко ценил всякое стремление воздвигнуть падшего. Вот отчего так гордо затрепетало его сердце, когда услышал он о приезде государя в Москву во время ужасов холеры<sup>72</sup>, — черта, которую едва ли показал кто-нибудь из венценосцев и которая вызвала у него сии замечательные стихи:

### Небесами<sup>73</sup>

Клянусь: кто жизнию своей  
Играл пред сумрачным недугом,  
Чтоб ободрить угасший взор,—  
Клянусь, тот будет Небу другом,  
Какой бы ни был приговор Земли слепой.

Он умел также оценить и другую черту в жизни другого венценосца, Петра. Вспомни стихотворенье «Пир на Неве»<sup>74</sup>, в котором он с изумлением спрашивает о причине необыкновенного торжества в царском доме, раздающегося кликами по всему Петербургу и по Неве, потрясенной пальбою пушек. Он перебирает все случаи, радостные царю, которые могли быть причиной такого пирования: родился ли государю наследник его престола, именинница ль жена его, побежден ли непобедимый враг, прибыл ли флот, составлявший любимую страсть государя, и на все это отвечает:

Нет, он с подданным мирится,  
Виноватому вину  
Забывая, веселится,  
Чарку пенит с ним одну.  
Оттого-то пир веселый,  
Речь гостей хмельна, шумна,  
И Нева пальбой тяжелой

<sup>72</sup> 29 сентября 1830 г.

<sup>73</sup> Из стихотворения А. С. Пушкина «Герой» (1830; впервые опубликовано М. П. Погодиным в 1831 г. без имени автора, впоследствии перепечатано и 9-м т. посмертного издания сочинений Пушкина).

<sup>74</sup> Речь идет о стихотворении А. С. Пушкина «Пир Петра Первого» (1835).

Далеко потрясена.

Только один Пушкин мог почувствовать всю красоту такого поступка. Уметь не только простить своему подданныму, но еще торжествовать это прощение, как победу над врагом, — это истинно Божеская черта. Только на небесах умеют поступать так. Там только радуются обращению грешника еще более, чем самому праведнику, и все сонмы невидимых сил участвуют в небесном пиршестве Бога. Пушкин был знаток и оценщик верный всего великого в человеке. Да и как могло быть иначе, если духовное благородство есть уже свойственность почти всех наших писателей? Замечательно, что во всех других землях писатель находится в каком-то неуважении от общества, относительно своего личного характера. У нас напротив. У нас даже и тот, кто просто кропатель, а не писатель, и не только не красавец душой, но даже временами и вовсе подленек, во глубине России отнюдь не почитается таким. Напротив, у всех вообще, даже и у тех, которые едва слышат о писателях, живет уже какое-то убеждение, что писатель есть что-то высшее, что он непременно должен быть благороден, что ему многое неприлично, что он не должен и позволить себе того, что прощается другим. В одной из наших губерний, во время дворянских выборов, один дворянин, который с тем вместе был и литератор, подал было свой голос в пользу человека, совести несколько запятнанной, — все дворяне обратились к нему тут же и его попрекнули, сказавши с укоризной:

«А еще и писатель!»

1846

## XI

### СПОРЫ

(Из письма к Л\*\*\*)<sup>75</sup>

Споры о наших европейских и славянских началах, которые, как ты говоришь, пробираются уже в гостиные, показывают только то, что мы начинаем просыпаться, но еще не вполне проснулись; а потому не мудрено, что с обеих сторон наговаривается весьма много дичи. Все эти славянисты и европисты, или же староверы и нововеры, или же восточники и западники, а что они в самом деле, не умею сказать, потому

<sup>75</sup> Адресат письма не установлен.

что покамест они мне кажутся только карикатуры на то, чем хотят быть, — все они говорят о двух разных сторонах одного и того же предмета, никак не догадываясь, что ничуть не спорят и не перечат друг другу. Один подошел слишком близко к строению, так что видит одну часть его; другой отошел от него слишком далеко, так что видит весь фасад, но по частям не видит. Разумеется, правды больше на стороне славянистов и восточников, потому что они все-таки видят весь фасад и, стало быть, все-таки говорят о главном, а не о частях. Но и на стороне европистов и западников тоже есть правда, потому что они говорят довольно подробно и отчетливо о той стене, которая стоит перед их глазами; вина их в том только, что из-за карниза, венчающего эту стену, не видится им верхушка всего строения, то есть главы, купола и все, что ни есть в вышине. Можно бы посоветовать обоим — одному попробовать, хотя на время, подойти ближе, а другому отступиться немного подалее. Но на это они не согласятся, потому что дух гордости обуял обоими. Всякий из них уверен, что он окончательно и положительно прав, и что другой окончательно и положительно лжет. Кичливости больше на стороне славянистов: они хвастуны; из них каждый воображает о себе, что он открыл Америку, и найденное им зернышко раздувает в репу. Разумеется, что таким строптивым хвастовством вооружают они еще более противу себя европистов, которые давно бы готовы были от многого отступиться, потому что и сами начинают слышать многое, прежде не слышанное, но упорствуют, не желая уступить слишком раскозырявшемуся человеку. Все эти споры<sup>76</sup> еще ничего, если бы только они оставались в гостиных да в журналах. Но дурно то, что два противоположные мнения, находясь в таком еще незрелом и неопределенном виде, переходят уже в головы многих должностных людей. Мне сказывали, что случается (особенно в тех местах, где должность и власть разделена в руках двух) таким образом, что в одно и то же время один действует совершенно в европейском духе, а другой старается подвизаться решительно в древнерусском, укрепляя все прежние порядки, противоположные тем, которые замышляет собрат его. И оттого, как делам, так и самим подчиненным чиновникам приходит беда: они не знают, кого слушаться. А так как оба мнения, несмотря на всю свою резкость, окончательно всем не определились, то, говорят, этим пользуются всякого рода пройдохи. И плуту оказалась теперь возможность, под маскою славяниста или европиста, смотря по тому, чего хочется начальнику, получить выгодное место и производить на нем плутни в качестве как поборника старины, так и поборника новизны.

---

<sup>76</sup> Отрывок *Все эти споры до поборника новизны* в первом издании был исключен цензурой.

Вообще споры суть вещи такого рода, к которым люди умные и пожилые покамест не должны приставать. Пусть прежде выкричится хорошенько молодежь: это ее дело. Поверь, уже так заведено и нужно, чтобы передовые крикуны вдоволь выкричались затем именно, дабы умные могли в это время надуматься вдоволь. К спорам прислушивайся, но в них не вмешивайся. Мысль твоего сочинения, которым хочешь заняться, очень умна, и я даже уверен, что исполнишь это дело лучше всякого литератора. Но об одном тебя прошу: производи его в минуты, сколько возможно, хладнокровные и спокойные. Храни тебя Бог от запальчивости и горячки, хотя бы даже в малейшем выражении. Гнев везде неуместен, а больше всего в деле правом, потому что затемняет и мутит его. Вспомни, что ты человек не только немолодой, но даже и весьма в летах. Молодому человеку еще как-нибудь пристал гнев; по крайней мере, в глазах некоторых он придает ему какую-то картинную наружность. Но если старик начнет горячиться, он делается просто гадок; молодежь как раз подымет его на зубки и выставит смешным. Смотри же, чтоб не сказали о тебе:

«Эк, скверный старикашка! всю жизнь валялся на боку, ничего не делая, а теперь выступил укорять других, зачем они не так делают!» Из уст старика должно исходить слово благостное, а не шумное и спорное. Дух чистейшего незлобия и кротости должен проникать величавые речи старца, так, чтобы молодежь ничего не нашлась сказать ему в возраженье, почувствовав, что неприличны будут ее речи и что седина есть уже святыния.

## ХРИСТИАНИН ИДЕТ ВПЕРЕД

(Письмо к Щ....ву)<sup>77</sup>

Друг мой! считай себя не иначе, как школьником и учеником. Не думай, чтобы ты уже был стар для того, чтобы учиться, что силы твои достигнули настоящей зрелости и развития и что характер и душа твоя получили уже настоящую форму и не могут быть лучшими. Для христианина нет оконченного курса; он вечно ученик и до самого гроба ученик. По обыкновенному, естественному ходу человек достигает полного развития ума своего в тридцать лет. От тридцати до сорока еще кое-как идут вперед его силы; дальше же этого срока в нем ничто не подвигается, и все им производимое не только не лучше прежнего, но

<sup>77</sup> Данное письмо адресовано, по всей видимости, Степану Петровичу Шевыреву (1806 — 1864), поэту, критику, историку литературы, одному из ближайших друзей Гоголя. Ф. В. Чижов в третьем томе Полного собрания сочинений Н. В. Гоголя (М., 1867) утверждает, что под обозначением «Щ....ву» следует понимать «Шевыреву».

И по смыслу, и по последовательности изложения идей настоящее письмо совпадает с отрывком из первой главы второго тома «Мертвых душ», где Гоголь представляет педагогическую концепцию Александра Петровича — первого наставника Тентетникова. Вначале и в том и в другом тексте речь идет о воздействии на бессознательную сторону человека, а именно о возбуждении «честолюбия». Затем следуют размышления об интеллектуальных ступенях восхождения, причем «уму» и «разуму» письма соответствуют в поэме «простой ум» и «ум высший» — «с которым побеждает человек свои страсти», по выражению Александра Петровича. Недостает лишь у первого учителя Тентетникова самого главного — стремления направить своих воспитанников к овладению «мудростью» — третьей ступенью восхождения, обозначенной в настоящем письме, — а это препятствует видеть в нем, вопреки традиционным представлениям, «идеального» героя.

2 марта н. ст. 1843 г. Гоголь, прочитав опубликованную в «Журнале министерства народного просвещения» статью С. П. Шевырева «Об отношении семейного воспитания к государственному», писал ему: «Ты <...> и не подозреваешь, что в этой статье твоей есть много, много того, к чему стремятся мои мысли, но когда выйдет продолжение «Мертвых душ», тогда ты узнаешь истину и значение слов этих, и ты увидишь, как мы сошлись, никогда не говоря и не рассуждая друг с другом».

Таким образом, подтверждается свидетельство Ф. В. Чижова о том, что настоящая статья адресована С. П. Шевыреву.

даже слабее и холодней прежнего. Но для христианина этого не существует, и где для других предел совершенства, там для него оно только начинается. Самые способные и самые даровитые из людей, перевалясь за сорокалетний возраст, тупеют, устают и слабеют. Перебери всех философов и первейших всесветных гениев: лучшая пора их была только во время их полного мужества; потом они уже понемногу выживали из своего ума, а в старости впадали даже в младенчество. Вспомни о Канте, который в последние годы обеспамятел вовсе и умер, как ребенок<sup>78</sup>. Но пересмотри жизнь всех святых: ты увидишь, что они крепли в разуме и силах духовных по мере того, как приближались к дряхлости и смерти. Даже и те из них, которые от природы не получили никаких блестящих даров и считались всю жизнь простыми и глупыми, изумляли потом разумом речей своих. Отчего ж это? Оттого, что у них пребывала всегда та стремящая сила, которая обыкновенно бывает у всякого человека только в лета его юности, когда он видит перед собой подвиги, за которые наградой всеобщее рукоплесканье, когда ему мерещится радужная даль, имеющая такую заманку для юноши. Угаснула пред ним даль и подвиги — угаснула и сила стремящая. Но перед христианином сияет вечно даль, и видятся вечные подвиги. Он, как юноша, алчет жизненной битвы; ему есть с чем воевать и где подвизаться, потому что взгляд его на самого себя, беспрестанно просветляющийся, открывает ему новые недостатки в себе самом, с которыми нужно производить новые битвы. Оттого и все его силы не только не могут в нем заснуть или ослабеть, но еще возбуждаются беспрестанно; а желанье быть лучшим и заслужить рукоплесканье на небесах придает ему такие шпоры, каких не может дать наисильнейшему честолюбцу его ненасытимейшее честолюбие. Вот причина, почему христианин тогда идет вперед, когда другие назад, и отчего становится он, чем дальше, умнее.

Ум не есть высшая в нас способность. Его должность не больше, как полицейская: он может только привести в порядок и расставить по местам все то, что у нас уже есть. Он сам недвигается вперед, покуда не двигнутся в нас все другие способности, от которых он умнеет. Отвлечеными чтениями, размышлениями и беспрестанными слушаниями всех курсов наук его заставишь только слишком немного уйти вперед; иногда это даже подавляет его, мешая его самобытному развитию. Он несравненно в большей зависимости находится от душевых состояний: как только забушует страсть, он уже вдруг поступает слепо и глупо; если же покойна душа и не кипит никакая

---

<sup>78</sup> Немецкий философ Иммануил Кант (1724 — 1804) умер в состоянии старческого слабоумия.

страсть, он и сам проясняется и поступает умно. Разум есть несравненно высшая способность, но она приобретается не иначе, как победой над страстью. Его имели в себе только те люди, которые не пренебрегли своим внутренним воспитанием. Но и разум не дает полной возможности человеку стремиться вперед. Есть высшая еще способность; имя ей — мудрость, и ее может дать нам один Христос. Она не наделяется никому из нас при рождении, никому из нас не есть природная, но есть дело высшей благодати небесной. Тот, кто уже имеет и ум и разум, может не иначе получить мудрость, как молясь о ней и день и ночь, прося и день и ночь ее у Бога, возводя душу свою до голубиного незлобия и убирая все внутри себя до возможнейшей чистоты, чтобы принять эту небесную гостью, которая пугается жилищ, где не пришло в порядок душевное хозяйство и нет полного согласия во всем. Если же она вступит в дом, тогда начинается для человека небесная жизнь, и он постигает всю чудную сладость быть учеником. Все становится для него учителем; весь мир для него учитель: ничтожнейший из людей может быть для него учитель. Из совета самого простого извлечет он мудрость совета; глупейший предмет станет к нему своей мудрой стороной, и вся вселенная перед ним станет, как одна открытая книга ученья: больше всех будет он черпать из нее сокровищ, потому что больше всех будет слышать, что он ученик. Но если только возмнит он хотя на миг, что ученье его кончено, и он уже не ученик, и оскорбится он чьим бы то ни было уроком или поученьем, мудрость вдруг от него отнимется, и останется он впопыхах, как царь Соломон в свои последние дни.

1846

## XIII

### КАРАМЗИН

(Из письма к Н. М. Я.... ву)<sup>79</sup>

Я прочел с большим удовольствием похвальное слово Карамзину, написанное Погодиным<sup>80</sup>. Это лучшее из сочинений Погодина в

<sup>79</sup> Письмо обращено к Н. М. Языкову. В основе его лежит письмо Гоголя от 5 мая н. ст. 1846 г. Единственное существенное дополнение к нему — слова о талантах (см. comment. к с. 96).

<sup>80</sup> «Историческое похвальное слово Карамзину, произнесенное, при открытии ему памятника в Симбирске, августа 23, 1845 года, в собрании симбирского

отношении к благопристойности как внутренней, так и внешней: в нем нет его обычных грубо-неуклюжих замашек и топорного неряшства слога, так много ему вредящего. Все здесь, напротив того, стройно, обдумано и расположено в большом порядке. Все места из Карамзина приbraneы так умно, что Карамзин как бы весь очертывается самим собою и, своими же словами взвесив и оценив самого себя, становится как живой перед глазами читателя. Карамзин представляет, точно, явление необыкновенное. Вот о ком из наших писателей можно сказать, что он весь исполнил долг, ничего не зарыл в землю и на данные ему пять талантов истинно принес другие пять<sup>81</sup>. Карамзин первый показал, что писатель может быть у нас независим и почтен всеми равно, как именитейший гражданин в государстве. Он первый возвестил торжественно, что писателя не может стеснить цензура<sup>82</sup>, и если уже он исполнился чистейшим желанием блага в такой мере, что желанье это, занявши всю его душу, стало его плотью и пищей, тогда никакая цензура для него не строга, и ему везде просторно. Он это сказал и доказал. Никто, кроме Карамзина, не говорил так смело и благородно, не скрывая никаких своих мнений и мыслей, хотя они и не соответствовали во всем тогдашнему правительству, и слышишь невольно, что он один имел на то право. Какой урок нашему брату писателю! И как смешны после этого из нас те, которые утверждают, что в России нельзя сказать полной правды<sup>83</sup> и что она у нас колет глаза! Сам же выразится так нелепо и грубо, что более, нежели самой правдой, уколет теми заносчивыми словами, которыми скажет свою правду, словами запальчивыми, выказывающими неряшество растрепанной души своей, и потом сам же изумляется и негодует, что от него никто не принял и не выслушал правды! Нет. Имей такую чистую, такую благоустроенную душу, какую имел Карамзин, и тогда возвещай свою правду: все тебя выслушает, начиная от царя до последнего нищего в государстве. И выслушает с такою любовью, с какой не выслушивается ни в какой земле ни парламентский защитник

---

дворянства, академиком М. Погодиным» (М., 1845).

<sup>81</sup> Гоголь напоминает здесь притчу Спасителя о талантах (Евангелие от Матфея, гл. 25, ст. 14-30).

<sup>82</sup> Вероятно, отзыв разговоров Гоголя с В. А. Жуковским, который был в молодости учеником Н. М. Карамзина.

<sup>83</sup> Это место письма вызвало возражение С. П. Шевырева, который писал Гоголю 30 января 1847 г.: «Странно еще говоришь ты, что в наше время можно сказать вслух всякую правду, и в доказательство приводишь Карамзина, которого «Записка о древней Руси» до сих пор не напечатана...» (Переписка Н. В. Гоголя. Т. 2. С. 345). Следует, однако, иметь в виду, что сочинение «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» Н. М. Карамзин для печати не предназначал.

прав, ни лучший нынешний проповедник, собирающий вокруг себя верхушку модного общества, и с какой любовью может выслушать только одна чудная наша Россия, о которой идет слух, будто она вовсе не любит правды.

1846

## О ТЕАТРЕ, ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ВЗГЛЯДЕ НА ТЕАТР И ВООБЩЕ ОБ ОДНОСТОРОННОСТИ

(Письмо к гр. А. П. Т.....му)<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Адресовано А. П. Толстому.

Древняя христианская Церковь в лице святых отцов и соборов никогда не признавала благотворного нравственного влияния сценических представлений на общество и всегда считала этот вид искусства развлечением предосудительным и недостойным христианина. Отцы и учителя Церкви, каковы Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, обличали христиан, которые посещали зрелища, и угрожали им отлучением от Церкви. В XIX в. Православная Церковь относилась к театру не так строго в отношении мирян, но безусловно воспрещала посещение его лицам духовного звания. Не скрывали своего несочувствия к театру такие авторитетные представители Русской Православной Церкви, как митрополит Московский Филарет и святитель Феофан, Затворник Вышинский, а позднее — святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Гоголь на собственном опыте убедился в ничтожно малом нравственном воздействии сценического искусства на общество. Еще в декабре 1842 г. он писал М. С. Щепкину: «Я не могу и не буду писать ничего для театра».

Настоящая статья вызвала резкое возражение ржевского священника Матвея Константиновского, которому Гоголь послал книгу по рекомендации графа А. П. Толстого. «Статью о театре я писал не с тем, чтобы приохотить общество к театру, — отвечал Гоголь 9 мая н. ст. 1846 г. отцу Матвею, — а с тем, чтобы отвадить его от развратной стороны театра <...> нельзя отнять совершенно от общества увеселений их, но надобно так распорядиться с ними, чтобы у человека возрождалось само собою желание после увеселения идти к Богу <...> Вот была основная мысль моей статьи...» И далее Гоголь объясняет причины появления данной главы: «Письмо о театре я писал, имея в виду публику, пристрастившуюся к балетам и операм, пожирающим ныне страшные суммы денег и в то же самое время имел в виду издателя журнала «Маяк», С. А. Бурачка, который, судя по статьям его, должен быть истинно почтенный и верующий человек, но который, однако ж, слишком горячо и без разбора напал на всех наших писателей, утверждая, что они безбожники и дестяты, потому только, что те не брали в предмет христианских сюжетов». Гоголь говорит здесь о статьях С. А. Бурачка, упрекавшего А. С. Пушкина в безверии и безнравственности и утверждавшего, в частности, в статье «Видение в царстве духов»: «Переберите все восемь томов его (Пушкина. — В. В., И. В.) сочинений: (кроме слабых общих мест, и то очень, очень редко) нет ни одной высокой мысли, о Боге, о вере, о Иисусе Христе Господе Искупителе нашем, о Православной Руси, о героях, прославивших русское имя» (Маяк. 1840. Ч. 10. С. 61). Основные положения этой

Вы очень односторонни, и стали недавно так односторонни; и оттого стали односторонни, что, находясь на той точке состояния душевного, на которой теперь стоите вы, нельзя не сделаться односторонним всякому человеку. Вы помышляете только об одном душевном спасенье вашем и, не найдя еще той именно дороги, которую вам предназначено достигнуть его, почитаете всё, что ни есть в мире, соблазном и препятствием к спасению. Монах не строже вас. Так и ваши нападенья на театр односторонни и несправедливы. Вы подкрепляете себя тем, что некоторые вам известные духовные лица восстают против театра; но они правы, а вы не правы. Разберите лучше, точно ли они восстают против театра или только противу того вида, в котором он нам теперь является. Церковь начала восставать противу театра в первые века всеобщего водворенья христианства, когда театры одни оставались прибежищем уже повсюду изгнанного язычества и притоном бесчинных его вакханалий. Вот почему так сильно гремел противу них Златоуст<sup>85</sup>. Но времена изменились. Мир весь перечистился съзнова поколеньями свежих народов Европы, которых образованье началось уже на христианском грунте, и тогда сами святители начали первые вводить театр: театры завелись при духовных академиях. Наш Дмитрий Ростовский, справедливо поставляемый в ряд святых отцов Церкви,

---

статьи были развиты в работах о Пушкине А. М. Мартынова и самого С. А. Бурачка, опубликованных в «Маяке» в 1843 — 1845 гг.

<sup>85</sup> Гоголь имеет в виду обличения театральных зрелищ св. Иоанном Златоустом, архиепископом Константинопольским (ок. 350 — 407) в его «Толкованиях на Святого Матфея Евангелиста». См., напр., следующее характерное место: «В самом деле, скажи мне, отчего нарушается супружеская верность? Не от театра ли? Отчего оскверняются брачные ложа? Не от этих ли зрелищ? Не по их ли вине жены не терпят мужей? Не от них ли мужья презирают жен своих? Не отсюда ли множество прелюбодеев? И если кто нисправергает все и вводит жестокую тираннило, то это тот, кто посещает театр. <...> Вредные для общества люди бывают именно из числа тех, что действуют на театрах. От них происходят возмущения и мятежи» (беседа XXXVII). В письме к Н. М. Языкову от 2 апреля н. ст. 1844 г. из Дармштадта Гоголь просит прислать ему «беседы Златоуста», то есть «Иоанна Златоустого Беседы на Евангелиста Матфея» (М., 1839. Ч. 1 — 3). В записной книжке Гоголя 1842 — 1850 гг. есть запись «О театре»: «Искусство упало. Высокий доблести, величие духа, все, что способно поднять, возвысить человека, являются редко. Все или карикатура, придумываемая, чтобы быть смешной, или выдуманная чудовищная страсть, близкая к опьянению; которой автор старается из всех сил дать право гражданства, составляют содержание нынешних писэс». Еще раньше, в статье «Петербургские записки 1836 года», Гоголь писал о современном ему театре: «Невольно передвигаются перед глазами те кровавые ристалища, на которые собирался смотреть весь Рим в эпоху величайшего владычества своего и притупленного пресыщения».

слагал у нас пьесы для представления в лицах<sup>86</sup>. Стало быть, не театр виноват. Все можно извратить и всему можно дать дурной смысл, человек же на это способен. Но надобно смотреть на вещь в ее основании и на то, чем она должна быть, а не судить о ней по карикатуре, которую на нее сделали. Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь, если примешь в соображенье то, что в нем может поместиться вдруг толпа из пяти, шести тысяч человек и что вся эта толпа, ни в чем не сходная между собою, разбирая по единицам, может вдруг потрястись одним потрясеньем, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом. Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра. Отделите только собственно называемый высший театр от всяких балетных скаканий, водевилей, мелодрам и тех мишурно-великолепных зрелищ для глаз, угождающих разврату вкуса или разврату сердца, и тогда посмотрите на театр. Театр, на котором представляются высокая трагедия и комедии, должен быть в совершенной независимости от всего. Странно и соединить Шекспира с плясуньями или с плясунами в лайковых штанах. Что за сближение? Ноги — ногами, а голова — головой. В некоторых местах Европы это поили: театр высших драматических представлений там отделен и пользуется один поддержкой правительств; но поили это в отношении порядка внешнего. Следовало подумать не шутя о том, как поставить все лучшие произведения драматических писателей таким образом, чтобы публика привлеклась к ним вниманием, и открылось бы их нравственное благотворное влияние, которое есть у всех великих писателей. Шекспир, Шеридан, Мольер, Гете, Шиллер, Бомарше, даже Лессинг, Реньян<sup>87</sup> и многие другие из второстепенных писателей прошедшего века ничего не произвели такого, что бы отвлекало от уважения к высоким предметам; к ним даже не перешли и отголоски того, что бурлило и кипело у тогдашних писателей-фанатиков, занимавшихся вопросами политическими и разнесших неуваженье к святыне<sup>88</sup>. У них, если и попадаются насмешки, то над лицемерием, над кощунством, над кривым tolkovaniem правого, и никогда над тем, что составляет корень человеческих доблестей; напротив, чувство добра слышится строго даже и там, где брызжут эпиграммы. Частое повторение высокодраматических

<sup>86</sup> Св. Димитрий Ростовский (в мире Даниил Саввич Туптало; 1651—1709) — выдающийся агиограф и проповедник, писал также стихи и пьесы. Будучи митрополитом Ростовским и Ярославским создал в Ростове Школьный театр, на сцене которого ставились пьесы духовного содержания, написанные главным образом им самим («Успенская драма», 1680-е гг., «Рождественская драма», 1702, и др.). Память его совершается 21 сентября.

<sup>87</sup> Жан Франсуа (1655 — 1709) — французский драматург.

<sup>88</sup> Гоголь разумеет французских философов-материалистов XVIII в.

сочинений, то есть тех истинно классических пьес, где обращено внимание на природу и душу человека, станет необходимо укреплять общество в правилах более недвижных, заставит нечувствительно характеры более устоиваться в самих себе, тогда как все это наводнение пустых и легких пьес, начиная с водевилей и недодуманных драм до блестящих балетов и даже опер, их только разбрасывает, рассеивает, становит легким и ветреным общество. Развлеченный миллионами блестящих предметов, раскидывающих мысли на все стороны, свет не в силах встретиться прямо со Христом. Ему далеко до небесных истин христианства. Он их испугается, как мрачного монастыря, если не подставишь ему незримые ступени к христианству<sup>89</sup>; если не возведешь его на некоторое высшее место, откуда ему станет видней весь необъятный кругозор христианства и поиятней то же самое, что прежде было вовсе недоступно. Есть много среди света такого, которое для всех, отдалившись от христианства, служит незримой ступенью к христианству. В том числе может быть и театр, если будет обращен к своему высшему назначению. Нужно ввести на сцену во всем блеске все совершеннейшие драматические произведения всех веков и народов. Нужно давать их чаще, как можно чаще, повторяя беспрерывно одну и ту же пьесу. И это можно сделать. Можно все пьесы сделать вновь свежими, новыми, любопытными для всех от мала до велика, если только сумеешь их поставить как следует на сцену. Это вздор, будто они устарели и публика потеряла к ним вкус. Публика не имеет своего каприза; она пойдет, куды поведут ее. Не попотчевай ее сами же писатели своими гнилыми мелодрамами, она бы не почувствовала к ним вкуса и не потребовала бы их. Возьми самую заиграннейшую пьесу и поставь ее как нужно, та же публика повалит толпой. Мольер ей будет в новость, Шекспир станет заманчивей наисовременнейшего водевиля. Но нужно, чтобы такая постановка произведена была действительно и вполне художественно, чтобы дело это поручено было не кому другому, как первому и лучшему актеру-художнику, какой отыщется в труппе. И не мешать уже сюда никакого приkleиша сбоку, секретаря-чиновника; пусть он один распоряжается во всем. Нужно даже особенно позаботиться о том, чтобы вся ответственность легла на него одного, чтобы он решился публично, перед глазами всей публики сыграть сам по порядку одну за другою все второстепенные роли, дабы оставить живые образцы второстепенным актерам, которые заучивают свои роли по мертвым образцам, дошедшим до них по какому-то темному преданию, которые образовались книжным научением и не видят себе никакого живого

<sup>89</sup> Эти слова в целом характеризуют понимание Гоголем роли искусства в жизни человека.

интереса в своих ролях. Одно это исполнение первым актером второстепенных ролей может привлечь публику видеть двадцать раз сряду ту же пьесу. Кому не любопытно видеть, как Щепкин или Карагыгин станут играть те роли, которых никогда дотоле не играли! Потом же, когда первоклассный актер, разыгравши все роли, возвратится вновь на свою прежнюю, он получит взгляд, еще полнейший, как на собственную свою роль, так и на всю пьесу: а пьеса получит вновь еще сильнейшую занимательность для зрителей этой полнотой своего исполнения, — вещью, доселе неслыханной! Нет выше того потрясенья, которое производит на человека совершенно согласованное согласье всех частей между собою, которое доселе мог только слышать он в одном музыкальном оркестре и которое в силе сделать то, что драматическое произведение может быть дано более разов сряду, чем наилюбимейшая музыкальная опера<sup>90</sup>. Что ни говори, но звуки души и сердца, выражаемые словом, в несколько раз разнообразнее музыкальных звуков. Но, повторяю, все это возможно только в таком случае, когда дело будет сделано истинно так, как следует, и полная ответственность всего, по части репертуарной, возложет на первоклассного актера, то есть трагедией будет заведовать первый трагический актер, а комедией — первый комический актер, когда одни они будут *исключительные хоровожди* такого дела. Говорю *исключительные*, потому что знаю, как много у нас есть охотников прикомандироваться сбоку во всяком деле. Чуть только явится какое место и при нем какие-нибудь денежные выгоды, как уже вмиг пристегнется сбоку секретарь. Откуда он возьмется. Бог весть: точно как из воды выйдет; докажет тут же свою необходимость ясно, как дважды два; заведет вначале бумажную кропотню только по экономическим делам, потом станет понемногу впутываться во всё, и дело пойдет из рук вон. Секретари эти, точно какая-то незримая моль, подточили все должности, сбили и спутали отношения подчиненных к начальникам и обратно начальников к подчиненным. Мы с вами еще не так давно рассуждали о всех должностях, какие ни есть в нашем государстве. Рассматривая каждую в ее законных пределах, мы находили, что они именно то, что им следует быть, все до единой как бы свыше созданы для нас с тем, чтобы отвечать на все потребности нашего государственного быта, и все сделались не тем оттого, что всяк, как бы наперерыв, старался пли расширить пределы своей должности, или даже вовсе выступить из ее пределов. Всякий, даже

---

<sup>90</sup> Этой мысли соответствует подготовительная заметка в записной книжке Гоголя 1845 — 1846 гг.: «50 раз должно ездить на одну и ту же пьесу. Музыку чем слышишь более, тем глубже входишь в нее. Картина, чем более в нее взглядаешься, тем хочется более глядеть, и с этим никто не спорит, хотя редко понимает. А слово, высшее всего, считается ничтожным».

честный и умный человек, старался хотя на один вершок быть полномочной и выше своего места, полагая, что он этим-то именно облагородит и себя, и свою должность. Мы перебрали тогда всех чиновников от верху до низу, но секретарей позабыли, а они-то именно больше всех стремятся выступить из пределов своей должности. Где секретарь заведен только в качестве писца, там он хочет сыграть роль посредника между начальником и подчиненным. Где же он поставлен действительно как нужный посредник между начальником и подчиненным, там он начинает важничать: корчит перед этим подчиненным роль его начальника, заведет у себя переднюю, заставит ждать себя по целым часам, — словом, вместо того чтобы облегчить доступ подчиненного к начальнику, только затруднит его. И все это иногда делается не с другим каким умыслом, как только затем, чтобы облагородить свое секретарское место. Я знал даже некоторых совсем недурных и неглупых людей, которые перед моими же глазами так поступали с подчиненными своего начальника, что я краснел за них же. Мой Хлестаков был в эту минуту ничто перед ними. Все это, конечно, еще бы ничего, если бы от этого не происходило слишком много печальных следствий. Много истинно полезных и нужных людей иногда бросали службу единственно из-за скотинства секретаря, требовавшего к себе самому того же самогоуважения, которым они были обязаны только одному начальнику, и за неисполнение того мстившего им оговорами, внушеньями о них дурного мнения, словом — всеми теми мерзостями, на которые способен только бесчестный человек. Конечно, в управлениях по части искусств, художеств и тому подобного правит или комитет, или один непосредственный начальник, и не бывает места секретарю-посреднику: там он употреблен только записывать определения других или вести хозяйственную часть; но иногда случается и там, от лености членов или чего другого, что он, мало-помалу втираясь, становится посредником и даже вершителем в деле искусства. И тогда выходит просто черт знает что: пирожник принимается за сапоги, а к сапожнику поступает печенье пирогов. Выходит инструкция для художника, писанная вовсе не художником; является предписание, которого даже и понять нельзя, зачем оно предписано. Часто удивляются, как такой-то человек, будучи всегда умным человеком, мог выпустить преглупую бумагу, а в ней он и душой не виноват: бумага вышла из такого угла, откуда и подозревать никто не мог, по пословице: «Писал писачка, а имя ему собачка».

Нужно, чтобы в деле какого бы то ни было мастерства полное его производство упиралось на главном мастере того мастерства, а отнюдь не каком-нибудь пристегнувшемся скобу чиновнике, который может быть употреблен только для одних хозяйственных расчетов да для

письменного дела. Только сам мастер может учить своей науке, слыша вполне ее потребности, и никто другой. Один только первоклассный актер-художник может сделать хороший выбор пьес, дать им строгую сортировку; один он знает тайну, как производить репетиции, понимать, как важны частые считовки и полные предуготовительные повторения пьесы. Он даже не позволит актеру выучить роль у себя на дому, но сделает так, чтобы все выучилось ими сообща, и роль вошла сама собою в голову каждого во время репетиций, так чтобы всяк, окруженный тут же обстановливающими его обстоятельствами, уже невольно от одного соприкосновенья с ними слышал верный тон своей роли. Тогда и дурной актер может нечувствительно набраться хорошего. Покуда актеры еще не заучили наизусть своих ролей, им возможно перенять многое у лучшего актера. Тут всяк, не зная даже сам каким образом, набирается правды и естественности как в речах, так и в телодвиженьях. Тон вопроса дает тон ответу. Сделай вопрос напыщенный, получишь и ответ напыщенный; сделай простой вопрос, простой и ответ получишь. Всякий наипростейший человек уже способен отвечать в такт. Но если только актер заучил у себя на дому свою роль, от него изойдет напыщенный, заученный ответ, и этот ответ уже останется в нем навек: его ничем не переломаешь; ни одного слова не переймет он тогда от лучшего актера; для него станет глухо все окружение обстоятельств и характеров, обступающих его роль, так же как и вся пьеса станет ему глуха и чужда, и он, как мертвец, будет двигаться среди мертвецов. Только один истинный актер-художник может слышать жизнь, заключенную в пьесе, и сделать так, что жизнь эта сделается видной и живой для всех актеров; один он может слышать законную меру репетиций — как их производить, когда прекратить и сколько их достаточно для того, дабы возмогла пьеса явиться в полном совершенстве своем перед публикой. Умей только заставить актера-художника взяться за это дело, как за свое собственное, родное дело, докажи ему, что это его долг и что честь его же искусства того требует от него, — и он это сделает, он это исполнит, потому что любит свое искусство. Он сделает даже больше, позаботясь, чтобы и последний из актеров сыграл хорошо, сделав строгое исполненье всего целого как бы своей собственной ролью. Он не допустит на сцену никакой пошлой и ничтожной пьесы, какую допустил бы иной чиновник, заботящийся только о приращении сборной денежной кассы, — потому не допустит, что уже его внутреннее эстетическое чувство оттолкнет ее. Ему невозможно также, если бы он даже и вздумал оказать какие-нибудь притеснительные поступки или прижимки относительно вверенных ему актеров, какие делаются людьми чиновными: его не допустит к тому его собственная известность. Какой-нибудь чиновник-секретарь производит отважно свою пакость в уверенности, что как он ни напакости, о том

никто не узнает, потому что и сам он — незаметная пешка. Но сделай что-нибудь несправедливое Щепкин или Кааратыгин, о том заговорят вдруг весь город. Вот почему особенно важно, чтобы главная ответственность во всяком деле падала на человека, уже известного всем до единого в обществе. Наконец, живя весь в своем искусстве, которое стало уже его высшою жизнью, которого чистоту блюдет он как святыню, художник-актер не попустит никогда, чтобы театр стал проповедником разврата. Итак, не театр виноват. Прежде очистите театр от хлама, его загромоздившего, и потом уже разбирайте и судите, что такое театр. Я заговорил здесь о театре не потому, чтобы хотел говорить собственно о нем, но потому, что сказанное о театре можно применить почти ко всему. Много есть таких предметов, которые страждут из-за того, что извратили смысл их; а так как вообще на свете есть много охотников действовать сгоряча, по пословице: «Рассердясь на вши, да шубу в печь», то через это уничтожается много того, что послужило бы всем на пользу. Односторонние люди и притом фанатики — язва для общества, беда той земле и государству, где в руках таких людей очутится какая-либо власть. У них нет никакого смиренья христианского и сомнения в себе; они уверены, что весь свет врет и одни они только говорят правду. Друг мой! смотрите за собой покрепче. Вы теперь именно находитесь в этом опасном состоянии. Хорошо, что покуда вы вне всякой должности и вам не вверено никакого управления; иначе вы, которого я знаю как наиспособнейшего к управлению самых трудных и сложных должностей, могли бы наделать больше зла и беспорядков, чем самый неспособный из неспособнейших. Берегитесь и в самих сужденьях своих обо всем! Не будьте похожи на тех святошей, которые желали бы разом уничтожить все, что ни есть на свете, видя во всем одно бесовское. Их удел — впадать в самые грубые ошибки. Нечто тому подобное случилось недавно в литературе. Некоторые стали печатно объявлять, что Пушкин был нехристианин; точно как будто бы они побывали в душе Пушкина, точно как будто бы Пушкин непременно обязан был в стихах своих говорить о высших догмах христианских<sup>91</sup>, за которые и сам святитель Церкви принимается не иначе, как с великим страхом, приготовя себя к тому глубочайшей святостью своей жизни. Потихнему, следовало бы все высшее в христианстве облекать в рифмы и

<sup>91</sup> В соответствии с «основной мыслью» настоящей статьи (см. преамбулу к ней) Гоголь писал летом 1847 г. в своем неотправленном письме к В. Г. Белинскому: «Не мое дело говорить о Боге. Мне следовало говорить не о Боге, а о том, что вокруг нас, что должен изображать писатель, но так, чтобы каждому самому захотелось бы заговорить о Боге...» Ср. слова Гоголя о Пушкине в статье о русской поэзии: «Он заботился только о том, чтобы сказать одним одаренным поэтическим чутью: «Смотрите, как прекрасно творение Бога!»...»

сделать из того какие-то стихотворные игрушки. Пушкин слишком разумно поступал, что не дерзал переносить в стихи того, чем еще не проникалась вся насквозь его душа, и предпочитал лучше оставаться нечувствительной ступенью к высшему для всех тех, которые слишком отдалились от Христа, чем оттолкнуть их вовсе от христианства такими же бездушными стихотворениями, какие пишутся теми, которые выставляют себя христианами. Я не могу даже понять, как могло прийти в ум критику печатно, в виду всех, возводить на Пушкина такое обвинение<sup>92</sup>, что сочинения его служат к развращению света, тогда как самой цензуре предписано, в случае если бы смысл какого сочинения не был вполне ясен, толковать его в прямую и выгодную для автора сторону<sup>93</sup>, а не в кривую и вредящую ему. Если это постановлено в закон цензуре, безмолвной и безгласной, не имеющей даже возможности оговориться перед публикою, то во сколько раз больше должна это поставить себе в закон критика, которая может изъясниться и оговориться в малейшем действии своем. Публично выставлять нехристианином человека и даже противником Христа, основываясь на некоторых несовершенствах его души и на том, что он увлекался светом так же, как и всяк из нас им увлекался, — разве это христианское дело? Да и кто же из нас тогда христианин? Этак я могу обвинить самого критика в его нехристианстве. Я могу сказать, что христианин не возымеет такой уверенности в уме своем, чтобы решать такое темное дело, которое известно одному Богу, зная, что ум наш вполне проясняется и может обнимать со всех сторон предмет только от святости нашей жизни, а жизнь его еще не так, может быть, свята. Христианин перед тем, чтобы обвинить кого-либо в таком уголовном преступлении, каково есть непризнанье Бога в том виде, в каком повелел признавать его Сам Божий Сын, сходивший на землю, задумается, потому что дело это страшное. Он скажет и то: в поэзии многое есть еще тайна, да и вся поэзия есть тайна; трудно и над простым человеком произнести суд свой; произнести же суд окончательный и полный над

---

<sup>92</sup> В защиту А. С. Пушкина от обвинения его в «безнравственности» выступил также в 1845 г. И. В. Киреевский в «Москвитянине».

<sup>93</sup> Возможно, Гоголь узнал об этих предписаниях из опубликованной в третьем томе «Современника» (1836) статьи А. С. Пушкина «Мнение М. А. Лобанова о духе словесности как иностранной, так и отечественной», где, в частности, говорилось: «Вопреки мнению г. Лобанова цензура не должна проникать все ухищрения пишущих. «Цензура долженствует обращать особенное внимание на дух рассматриваемой книги, на видимую цель и намерение автора и в суждениях своих принимать всегда за основание явный смысл речи, не дозволяя себе произвольного толкования оной в дурную сторону» (Устав о цензуре, § 6). Имеется в виду цензурный устав 1828 г.

поэтом может один тот, кто заключил в себе самом поэтическое существо и есть сам уже почти равный ему поэт, — как и во всяком даже простом мастерстве понемногу может судить всяк, но вполне судить может только сам мастер того мастерства. Словом, христианин покажет прежде всего смиление, свое первое знамя, по которому можно узнать, что он христианин. Христианин, наместо того, чтобы говорить о тех местах в Пушкине, которых смысл еще темен и может быть истолкован на две стороны, станет говорить о том, что ясно, что было им произведено в лета разумного мужества, а не увлекающейся юности. Он приведет его величественные стихи пастырю Церкви<sup>94</sup>, где Пушкин сам говорит о себе, что даже и в те годы, когда он увлекался суетой и прелестию света, его поражал даже один вид служителя Христова.

Но и тогда струны лукавой  
Мгновенно звон я прерывал,  
Когда твой голос величавый  
Меня внезапно поражал.

Я лил потоки слез нежданных,  
И ранам совести моей  
Твоих речей благоуханных  
Отраден чистый был елей.

И ныне с высоты духовной  
Мне руку простираешь ты  
И силой кроткой и любовной  
Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа палима  
Отвергла прах земных сует,  
И внемлет арфе серафима  
В священном ужасе поэт.

Вот на какое стихотворенье Пушкина укажет критик-христианин! Тогда критика его получит смысл и сделает добро: она еще сильней укрепит самое дело, показавши, как даже и тот человек, который заключал в себе все разнородные верованья и вопросы своего времени, так сбивчивые, так отдаляющие нас от Христа, как даже и тот человек, в лучшие и светлейшие минуты своего поэтического ясновидения, исповедал выше всего высоту христианскую. Но какой теперь смысл критики? спрашиваю я. Какая польза смутить людей, поселивши в них сомнение и подозрение в Пушкине? Безделица — выставить

---

<sup>94</sup> Речь идет о стихотворении А. С. Пушкина «В часы забав иль праздной скуки...» (1830).

наиумнейшего человека своего времени не признающим христианства! <sup>95</sup>  
Человека, на которого умственное поколение смотрит, как на вождя и на передового, сравнительно перед другими людьми! Хорошо еще, что критик был бесталантлив и не мог пустить в ход подобную ложь и что сам Пушкин оставил тому опровержение в своих же стихах; но будь иначе — что другое, кроме безверья наместо веры, мог бы распространить он? Вот что можно сделать, будучи односторонним! Друг мой, храни вас Бог от односторонности: с нею всюду человек произведет зло: в литературе, на службе, в семье, в свете, словом — везде. Односторонний человек самоуверен; односторонний человек дерзок; односторонний человек всех вооружит против себя. Односторонний человек ни в чем не может найти середины. Односторонний человек не может быть истинным христианином: он может быть только фанатиком. Односторонность в мыслях показывает только то, что человек еще на дороге к христианству, но не достигнул его, потому что христианство дает уже многосторонность уму. Словом, храни вас Бог от односторонности! Глядите разумно на всякую вещь и помните, что в ней могут быть две совершенно противоположные стороны, из которых одна до времени вам не открыта. Театр и театр — две разные вещи, равно как и восторг самой публики бывает двух родов: иное дело восторг оттого, когда какая-нибудь балетная танцовщица подымет ногу повыше, и опять иное дело восторг оттого, когда могущественный лицедей потрясающим словом подымет выше все высокие чувства в человеке. Иное дело — слезы оттого, что какой-нибудь заезжий певец расщекотит музыкальное ухо человека, — слезы, которые, как я слышу, проливаются теперь в Петербурге и немузыканты; и опять иное дело — слезы оттого, когда живым представлением высокого подвига человека весь насквозь просвежается зритель и по выходе из театра принимается с новой силою за долг свой, видя подвиг геройский в таковом его исполненье. Друг мой! мы призваны в мир не затем, чтобы истреблять и разрушать, но, подобно Самому Богу, все направлять к добру, — даже и то, что уже испортил человек и обратил во зло. Нет такого орудия в мире, которое не было бы предназначено на службу Бога. Те же самые трубы, тимпаны, лиры и кимвалы, которыми славили язычники идолов своих, по одержании над ними царем Давидом победы, обратились на восхваленье истинного Бога, и еще больше обрадовался весь Израиль, услышав хвалу Ему на тех инструментах, на которых она дотоле не раздавалась.

---

<sup>95</sup> Известно, что Гоголь высоко ценил ум Пушкина. По свидетельству Е. А. Хитрова, он говорил: «Пушкин был необыкновенно умен. Если он чего и не знал, то у него чутье было на все» (Русский архив. 1902. № 3. С. 554).

## XV

**ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЛИРИЧЕСКОГО ПОЭТА В  
НЫНЕШНЕЕ ВРЕМЯ**  
(Два письма к Н. М. Я....у)<sup>96</sup>

## 1

Твое стихотворенье «Землетрясенье» меня восхитило<sup>97</sup>. Жуковский также был от него в восторге<sup>98</sup>. Это, по его мнению, лучшее не только из твоих, но даже из всех русских стихотворений. Взять событие из минувшего и обратить его к настоящему — какая умная и богатая мысль! А примененье к поэту, завершающее оду, таково, что его следует всякому из нас, каково бы ни было его поприще, применить к самому себе в эту тяжелую годину всемирного землетрясенья, когда все помутилось от страха за будущее. Друг! перед тобой разверзается живоносный источник. В словах твоих поэту:

И приноси дрожащим людям  
Молитвы с горней вышины! —

заключаются слова тебе самому. Тайна твоей музы тебе открывается. Нынешнее время есть именно поприще для лирического поэта. Сатирой ничего не возьмешь; простой картиной действительности, оглянутой глазом современного светского человека, никого не разбудишь: богатырски задремал нынешний век. Нет, отыщи в миувшем событье

<sup>96</sup> В основу настоящей статьи положены письма к Н. М. Языкову от 2 и 26 декабря н. ст. 1844 г.

<sup>97</sup> Стихотворение Н. М. Языкова было опубликовано в «Москвитянине» (1844. № 10). Вошло в сборник «HS [56] стихотворений Н. М. Языкова», вышедший в том же году и посланный Языковым Гоголю за границу с П. А. Вяземским.

<sup>98</sup> 2 декабря н. ст. 1844 г. Гоголь писал Н. М. Языкову из Франкфурта: «Жуковский подобно мне был поражен им («Землетрясеньем». — В. В., И. В.) и признал его решительно лучшим русским стихотворением. Это слишком много, потому что он вообще был строг к тебе и, умея отдавать должное твоим стихам, нападал на главное <...> Он говорил часто (в чем отчасти и я был с ним согласен) у что везде у тебя есть восторг, который никак не идет вперед, но стоит на одном месте, именно потому, что не получил определенного стремления. <...> И потому ты можешь себе представить, как мне радостно было его восхищение».

подобное настоящему, заставь его выступить ярко и порази его в виду всех, как поражено было оно гневом Божиим в свое время; бей в прошедшем настоящее, и в двойную силу облечется твое слово: живей через то выступит прошедшее и криком закричит настоящее. Разогни книгу Ветхого Завета: ты найдешь там каждое из нынешних событий, ясней как день увидишь, в чем оно преступило перед Богом, и так очевидно изображен над ним совершившийся Страшный Суд Божий, что встрепенется настоящее. У тебя есть на то орудья и средства: в стихе твоем есть сила, и упрекающая и подъемлющая. То и другое теперь именно нужно. Одних нужно поднять, других попрекнуть: поднять тех, которые смущились от страхов и бесчинств, их окружающих; попрекнуть тех, которые в святые минуты небесного гнева и страданий повсюдных дерзают предаваться буйству всяких скаканий и позорного ликованья. Нужно, чтобы твои стихи стали так в глазах всех, как начертанные на воздухе буквы, явившиеся на пирамиде Валтасара<sup>99</sup>, от которых все пришло в ужас еще прежде, чем могло проникнуть самый их смысл. А если хочешь быть еще понятней всем, то, набравшись духа библейского, опустись с ним, как со светочем, во глубины русской старины и в ней порази позор нынешнего времени и углуби в то же время глубже в нас то, перед чем еще позорнее станет позор наш. Стих твой не будет вял, не бойся; старина даст тебе краски и уже одной собой вдохновит тебя! Она так живьем и шевелится в наших летописях. На днях попалась мне книга: «Царские выходы»<sup>100</sup>. Казалось, что бы могло быть ее скучней, но и тут уже одни слова и названья царских убранств, дорогих тканей и каменьев — сущие сокровища для поэта; всякое слово так и ложится в стих. Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок; все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное название еще драгоценней самой вещи. Да если только уберешь такими словами стих свой — целиком унесешь читателя в минувшее. Мне, после прочтенья трех страниц из этой книги, так и виделся везде царь старинных, прежних

---

<sup>99</sup> Имеется в виду эпизод из библейской Книги пророка Даниила (гл. 5, ст. 1 — 8).

<sup>100</sup> Речь идет об изданной П. М. Строевым книге «Выходы Государей Царей и Великих Князей, Михаила Феодоровича, Алексия Михайловича, Феодора Алексиевича, всяя Руси Самодержцев. (С 1632 по 1682 год)» (М., 1844). Из письма Гоголя к Н. М. Языкову от 2 декабря н. ст. 1844 г. следует, что он познакомился с книгой по заметке о ней в «Отечественных записках» (1844. № 5), где были помещены выдержки из нее. Позднее в свою записную книжку Гоголь занес выписки непосредственно из самой книги. Одной из этих выписок он и воспользовался при написании статьи: «Платно по серебряной шитой земле, травы аксамичены золотом, около трав бархачено шелком — червченым, кружево низано жемчугом по черному бархату с камеялем. Кафтан становой, по серебряной земле листье зелено, башмаки низаные».

2

Пишу к тебе под влиянием того ж стихотворенья твоего: «Землетрясенье». Ради Бога, не оставляй начатого дела! Перечитывай строго Библию, набирайся русской старины и, при свете их, приглядывайся к нынешнему времени. Много, много предстоит тебе предметов, и грех тебе их не видеть. Жуковский недаром доселе называл твою поэзию восторгом, никуды не обращенным. Стыдно тратить лирическую силу в виде холостых выстрелов на воздух, тогда как она дана тебе на то, чтобы взрывать камни и ворочать утесы. Оглянись вокруг: всё теперь — предметы для лирического поэта; всякий человек требует лирического воззвания к нему; куды ни повернешься, видишь, что нужно или попрекнуть, или освежить кого-нибудь.

Попрекни же прежде всего сильным лирическим упреком умных, но унывших людей. Проймешь их, если покажешь им дело в настоящем виде, то есть, что человек, предавшийся унынию, есть дрянь во всех отношениях, каковы бы ни были причины уныния, потому что унынье проклято Богом. Истинно русского человека поведешь на брань даже и против уныния, поднимешь его превыше страха и колебаний земли, как поднял поэта в своем «Землетрясении».

Воззови, в виде лирического сильного воззвания, к прекрасному, но дремлющему человеку. Брось ему с берега доску и закричи во весь голос, чтобы спасал свою бедную душу: уже он далеко от берега, уже несет и несет его ничтожная верхушка света, несут обеды, ноги плясавиц, ежедневное сонное опьяненье; нечувствительно облекается он плотью и стал уже весь плоть, и уже почти нет в нем души. Завопи воплем и выставь ему ведьму старость, к нему идущую, которая вся из железа, перед которой железо есть милосердье, которая ни крохи чувства не отдает назад и обратно. О, если б ты мог сказать ему то, что должен сказать мой Плюшкин, если доберусь до третьего тома<sup>101</sup> «Мертвых

<sup>101</sup> Это единственное упоминание Гоголя, касающееся содержания третьего тома «Мертвых душ». Архимандрит Феодор (Кухарев), беседовавший с Гоголем о его сочинении, в позднейшем примечании к своей книге рассказывает: «Помнится, когда кое-что прочитал я Гоголю из моего разбора «Мертвых душ», желая только познакомить его с моим способом рассмотрения этой поэмы, то и его прямо спросил, чем именно должна кончиться эта поэма. Он, задумавшись, выразил свое затруднение высказать это с обстоятельностию. Я возразил, что мне только нужно знать, оживет ли как следует Павел Иванович? Гоголь, как будто с радостию, подтвердил, что это непременно будет и оживлению его послужит

душ»!

Опозорь в гневном дифирамбе новейшего лихоимца нынешних времен и его проклятую роскошь, и скверную жену его, погубившую щеголяньями и тряпками и себя, и мужа, и презренный порог их богатого дома, и гнусный воздух, которым там дышат, чтобы, как от чумы, от них побежало все бегом и без оглядки.

Возвеличь в торжественном гимне незаметного труженика, какие, к чести высокой породы русской, находятся посреди отважнейших взяточников, которые не берут даже и тогда, как все берет вокруг их. Возвеличь и его, и семью его, и благородную жену его, которая лучше захотела носить старомодный чепец и стать предметом насмешек других, чем допустить своего мужа сделать несправедливость и подлость. Выставь их прекрасную бедность так, чтобы, как святыня, она засияла у всех на глазах и каждому из них захотелось бы самому быть бедным.

Ублажи гимном того исполина, какой выходит только из русской земли, который вдруг пробуждается от позорного сна, становится вдруг другим; плонувши в виду всех на свою мерзость и гнуснейшие пороки, становится первым ратником добра. Покажи, как совершается это богатырское дело в истинно русской душе; но покажи так, чтобы невольно затрепетала в каждом русской природы и чтобы всё, даже в грубом и низшем сословии, вскрикнуло:

«Эх, молодец!» — почувствовавши, что и для него самого возможно такое дело.

Много, много предметов для лирического поэта — в книге не вместишь, не только в письме. Всякое истинное русское чувство глохнет, и некому его вызывать! Дремлет наша удаль, дремлет решимость и отвага на дело, дремлет наша крепость и сила, — дремлет ум наш среди вялой и бабьей светской жизни, которую привили к нам, под именем просвещения, пустые и мелкие нововведения. Стряхни же сон с очей своих и порази сон других. На колени перед Богом, и проси у Него Гнева и Любви! Гнева — противу того, что губит человека, любви — к бедной душе человека, которую губят со всех сторон и которую губит он сам. Найдешь слова, найдутся выраженья, огни, а не слова, излетят от тебя,

---

прямым участием сам Царь, и первым вздохом Чичикова для истинной прочной жизни должна кончиться поэма. В изъяснении этой развязки он несколько распространился, но, опасаясь за неточность Припомнания подробностей, ничего не говорю об этих его речах. — А прочие спутники Чичикова в «Мертвых душах»? — спросил я Гоголя, — и они тоже воскреснут? — «Если захотят», — ответил он с улыбкою; и потом стал говорить, как необходимо далее привести ему своих героев в столкновение с истинно хорошими людьми.» (Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. С. 138).

как от древних пророков, если только, подобно им, сделаешь это дело родным и кровным своим делом, если только, подобно им, посыпав пеплом главу, раздравши ризы, рыданьем вымолишь себе у Бога на то силу и так возлюбишь спасенье земли своей, как возлюбили они спасенье богоизбранного своего народа.

1844

## XVI

### СОВЕТЫ

(Письмо к Щ.....ву)<sup>102</sup>

Уча других, также учишься<sup>103</sup>. Посреди моего болезненного и трудного времени, к которому присоединились еще и тяжелые страдания душевые, я должен был вести такую деятельность переписку, какой никогда у меня не было дотоле. Как нарочно, почти со всеми близкими моей душе случились в это время внутренние события и потрясения. Все каким-то инстинктом обращалось ко мне, требуя помощи и совета. Тут только узнал я близкое родство человеческих душ между собою. Стоит

<sup>102</sup> Адресат письма, вероятно, С. П. Шевырев См. comment. к главе XII. *Христианин идет вперед*. В записной книжке Гоголя 1841 — 1846 гг. содержится отрывок, представляющий из себя, по-видимому, набросок к данной статье: «Всегда почти выходит, что тот совет и упрек, который сделаем другим, как раз придется к тебе самому. Так что это вдвойне проясняет <?>. С тех пор я положил себе в урок никому не давать совета без того, чтобы искренне не обратить самому себе, никому не делать упрека без того, чтобы внутренне не обратить его самому себе. Поверь, что советы и тебе нужны, и делай так же, <упрекни> в том себя, в чем упрекнул другого. И если это кажется неправдой, то не потому, чтоб это было неправдой, но потому что плохо видим себя. Я сделал это себе правилом, советую и тебе то же. Не думай, что ты бессилен и не можешь учиться, но учи, учась, действуй обоюдоостро».

<sup>103</sup> Возможно, отклик на опубликованное в третьем томе «Современника» (1836) «Письмо к издателью» А. С. Пушкина, где подверглась критике статья Гоголя «О движении журнальной литературы, в 1834 и 1835 году», помещенная в первом томе журнала. Свое «Письмо...» Пушкин начинает цитатой из Георгия Конисского: «...учители добрые И нелукавые себе первое учат, нежели других, своему уху, яко ближайшему, наперед проповедую!, нежели чужим». Эта мысль восходит к словам апостола Павла из Послания к Римлянам: «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» (гл. 2, ст. 21).

только хорошенько выстрадаться самому, как уже все страдающие становятся тебе понятны и почти знаешь, что нужно сказать им. Этого мало; самый ум проясняется: дотоле сокрытые положенья и поприща людей становятся тебе известны, и делается видно, что кому из них потребно. В последнее время мне случалось даже получать письма от людей, мне почти вовсе незнакомых, и давать на них ответы такие, каких бы я не сумел дать прежде. А между прочим, я ничуть не умней никого. Я знаю людей, которые в несколько раз умней и образованней меня и могли бы дать советы в несколько раз полезнейшие моих; но они этого не делают и даже не знают, как это сделать. Велик Бог, нас умудряющий! и чем же умудряющий? — тем самым горем, от которого мы бежим и хотим сокрыться. Страданьями и горем определено нам добывать крупицы мудрости, не приобретаемой в книгах. Но кто уже приобрел одну из этих крупиц, тот уже не имеет права скрывать ее от других. Она не твое, но Божье достоянье. Бог ее выработал в тебе; все же дары Божьи даются нам затем, чтобы мы служили ими собратьям нашим: Он повелел, чтобы ежеминутно учили мы друг друга. Итак, не останавливайся, учи и давай советы! Но если хочешь, чтобы это принесло в то же время тебе самому пользу, делай так, как думаю я и как положил себе отныне делать всегда: всякий совет и наставление, какое бы ни случилось кому дать, хотя бы даже человеку, стоящему на самой низкой степени образования, с которым у тебя ничего не может быть общего, обрати в то же время к самому себе и то же самое, что посоветовал другому, посоветуй себе самому; тот же самый упрек, который сделал другому, сделай тут же себе самому. Поверь, все придется к тебе самому, и я даже не знаю, есть ли такой упрек, которым бы нельзя было упрекнуть себя самого, если только пристально поглядишь на себя. Действуй оружием обоюдуострым! Если даже тебе случится рассердиться на кого бы то ни было, рассердись в то же время и на себя самого, хотя за то, что сумел рассердиться на другого. И это делай непременно! Ни в каком случае не своди глаз с самого себя. Имей всегда в предмете себя прежде всех. Будь эгоист в этом случае! Эгоизм — тоже не дурное свойство; вольно было людям дать ему такое скверное толкование, а в основанье эгоизма легла сущая правда. Позаботься прежде о себе, а потом о других; стань прежде сам почище душою, а потом уже старайся, чтобы другие были чище.

## ПРОСВЕЩЕНИЕ

(Письмо к В. А. Ж.....му)<sup>104</sup>

Еще раз пишу к тебе с дороги. Брат, благодарю за все! У Гроба Господа испрошу, да поможет мне отдать тебе хотя часть того умного добра, которым наделял меня ты. Веруй, и да не смущается твое сердце! В Москву ты приедешь, как в родную свою семью.<sup>105</sup> Она предстанет тебе желанной пристанью, и в ней будет покойнее тебе, нежели здесь. Ни пустой шум суеты, ни гром экипажа не смутит тебя: объедут бережно и улицу, в которой ты будешь жить. Если кто и приедет тебя навестить, старый ли друг твой или же дотоле незнакомый человек, он станет вперед просить не отдавать ему визита, боясь, чтобы и минута твоего времени не пропала. У нас умеют и даже знают, как почтить того, кто сделал целиком свое дело. Кто так безукоризненно, так честно употреблял все дары свои, не давая задремать своим способностям, не ленясь ни минуты во всю жизнь свою, кто сохранил свежую старость свою, как бы молодость, в то время как все вокруг ее истратили на пустые соблазны и когда молодые превратились в хилых стариков, тот имеет право на вниманье благовейное. Как патриарх ты будешь в Москве, и на вес золота примут от тебя юноши старческие слова твои. Твоя «Одиссея» принесет много общего добра, это тебе предрекаю. Она возвратит к свежести современного человека, усталого от беспорядка жизни и мыслей; она обновит в глазах его много того, что брошено им, как ветхое и ненужное для быта; она возвратит его к простоте. Но не меньше добра, если еще не больше, принесут те труды, на которые навел тебя Сам Бог и которые ты держишь покуда разумно под спудом.<sup>106</sup> В них окажется

<sup>104</sup> Адресовано В. А. Жуковскому.

<sup>105</sup> В. А. Жуковский собирался вернуться в Россию и поселиться в Москве, где жили почти все его родные и друзья.

<sup>106</sup> В середине 1840-х гг. В. А. Жуковский задумал создать книгу для духовного руководства молодых людей под названием «Философия невежды», книгу, удивительно похожую по своему жанру и по тематике на «Выбранные места...». В нее должны были войти и письма к Гоголю. В середине 1850 г. рукопись была подготовлена к печати, но не пропущена духовной цензурой. В последний год своей жизни Жуковский поручил П. А. Плетневу раздать рукописи ненапечатанных статей друзьям, в том числе П. А. Вяземскому и А. О. Смирновой.

также потребность общая. Не смущайся же и твердо гляди вперед! Да не испугает тебя никакая нестройность того, что бы ты ни встретил. Есть примиритель всего внутри самой земли нашей, который покуда еще не всеми видим, — наша Церковь. Уже готовится она вдруг вступить в полные права свои и засиять светом на всю землю. В ней заключено все, что нужно для жизни истинно русской, во всех ее отношениях, начиная от государственного до простого семейственного, всему настрой, всему направленье, всему законная и верная дорога. По мне, безумна и мысль ввести какое-нибудь нововведение в Россию, минуя нашу Церковь, не испросив у нее на то благословенья. Нелепо даже и к мыслям нашим прививать какие бы то ни было европейские идеи, покуда не окрестит их она светом Христовым. Увидишь, как это вдруг и в твоих же глазах будет признано всеми в России, как верующими, так и неверующими, как вдруг выступит всеми узнанная наша Церковь. Была на то воля Промысла, чтобы непостижимая слепота пала на глаза многих. Когда разбираю пристально нить событий мира, вижу всю мудрость Божью, попустившую времененному разделению Церквей, повелевшую одной стоять неподвижно и как бы вдали от людей, а другой — волноваться вместе с людьми; одной — не принимать в себя никаких нововведений, кроме тех, которые были внесены святыми людьми лучших времен христианства и первоначальными отцами Церкви, другой — меняясь и применяться ко всем обстоятельствам времени, духу и привычек людей, вносить все нововведения, сделанные даже порочными несвятыми епископами; одной — на время как бы умереть для мира, другой — на время как бы овладеть всем миром; одной — подобно скромной Марии, отложивши все попеченья о земном, поместиться у ног Самого Господа, затем, чтобы лучше наслушаться слов Его, прежде чем применять и передавать их людям, другой же — подобно заботливой хозяйке Марфе,<sup>107</sup> гостеприимно хлопотать около людей, передавая им еще не

---

<sup>107</sup> Вспоминается евангельское повествование о посещении Спасителем дома Марфы и Марии (Евангелие от Луки, гл. 10, ст. 38 — 42). Сравнение Западной Церкви с Марфой и Восточной — с Марией Гоголь взял из статьи отца Иоанна Яхонтова «О православии Российской Церкви»: «Тонко, благородно и остроумно сравнивает Стефан Яворский жалобы двух Церквей друг на друга с жалобами Марфы на Марию. Как нельзя сказать, которая из сих жен оставила другую: Марфа ли Марию, или обратно: «тако и между сими двумя сестрами взаимное есть оставление. Восточная оставила Западную в союзе соединения; Западная же оставила Восточную в растлении, в поврежденности и новости Символа» (см. ответ его Сорбоннской Академии в 3-й части особо собранных его сочинений. Москва, 1805») (Христианское чтение. 1843. Т. 3. С. 58). См. также comment. к с. 348.

Позднее, в августе 1847 г., Гоголь в письме к графу А. П. Толстому

взвешенные всем разумом слова Господни. Благую часть избрала первая, что так долго прислушивалась к словам Господа, вынося упреки недальновидной сестры своей, которая уже было осмелилась называть ее *мертвым* трупом и даже заблудшей и отступившей от Господа. Не легко применить Слово Христово к людям, и следовало ей прежде сильно проникнуться им самой. Зато в нашей Церкви сохранилось все, что нужно для ныне просыпающегося общества. В ней кормило и руль наступающему новому порядку вещей, и чем больше входжу в нее сердцем, умом и помышлением, тем больше изумляюсь чудной возможности примирения тех противуречий, которых не в силах примирить теперь Церковь Западная. Западная Церковь была еще достаточна для прежнего несложного порядка, еще могла кое-как управлять миром и мирить его со Христом во имя одностороннего и неполного развития человечества. Теперь же, когда человечество стало достигать развития полнейшего во всех своих силах, во всех свойствах, как хороших, так и дурных, она его только отталкивает от Христа: чем больше хлопочет о примирении, тем больше вносит раздор, будучи не в силах осветить узким светом своим всякий нынешний предмет со всех его сторон. Все сознаются в том, что этим самым введенiem в себя множества постановлений человеческих, сделанных такими епископами, которые еще не достигнули святостью жизни своей до полной и

---

(постоянному, кстати, своему собеседнику по вопросам инославных исповеданий) высоко отзывался о трактате А. С. Хомякова «Церковь одна» (кон. 1844 — нач. 1845 г.): «Еще нигде не была доселе так отчетливо и ясно определена Церковь, ее границы, — ее пределы». Этот трактат Гоголь переписал для себя в отдельную тетрадь и считал, что он получит отклик во многих странах. (См. последнюю публикацию трактата: Литературная учеба. 1991. Кн. 3). Не прошел также Гоголь и мимо известного письма П. Я. Чаадаева к французскому публицисту Адольфу де Сиркуру по проблеме Россия и Запад (тоже кон. 1844 — нач. 1845 г.). По всей вероятности, Гоголь познакомился с этим письмом еще зимой 1845 г., будучи в Париже. «Наша <..> Церковь по существу, — писал Чаадаев своему адресату, — Церковь аскетическая, как ваша по существу — социальная: отсюда равнодущие одной ко всему, что совершается вне ее, и живое участие другой ко всему на свете» (цит. по: Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М., 1989. С. 296). Заметим, однако, что эта мысль была далеко не новой для Гоголя. Сам он, например, еще в отрывке «Пленник» (1830-32 гг., согласно авторской датировке; впервые опубликовано в «Арабесках», 1835) выразил ее противопоставлением бесстрастного взгляда настоятеля православного монастыря «злобному» взгляду «иезуита». Также к в другой статье «Арабесок» — «Взгляде на составление Малороссии» — эта мысль высказана однозначно: «Монахи, настоятели, даже митрополиты были схимники, удалившиеся в свои кельи и закрывшие глаза для мира <..> Здесь была совершенная противоположность Западу...»

многосторонней христианской мудрости, она сузила взгляд свой на жизнь и мир и не может обхватить их. Полный и всесторонний взгляд на жизнь остался на ее Восточной половине, видимо сбереженной для позднейшего и полнейшего образования человека. В ней простор не только душе и сердцу человека, но и разуму, во всех его верховных силах; в ней дорога и путь, как устремить все в человеке в один согласный гимн верховному существу. Друг, не смущайся ничем! Если бы седмицею крат были запутанней нынешние обстоятельства — все примирит и распутает наша Церковь. Уже каким-то неведомым чутьем даже наши светские люди, толкающиеся среди нас, начинают слышать, что есть какое-то сокровище, от которого спасенье, — которое среди нас и которого не видим. Блеснет сокровище, и на всем отсветится блеск его. И время уже недалеко. Мы повторяем теперь еще бессмысленно слово «просвещение». Даже и не задумались над тем, откуда пришло это слово и что оно значит. Слова этого нет ни на каком языке, оно только у нас.<sup>108</sup> Просветить не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взято из нашей Церкви, которая уже почти тысячу лет его произносит, несмотря на все мраки и невежественные тьмы, отовсюду ее окружавшие, и знает, зачем произносит. Недаром архиерей, в торжественном служении своем, подъемля в обеих руках и троесвящник, знаменующий Троицу Бога, и двусвящник, знаменующий Его сходившее на землю Слово в двойном естестве Его, и Божеском и человеческом, всех ими освещает, произнося: «Свет Христов освещает всех!»<sup>109</sup> Недаром также в другом месте служенья гремят отрывочно, как бы с Неба, вслух всем слова: «Свет просвещенья!» — и ничего к ним не прибавляется больше.

1846

---

<sup>108</sup> Перебирая далее переводы возможных соответствий слову «просвещение» в других языках, Гоголь не находит в них оттенка, который отражал бы воздействие и на нравственную природу человека. Поэтому А. Григорьев, обративший внимание в статье «Гоголь и его последняя книга» на значение этого гоголевского слова, конечно, ошибался, когда полагал, что немецкое Aufklärung значит «решительно то же самое». Впрочем, утверждая это, он замечал тут же, что ему «непонятно в высшей степени... что Гоголь называет просвещением» (Русская эстетика и критика 40 — 50-х годов XIX века. М., 1982. С. 12). Гоголь употребляет это слово в его литургическом значении.

<sup>109</sup> Точнее: «Свет Христов просвещает всех!» — возглас священника на Литургии Преждеосвященных Даров, совершаемой Великим Постом по средам и пятницам. При этом возгласе полагается повергаться ниц.

# ЧЕТЫРЕ ПИСЬМА К РАЗНЫМ ЛИЦАМ ПО ПОВОДУ «МЕРТВЫХ ДУШ»<sup>110</sup>

## 1

Вы напрасно негодуете на неумеренный тон некоторых нападений на «Мертвые души». Это имеет свою хорошую сторону. Иногда нужно иметь противу себя озлобленных. Кто увлечен красотами, тот не видит недостатков и прощает всё; но кто озлоблен, тот постараётся выкопать в нас всю дрянь и выставить ее так ярко внаружу, что поневоле ее увидишь. Истину так редко приходится слышать, что уже за одну крупицу ее можно простить всякий оскорбительный голос, с каким бы она ни произносилась. В критиках Булгарина, Сенковского и Полевого есть много справедливого, начиная даже с данного мне совета поучиться прежде русской грамоте<sup>111</sup>, а потом уже писать. В самом деле, если бы я не торопился печатаньем рукописи и подержал ее у себя с год, я бы увидел потом и сам, что в таком неопрятном виде ей никак нельзя было являться в свет. Самые эпиграммы и насмешки надо мной были мне нужны, несмотря на то что с первого разу пришлись очень не по сердцу. О, как нам нужны беспрестанные щелчки, и этот оскорбительный тон, и эти едкие, пронимающие насквозь насмешки! На дне души нашей столько таится всякого мелкого, ничтожного самолюбия, щекотливого, скверного честолюбия, что нас ежеминутно следует колоть, поражать, бить всеми возможными орудиями, и мы должны благодарить ежеминутно нас поражающую руку.

Я бы желал, однако ж, побольше критик не со стороны литераторов, но со стороны людей, занятых делом самой жизни, со

---

<sup>110</sup> Адресаты писем неизвестны.

<sup>111</sup> Упреки Гоголю в плохом знании русского языка были общим местом современной ему критики. Так, Ф. В. Булгарин писал о «Мертвых душах», что «ни в одном русском сочинении нет столько безвкусия, грязных картин и доказательств совершенного незнания русского языка, как в этой поэме...» (Северная пчела. 1842. № 119), а Н. А. Полевой утверждал, что язык Гоголя «можно назвать собранием ошибок против логики и грамматики...» (Русский вестник. 1842. № 5 — 6. С. 41). В. Г. Белинский соглашался, что язык Гоголя «точно неправилен, нередко грешит против грамматики», но в то же время отмечал, что «у Гоголя есть нечто такое, что заставляет не замечать небрежности его языка — есть слог».

стороны практических людей; как на беду, кроме литераторов, не отзывался никто. А между тем «Мертвые души» произвели много шума, много ропота, задели за живое многих и насмешкой, и правдой, и карикатурой; коснулись порядка вещей, который у всех ежедневно перед глазами; исполнены промахов, анахронизмов, явного незнанья многих предметов<sup>112</sup>; местами даже с умыслом помещено обидное и задевающее: авось кто-нибудь меня выбранит хорошенько и в брани, в гневе выскажет мне правду, которой добиваюсь. И хоть бы одна душа подала голос! А мог всяк. И как бы еще умно! Служащий чиновник мог бы мне явно доказать, в виду всех, неправдоподобность моей изображенного события приведеньем двух-трех действительно случившихся дел и тем бы опроверг меня лучше всяких слов или таким же самым образом мог бы защитить и оправдать справедливость моей описанного. Приведеньем события случившегося лучше доказывается дело, нежели пустыми словами и литературными разглагольствованьями. Мог бы то же сделать и купец и помещик — словом, всякий грамотей, сидит ли он сиднем на месте или рыскает вдоль и поперек по всему лицу русской земли. Сверх собственного взгляда своего всяк человек, с того места или ступеньки в обществе, на которую поставили его должность, званье и образованье, имеет случай видеть тот же предмет с такой стороны, с которой, кроме его, никто другой не может видеть. По поводу «Мертвых душ» могла бы написаться всей толпой читателей другая книга, несравненно любопытнейшая «Мертвых душ», которая могла бы научить не только меня, но и самих читателей, потому что — нечего таить греха — все мы очень плохо знаем Россию.

И хоть бы одна душа заговорила во всеуслышанье! Точно как бы вымерло все, как бы в самом деле обитают в России не живые, а какие-то мертвые души. И меня же упрекают в плохом знанье России! Как будто непременно силой Святого Духа должен узнать я все, что ни делается во всех углах ее, — без наученья научиться! Но какими путями могу научиться я, писатель, осужденный уже самим званьем писателя на сидячую, затворническую жизнь, и притом еще больной и притом еще принужденный жить вдали от России, какими путями могу я научиться? Меня же не научат этому литераторы и журналисты, которые сами

---

<sup>112</sup> С. Т. Аксаков, передавая в письме к Гоголю от 3 — 5 июля 1842 г. разные tolki и замечания о «Мертвых душах», в частности писал: «Есть, впрочем, обвинения и справедливые. Я очень браню себя, что одно просмотрел, а на другом мало настаивал: крестьяне на вывод продаются с семействами, а Чичиков отказался от женского пола; без доверенности, выданной в присутственном месте, нельзя продать чужих крестьян, да и председатель не может быть в одно и то же время и доверенным лицом, и присутствующим по этому делу» (Переписка Н. В. Гоголя. Т. 2. С. 23-24).

затворники и люди кабинетные. У писателя только и есть один учитель — сами читатели. А читатели отказались поучить меня. Знаю, что дам сильный ответ Богу за то, что не исполнил как следует своего дела; но знаю, что дадут за меня ответ и другие. И говорю это недаром. Видит Бог, говорю недаром!

1843

2

Я предчувствовал, что все лирические отступления в поэме будут приняты в превратном смысле. Они так неясны, так мало вяжутся с предметами, проходящими перед глазами читателя, так невпопад складу и замашке всего сочинения, что ввели в равное заблуждение как противников, так и защитников. Все места, где ни заикнулся я неопределенно о писателе, были отнесены на мой счет; я краснел даже от изъяснений их в мою пользу.

И поделом мне! Ни в каком случае не следовало выдавать сочинения, которое хотя выкроено было недурно, но спшто кое-как белыми нитками, подобно платью, приносимому портным только для примерки. Дивлюсь только тому, что мало было сделано упреков в отношении к искусству и творческой науке. Этому помешало как гневное расположение моих критиков, так и непривычка всматриваться в постройку сочинения. Следовало показать, какие части чудовищно длинны в отношении к другим, где писатель изменил самому себе, не выдержав своего собственного, уже раз принятого тона. Никто не заметил даже, что последняя половина книги отработана меньше первой, что в ней великие пропуски, что главные и важные обстоятельства сжаты и сокращены, неважные и побочные распространены, что не столько выступает внутренний дух всего сочинения, сколько мечется в глаза пестрота частей и лоскнутость его. Словом, можно было много сделать нападений несравненно дельнейших, выбрать меня гораздо больше, нежели теперь бранят, и выбрать за дело. Но речь не о том. Речь о лирическом отступлении, на которое больше всего напали журналисты, видя в нем признаки самонадеянности, самохвальства и гордости, доселе еще неслыханной ни в одном писателе. Разумею то место в последней главе, когда, изобразив выезд Чичикова из города, писатель, на время оставляя своего героя среди столбовой дороги, становится сам на его место и, пораженный скучным однообразьем предметов, пустынной бесприютностью пространств наших и грустной песней, несущейся по всему лицу земли русской от моря до моря, обращается в лирическом воззванье к самой России, спрашивая у нее самой объясненья непонятного чувства, его объявившего, то есть: зачем и почему ему кажется, что будто всё, что ни есть в ней, от предмета одушевленного до

бездушного, вперило на него глаза свои и чего-то ждет от него. Слова эти были приняты за гордость и доселе неслыханное хвастовство, между тем как они ни то, ни другое. Это просто нескладное выраженье истинного чувства. Мне и доныне кажется то же. Я до сих пор не могу выносить тех заунывных, раздирающих звуков нашей песни, которая стремится по всем беспредельным русским пространствам. Звуки эти вются около моего сердца, и я даже дивлюсь, почему каждый не ощущает в себе того же. Кому при взгляде на эти пустынные, доселе не заселенные и бесприютные пространства не чувствуется тоска, кому в заунывных звуках нашей песни не слышатся болезненные упреки ему самому — именно ему самому, тот или уже весь исполнил свой долг как следует, или же он нерусский в душе. Разберем дело, как оно есть. Вот уже почти полтораста лет протекло с тех пор, как государь Петр I прочистил нам глаза чистилищем просвещенья европейского, дал в руки нам все средства и орудья для дела, и до сих пор остаются так же пустынны, грустны и безлюдны наши пространства, так же бесприютно и неприветливо все вокруг нас, точно как будто бы мы до сих пор еще не у себя дома, не под родной нашею крышей, но где-то остановились бесприютно на проезжей дороге, и дышит нам от России не радушным, родным приемом братьев, но какой-то холодной, занесенной выюгой почтовой станцией, где видится один ко всему равнодушный станиционный смотритель с черствым ответом: «Нет лошадей!» Отчего это? Кто виноват? Мы или правительство? Но правительство во все время действовало безустани. Свидетельством тому целые томы постановлений, узаконений и учреждений, множество настроенных домов, множество изданных книг, множество заведенных заведений всякого рода: учебных, человеколюбивых, богоугодных и, словом, даже таких, каких нигде в других государствах не заводят правительства. Сверху раздаются вопросы, ответы снизу. Сверху раздавались иногда такие вопросы, которые свидетельствуют о рыцарски великолужном движенье многих государей, действовавших даже в ущерб собственным выгодам. А как было на это все ответствовано снизу? Дело ведь в примененье, в уменье приложить данную мысль таким образом, чтобы она принялась и поселилась в нас. Указ, как бы он обдуман и определителен ни был, есть не более как бланковый лист, если не будет снизу такого же чистого желанья применить его к делу той именно стороной, какой нужно и какой следует и какую может прозреть только тот, кто просветлен понятием о справедливости Божеской, а не человеческой. Без того все обратится во зло. Доказательство тому все наши тонкие плуты и взяточники, которые умеют обойти всякий указ, для которых новый указ есть только новая пожива, новое средство загромоздить большей сложностью всякое отправление дел, бросить

новое бревно под ноги человеку! Словом — везде, куды ни обращусь, вижу, что виноват применитель, стало быть наш же брат: или виноват тем, что поторопился, желая слишком скоро прославиться и схватить орденишку; или виноват тем, что слишком сгоряча рванулся, желая, по русскому обычаю, показать свое самопожертвованье; не расспросясь разума, не рассмотрев в жару самого дела, стал им ворочать, как знаток, и потом вдруг, также по русскому обычаю, простыл, увидевши неудачу; или же виноват, наконец, тем, что из-за какого-нибудь оскорблённого мелкого честолюбия все бросил и то место, на котором было начал так благородно подвизаться, сдал первому плуту — пусть его грабит людей. Словом — у редкого из нас доставало столько любви к добру, чтобы он решился пожертвовать из-за него и честолюбем, и самолюбем, и всеми мелочами легко раздражавшегося своего эгоизма и положил самому себе в непременный закон — служить земле своей, а не себе, помня ежеминутно, что взял он место для счаствия других, а не для своего. Напротив, в последнее время, как бы еще нарочно, старался русский человек выставить всем на вид свою щекотливость во всех родах и мелочь раздражительного самолюбия своего на всех путях. Не знаю, много ли из нас таких, которые сделали все, что им следовало сделать, и которые могут сказать открыто перед целым светом, что их не может попрекнуть ни в чем Россия, что не глядит на них укоризненно всякий бездушный предмет ее пустынных пространств, что все ими довольно и ничего от них не ждет. Знаю только то, что я слышал себе упрек. Слышу его и теперь. И на моем поприще писателя, как оно ни скромно, можно было кое-что сделать на пользу более прочную. Что из того, что в моем сердце обитало всегда желанье добра и что единственное из-за него я взялся за перо? Кто исполнил его? Ну, хоть бы и это мое сочиненье, которое теперь вышло и которому название «Мертвые души», — произвело ли оно то впечатление, какое должно было произвести, если бы только было написано так, как следует? Своих же собственных мыслей простых, неголоволомных мыслей, я не сумел передать и сам же подал повод к истолкованию их в превратную и скорее вредную, чем полезную сторону. Кто виноват? Неужели мне говорить, что меня подталкивали просьбы приятелей или нетерпеливые желания любителей изящного, услаждающихя пустыми, скоропреходящими звуками? Неужели мне говорить, что меня притиснули обстоятельства, и, желая добыть необходимые для моего прожития деньги, я должен был поторопиться безвременным выпуском моей книги? Нет, кто решился исполнить свое дело честно, того не могут поколебать никакие обстоятельства, тот протянет руку и попросит милостыню, если уж до того дойдет дело, тот не посмотрит ни на какие временные нареканья, ниже пустые приличия света. Кто из пустых приличий света портит дело,

нужное своей земле, тот ее не любит. Я почувствовал презренную слабость моего характера, мое подлое малодушие, бессилие любви моей, а потому и услышал болезненный упрек себе во всем, что ни есть в России. Но высшая сила меня подняла: проступков нет неисправимых, и те же пустынные пространства, нанесшие тоску мне на душу, меня восторгнули великим простором своего пространства, широким поприщем для дел. От души было произнесено это обращенье к России: «В тебе ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться ему?» Оно было сказано не для картины или похвальбы: я это чувствовал; я это чувствую и теперь. В России теперь на всяком шагу можно сделаться богатырем. Всякое званье и место требует богатырства. Каждый из нас опозорил до того святыню своего званья и места (все места святы), что нужно богатырских сил на то, чтобы вознести их на законную высоту. Я слышал то великое поприще, которое никому из других народов теперь невозможно и только одному русскому возможно, потому что перед ним только такой простор и только его душе знакомо богатырство, — вот отчего у меня исторгнулось то восклицанье, которое приняли за мое хвастовство и мою самонадеянность!

1843

3

Охота же тебе, будучи таким знатоком и ведателем человека, задавать мне те же пустые запросы, которые умеют задать и другие. Половина их относится к тому, что еще впереди. Ну что толку в подобном любопытстве? Один только запрос умен и достоин тебя, и я бы желал, чтобы его мне сделали и другие, хотя не знаю, сумел ли бы на него отвечать умно, — именно запрос: отчего герои моих последних произведений, и в особенности «Мертвых душ», будучи далеки от того, чтобы быть портретами действительных людей, будучи сами по себе свойства совсем непривлекательного, неизвестно почему близки душе, точно как бы в сочинении их участвовало какое-нибудь обстоятельство душевное? Еще год назад мне было бы неловко отвечать на это даже и тебе. Теперь же прямо скажу все: герои мои потому близки душе, что они из души; все мои последние сочинения — история моей собственной души. А чтобы получше все это объяснить, определю тебе себя самого как писателя. Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека<sup>113</sup>, чтобы вся та мелочь, которая

<sup>113</sup> В. Г. Белинский в рецензии на «Выбранные места...» оспорил пушкинское определение «дара» Гоголя. «Гоголь сам соглашается, что особенность его

ускользает от глаз, мелькнула бы *крупно* в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее и которого, точно, нет у других писателей. Оно впоследствии углубилось во мне еще сильней от соединенья с ним некоторого душевного обстоятельства. Но этого я не в состоянии был открыть тогда даже и Пушкину.

Это свойство выступило с большей силою в «Мертвых душах». «Мертвые души» не потому так испугали Россию и произвели такой шум внутри ее, чтобы они раскрыли какие-нибудь ее раны или внутренние болезни, и не потому также, чтобы представили потрясающие картины торжествующего зла и страждущей невинности. Ничуть не бывало. Герои мои вовсе не злодеи; прибавь я только одну добрую черту любому из них, читатель помирится бы с ними всеми. Но пошлость всего вместе испугала читателей. Испугало их то, что один за другим следуют у меня герои один пошлее другого, что нет ни одного утешительного явления, что негде даже и приотдохнуть или перевести дух бедному читателю и что по прочтенье всей книги кажется, как бы точно вышел из какого-то душного погреба на Божий свет. Мне бы скорей простили, если бы я выставил картинных извергов; но пошлости не простили мне. Русского человека испугала его ничтожность более, чем все его пороки и недостатки. Явление замечательное! Испуг прекрасный! В ком такое сильное отвращенье от ничтожного, в том, верно, заключено все то, что противоположно ничтожному. Итак, вот в чем мое главное достоинство; но достоинство это, говорю вновь, не развилось бы во мне в такой силе, если бы с ним не соединилось мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная история. Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мной.

---

таланта состоит в умении «очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем». Ergo [Следовательно (*лат.*)] это явно талант мелкий и ничтожный» (Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 236). Особенность таланта Гоголя, — утверждал критик в «Ответе «Москвитянину», — «состоит не в исключительном только даре живописать ярко пошлость жизни, а проникать в полноту и реальность явлений жизни. <...> Ему дался не пошлый человек, а человек вообще, как он есть, не украшенный и не идеализированный» (Там же. С. 313). Суть дела, однако, заключается в том, что «пошлость» в понимании Гоголя — это свидетельство духовного убожества, которое есть в каждом человеке. Об этом см.: Зеньковский В. В. Н. В. Гоголь. Париж, [1961]. Герои Гоголя пошлы, т. к. они мертвы духовно. В понимании «мертвой» души как духовно умершей название гоголевской поэмы безусловно восходит к новозаветной традиции и святоотеческой литературе. Замысел Гоголя был созвучен словам апостола Павла в Первом послании к Коринфянам: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут...» (гл. 15, ст. 22).

Во мне не было какого-нибудь одного слишком сильного порока, который бы высунулся видней всех моих прочих пороков, все равно как не было также никакой картинной добродетели, которая могла бы придать мне какую-нибудь картинную наружность; но зато, вместо того, во мне заключилось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке. Бог дал мне многостороннюю природу. Он поселил мне также в душу, уже от рождения моего, несколько хороших свойств; но лучшее из них, за которое не умею, как возблагодарить Его, было желанье быть лучшим. Я не любил никогда моих дурных качеств, и если бы небесная любовь Божья не распорядила так, чтобы они открывались передо мною постепенно и понемногу, наместо того чтобы открыться вдруг и разом перед моими глазами, в то время как я не имел еще никакого понятия о всей неизмеримости Его бесконечного милосердия, — я бы повесился. По мере того как они стали открываться, чудным высшим внушением усиливалось во мне желанье избавляться от них; необыкновенным душевным событием я был наведен на то, чтобы передавать их моим героям. Какого рода было это событие, знать тебе не следует: если бы я видел в этом пользу для кого-нибудь, я бы это уже объявил. С этих пор я стал наделять своих героев сверх их собственных гадостей моей собственной дрянью. Вот как это делалось: взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом званье и на другом поприще, старался себе изобразить его в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобой, насмешкой и всем чем ни попало. Если бы кто увидал те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, он бы, точно, содрогнулся. Довольно сказать тебе только то, что когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мертвых душ», в том виде, как они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачней, сумрачней, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтенье кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» Меня это изумило. Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка! Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души, и вообще душевная правда, и в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма и пугающее *отсутствие света*. С этих пор я уже стал думать только о том, как бы смягчить то тягостное впечатление, которое могли произвести «Мертвые души». Я увидел, что многие из гадостей не стоят злобы; лучше показать всю ничтожность их, которая должна быть навеки их уделом. Притом мне хотелось попробовать, что скажет вообще русский человек, если его попотчеваешь его же собственной пошлостью. Вследствие уже давно

принятого плана «Мертвых душ» для первой части поэмы требовались именно люди ничтожные. Эти ничтожные люди, однако ж, ничуть не портреты с ничтожных людей; напротив, в них собраны черты от тех, которые считают себя лучшими других, разумеется только в разжалованном виде из генералов в солдаты. Тут, кроме моих собственных, есть даже черты многих моих приятелей, есть и твои. Я тебе это покажу после, когда это будет тебе нужно; до времени это моя тайна. Мне потребно было отобрать от всех прекрасных людей, которых я знал, все пошлое и гадкое, которое они захватили нечаянно, и возвратить законным их владельцам. Не спрашивай, зачем первая часть должна быть вся *пошлость* и зачем в ней все лица до единого должны быть пошлы: на это дадут тебе ответ другие томы, — вот и все! Первая часть, несмотря на все свои несовершенства, главное дело сделала: она поселила во всех отвращенье от моих героев и от их ничтожности; она разнесла некоторую мне нужную тоску от самих себя. Покамест для меня этого довольно; за другим я и не гоняюсь. Конечно, все это вышло бы гораздо значительней, если бы я, не торопясь выдачею в свет, обработал ее получше. Герои мои еще не отделились вполне от меня самого, а потому не получили настоящей самостоятельности. Еще не поселил я их твердо на той земле, на которой им быть должно, и не вошли они в круг наших обычаев, обставясь всеми обстоятельствами действительно русской жизни. Еще вся книга не более как недоносок; но дух ее разнесся уже от нее незримо, и самое ее раннее появление может быть полезно мне тем, что подвигнет моих читателей указать все промахи<sup>114</sup> относительно общественных и частных порядков внутри России. Вот если бы ты, вместо того чтобы предлагать мне пустые запросы (которыми напичкал половину письма своего и которые ни к чему не ведут, кроме удовлетворения какого-то праздного любопытства), да собрал бы вместо того дельные замечания на мою книгу, как свои так и других умных людей, занятых, подобно тебе, жизнью опытною и дельною, да присоединил бы к этому множество событий и анекдотов, какие ни случались в околотке вашем и во всей губернии, в подтвержденье или в опровержение всякого дела в моей книге, которых можно бы десятками прибрать на всякую страницу, — тогда бы ты сделал доброе дело, и я бы сказал тебе мое крепкое спасибо. Как бы от этого раздвинулся мой кругозор! Как бы освежилась моя голова и как бы успешней пошло мое дело! Но того, о чём я прошу, никто не исполняет: мои запросы никто не считает важными, а только уважает свои; а иной даже требует от меня

<sup>114</sup> Вышедшее в конце 1846 г. второе издание первого тома «Мертвых душ» Гоголь сопроводил предисловием «К читателю от сочинителя», где просил присыпать ему замечания на книгу.

какой-то искренности и откровенности, не понимая сам, чего он требует. И к чему это пустое любопытство знать вперед и эта пустая, ни к чему не ведущая торопливость, которой, как я замечаю, уже и ты начинаешь заражаться? Смотри, как в природе совершаются все чинно и мудро, в каком стройном законе, и как все разумно исходит одно из другого! Одни мы, Бог весть из чего, мечемся. Все торопится. Все в какой-то горячке. Ну, взвесил ли ты хорошенъко слова свои: «Второй том нужен теперь необходимо»? Чтобы я из-за того только, что есть против меня всеобщее неудовольствие, стал торопиться вторым томом так же глупо, как поторопился с первым. Да разве уж я совсем выжил из ума? Неудовольствие это мне нужно; в неудовольствии человек хоть что-нибудь мне выскажет. И откуда вывел ты заключенье, что второй том именно теперь нужен? Залез ты разве в мою голову? почувствовал существо второго тома? По-твоему, он нужен теперь, а по-моему, не раньше как через два-три года, да и то еще принимая в соображение попутный ход обстоятельств и времени. Кто ж из нас прав? Тот ли, у кого второй том уже сидит в голове, или тот, который даже и не знает, в чем состоит второй том? Какая странная мода теперь завелась на Руси! Сам человек лежит на боку, к делу настоящему ленив, а другого торопит, точно как будто непременно другой должен изо всех сил тянуть от радости, что его приятель лежит на боку. Чуть заметят, что хотя один человек занялся серьезно каким-нибудь делом, уж его торопят со всех сторон, и потом его же выбраият, если сделает глупо, — скажут: «Зачем поторопился?» Но оканчиваю тебе поученье. На твой умный вопрос я отвечал и даже сказал тебе то, чего доселе не говорил еще никому. Не думай, однако же, после этой исповеди, чтобы я сам был такой же урод, каковы мои герои. Нет, я не похож на них. Я люблю добро, я ищу его и сгораю им; но я не люблю моих мерзостей и не держу их руку, как мои герои; я не люблю тех низостей моих, которые отдаляют меня от добра. Я воюю с ними, и буду воевать, и изгоню их, и мне в этом поможет Бог. И это вздор, что выпустили глупые светские умники, будто человеку только и возможно воспитать себя, покуда он в школе, а после уж и черты нельзя изменить в себе: только в глупой светской башке могла образоваться такая глупая мысль. Я уже от многих своих гадостей избавился тем, что передал их своим героям, обсмеял их в них и заставил других также над ними посмеяться. Я оторвался уже от многого тем, что, лишивши картишного вида и рыцарской маски, под которую выезжает козырем всякая мерзость наша, поставил ее рядом с той гадостью, которая всем видна. И когда поверью себя на исповеди перед Тем, Кто повелел мне быть в мире и освобождаться от моих недостатков, вижу много в себе пороков; но они уже не те, которые были в прошлом году: святая сила помогла мне от тех оторваться. А тебе советую не пропустить

мимо ушей этих слов, но по прочтенье моего письма оставаться одному на несколько минут и, от всего отделясь, взглянуть хорошенъко на самого себя, перебравши перед собою всю свою жизнь, чтобы проверить на деле истину слов моих. В этом же моем ответе найдешь ответ и на другие запросы, если попристальней взглядишься. Тебе объяснится также и то, почему не выставлял я до сих пор читателю явлений утешительных и не избирал в мои герои добродетельных людей. Их в голове не выдумаешь. Пока не станешь сам хотя сколько-нибудь на них походить, пока не добудешь медным лбом и не завоюешь силою в душу несколько добрых качеств — мертвчина будет все, что ни напишет перо твое, и, как земля от Неба, будет далеко от правды. Выдумывать кошмаров — я также не выдумал, кошмары эти давили мою собственную душу: что было в душе, то из нее и вышло.

1843

4

Затем сожжен второй том «Мертвых душ»<sup>115</sup>, что так было нужно. «Не оживет, аще не умрет», — говорит апостол.<sup>116</sup> Нужно прежде умереть, для того чтобы воскреснуть. Не легко было сжечь пятилетний труд, производимый с такими болезненными напряжениями, где всякая строка досталась потрясением, где было много того, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу. Но все было сожжено, и притом в ту минуту, когда, видя перед собою смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь, обо мне лучше напоминающее. Благодарю Бога, что дал мне силу это сделать. Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержанье вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра, и я вдруг увидел, в каком еще беспорядке было то, что я считал уже порядочным и стройным. Появление второго тома в том виде, в каком он был, произвело бы скорее вред, нежели пользу. Нужно принимать в соображение не наслаждение каких-нибудь, любителей искусств и

---

<sup>115</sup> Н. С. Тихонравов приурочивает сожжение второго тома к началу 1845 г. Основанием для такой датировки служат слова самого Гоголя: «По все было сожжено, и притом в ту минуту, когда, видя перед собою смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь, обо мне лучше напоминающее» (см. наст. изд., с. 133). Однако Гоголь, по всей видимости, уничтожил незаконченную рукопись. Е. А. Хитрово в своем дневнике передает разговор одной дамы с Гоголем (в январе 1851 г.), спросившей его, скоро ли выйдет окончание «Мертвых душ». На что тот ответил: «Я думаю — через год». «Так они не сожжены?» — «Ведь это только начало было...» (Русский архив. 1902. № 3. С. 551).

<sup>116</sup> Слова апостола Павла из Первого послания к Коринфянам (гл. 15, ст. 36).

литературы, но всех читателей, для которых писались «Мертвые души». Вывести несколько прекрасных характеров, обнаруживающих высокое благородство нашей породы, ни к чему не поведет. Оно возбудит только одну пустую гордость и хвастовство. Многие у нас уже и теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не в меру русскими доблестями и думают вовсе не о том, чтобы их углубить и воспитать в себе, но чтобы выставить их напоказ и сказать Европе: «Смотрите, немцы: мы лучше вас!» Это хвастовство — губитель всего. Оно раздражает других и наносит вред самому хвастуну. Наилучшее дело можно превратить в грязь, если только им похвалишься и похвастаешь. А у нас, еще не сделавши дела, им хвастаются! Хвастаются будущим! Нет, по мне, уже лучше временное уныние и тоска от самого себя, чем самонадеянность в себе. В первом случае человек, по крайней мере, увидит свою презренность, подлое ничтожество свое и вспомнит невольно о Боге, возносящем и выводящем все из глубины ничтожества; в последнем же случае он убежит от самого себя прямо в руки к черту, отцу самонадеянности, дымным надмением своих доблестей надевающему человеку. Нет, бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколенье к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бывает время, что даже вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого. Последнее обстоятельство было мало и слабо развито во втором томе «Мертвых душ», а оно должно было быть едва ли не главное; а потому он и сожжен. Не судите обо мне и не выводите своих заключений: вы ошибаетесь, подобно тем из моих приятелей, которые, создавши из меня свой собственный идеал писателя, сообразно своему собственному образу мыслей о писателе, начали было от меня требовать, чтобы я отвечал ими же созданному идеалу. Создал меня Бог и не скрыл от меня назначенья моего. Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной. Дело мое проще и ближе: дело мое есть то, о котором прежде всего должен подумать всякий человек, не только один я. Дело мое — *душа и прочное дело жизни*. А потому и образ действий моих должен быть прочен, и сочиять я должен прочно. Мне незачем торопиться; пусть их торопятся другие! Жгу, когда нужно жечь, и, верно, поступаю как нужно, потому что без молитвы не приступаю ни к чему. Опасения же ваши насчет хилого моего здоровья, которое, может быть, не позволит мне написать второго тома, напрасны. Здоровье мое очень хило, это правда; временами бывает мне так тяжело, что без Бога и не перенес бы. К изнурению сил прибавилась еще и зябкость в такой мере, что не знаю, как и чем согреться: нужно делать движенье, а делать движенье — нет сил. Едва час в день выберется для труда, и тот не всегда свежий. Но

ничуть не уменьшается моя надежда. Тот, Кто горем, недугами и препятствиями ускорил развитие сил и мыслей моих, без которых я бы и не замыслил своего труда, Кто выработал большую половину его в голове моей, Тот даст силу совершить и остальную — положить на бумагу. Дряхлею телом, но не духом. В духе, напротив, все крепнет и становится тверже; будет крепость и в теле. Верю, что, если придет урочное время, в несколько недель совершится то, над чем провел пять болезненных лет.

1846

## XIX

### НУЖНО ЛЮБИТЬ РОССИЮ

(Из письма к гр. А. П. Т.....му)<sup>117</sup>

Без любви к Богу никому не спасти, а любви к Богу у вас нет. В монастыре ее не найдете; в монастыре идут одни, которых уже позвал туда Сам Бог. Без воли Бога нельзя и полюбить Его. Да и как полюбить Того, Которого никто не видал? Какими молитвами — и усилиями вымолить у Него эту любовь? Смотрите, сколько есть теперь на свете добрых и прекрасных людей, которые добиваются жарко этой любви и слышат одну только черствость да холодную пустоту в душах. Трудно полюбить того, кого никто не видал. Один Христос принес и возвестил нам тайну, что в любви к братьям получаем любовь к Богу.<sup>118</sup> Стоит

<sup>117</sup> Адресовано А. П. Толстому. См. о нем comment. к главе ///. Значение болезней. Данное письмо, как и следующее, XX, было запрещено цензурой. 22 февраля н. ст. 1847 г. Гоголь писал А. О. Смирновой: «Вся цензурная проделка для меня покамест темна и не разгадана. Знаю только то, что цензор (А. В. Никитенко. — В. В., И. В.) был, кажется, в руках людей так называемого европейского взгляда, одолеваемых духом всякого рода преобразований, которым было неприятно появление моей книги». Впервые опубликовано Ф. И. Чижовым в кн.: Полное собрание сочинений Н. В. Гоголя. Второе издание его наследников, пополненное по рукописи автора. Т. 3. М., 1867.

<sup>118</sup> Эти строки восходят к словам апостола Иоанна Богослова в Первом Соборном послании: «Аще кто речет, яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть: ибо не любя брата своего, егоже виде. Бога, Егоже не виде, како может любити?» (гл. 4, ст. 20). Толкование этих слов находим в гоголевской выписке «О почитании святых (Из частного письма протоиерея Сабинина)», где сказано: «Еще более относится это к святым нашим собратиям, совершеннейшим нежели

только полюбить их так, как приказал Христос, и сама собой выйдет в итоге любовь к Богу Самому. Идите же в мир и приобретите прежде любовь к братьям.

Но как полюбить братьев, как полюбить людей? Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несовершены и так в них мало прекрасного! Как же сделать это? Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский. Для русского теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если только возлюбит русский Россию, возлюбит и все, что ни есть в России. К этой любви нас ведет теперь Сам Бог. Без болезней и страданий, которые в таком множестве накопились внутри ее и которых виною мы сами, не почувствовал бы никто из нас к ней состраданья. А состраданье есть уже начало любви. Уже крики на бесчинства, неправды и взятки — не просто негодованье благородных на бесчестных, но вопль всей земли, послышавшей, что чужеземные враги вторгнулись в бесчисленном множестве, рассыпались по домам и наложили тяжелое ярмо на каждого человека; уже и те, которые приняли добровольно к себе в дома этих страшных врагов душевных, хотят от них освободиться сами, и не знают, как это сделать, и все сливаются в один потрясающий вопль, уже и бесчувственные подвигаются. Но прямой любви еще не слышно ни в ком, — ее нет также и у вас. Вы еще не любите Россию: вы умеете только печалиться да раздражаться слухами обо всем дурном, что в ней ни делается, в вас все это производит только одну черствую досаду да уныние. Нет, это еще не любовь, далеко вам до любви, это разве только одно слишком еще отдаленное ее предвестие. Нет, если вы действительно полюбите Россию, у вас пропадет тогда сама собой та близорукая мысль, которая зародилась теперь у многих честных и даже весьма умных людей, то есть, будто в теперешнее время они уже ничего не могут сделать для России и будто они ей уже не нужны совсем; напротив, тогда только во всей силе вы почувствуете, что любовь всемогуща и что с ней возможно все сделать. Нет, если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться

---

мы, которых наша Православная Церковь признает к тому же нашими посредниками между Богом и нами» (Петров Н. И. Новые материалы для изучения религиозно-нравственных взглядов Н. В. Гоголя // Труды Киевской Духовной академии. 1902. Т. 2. № 6. С. 315). См. наст. изд., с. 357.

Доктор А. Т. Тарабенков вспоминает в своих записках. «Однажды зашел у нас разговор о любви к Богу. Я припомнил ему слова из Нового Завета: «Не любя брата своего, его же виде, Бога, Его же не виде, како может любити?» <...> и пожелал узнать от него: не думает ли он, что любовь к Богу можно выражать только любовью к человечеству? Он отвечал, что любовь к Богу есть еще высшее развитие любви христианской, прекрасно объясненное у писателей Церкви» (Тарабенков А. Т. Последние дни жизни Н. В. Гоголя. М., 1902. С. 13).

служить ей; не в губернаторы, но в капитан-исправники пойдете, — последнее место, какое ни отыщется в ней, возьмете, предпочитая одну крупицу деятельности на нем всей вашей нынешней, бездейственной и праздной жизни. Нет, вы еще не любите Россию. А не полюбивши России, не полюбить вам своих братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не возгоревшихся любовью к Богу, не спастись вам.

1844

## XX

### НУЖНО ПРОЕЗДИТЬСЯ ПО РОССИИ

(Из письма к гр. А. П. Т.....му)<sup>119</sup>

Нет выше званья, как монашеское, и да сподобит нас Бог надеть когда-нибудь простую ризу чернеца, так желанную душе моей, о которой уже и помышленье мне в радость. Но без зова Божьего этого не сделать. Чтобы приобрести право удалиться от мира, нужно уметь расстаться с миром. «Раздай все имущество свое нищим и потом уже ступай в монастырь», — так говорится всем туда идущим. У вас есть богатство, вы его можете раздать нищим; но что же мне раздать? Имущество мое не в деньгах. Бог мне помог накопить несколько умного и душевного добра и дал некоторые способности, полезные и нужные другим — стало быть, я должен раздать это имущество не имущим его, а потом уже идти в монастырь. Но и вы одной денежной раздачей не получите на то права. Если бы вы были привязаны к вашему богатству и вам было бы с ним тяжело расставаться, тогда другое дело; но вы к нему охладели, для вас оно теперь ничто, — где ж ваш подвиг и ваше пожертвование? Или выбросивши за окошко ненужную вещь — значит сделать добро своему брату, разумея добро в высоком смысле христианском? Нет, для вас так же, как и для меня, заперты двери желанной обители. Монастырь ваш — Россия! Облеките же себя умственно ризой чернеца и, всего себя умертвивши для себя, но не для нее, ступайте подвизаться в ней. Она зовет теперь сынов своих еще крепче, нежели когда-либо прежде. Уже душа в ней болит, и раздается крик ее душевной болезни. Друг мой! или

<sup>119</sup> Письмо адресовано тому же лицу. Опубликовано впервые Ф. И. Чижовым в третьем томе Полного собрания сочинений Н. В. Гоголя (М., 1867).

у вас бесчувственно сердце, или вы не знаете, что такое для русского Россия. Вспомните, что когда приходила беда ей, тогда из монастырей выходили монахи и становились в ряды с другими спасать ее. Чернецы Ослябя и Пересвет, с благословеня самого настоятеля, взяли в руки меч<sup>120</sup>, противный христианину, и легли на кровавом поле битвы, а вы не хотите взять поприща мирного гражданина, и где же? — в самом сердце России. Не отговаривайтесь вашей неспособностью, — у вас есть много того, что теперь для России потребно и нужно. Бывши губернатором в двух совершенно противоположных губерниях, исполнивши это дело, несмотря на все ваши тогдашние недостатки, получше многих, вы набрались прямых и положительных сведений о делах, внутри происходящих, и узнали в истинном виде Россию. Но не это главное, и я бы вас не склонял так служить, несмотря на все сведения ваши, если бы не видел в вас одно то свойство, которое, по моему мнению, значительнее всех прочих, — свойство, не хлопотав ничего, не работая самому, почти ленясь, уметь заставить всех других работать. У вас все двигалось быстро и ходко; и когда, изумляясь, спрашивали у вас самих: «Отчего это?» — вы отвечали: «Все от чиновников, попались хорошие чиновники, которые не дают ничего мне делать самому»; и когда шло дело до представления к наградам, вы всегда выводили вперед ваших чиновников, приписывая все им, а себе ничего. Вот ваше главное достоинство, не говоря уже об уменье выбрать самих чиновников. Не мудрено, что у вас чиновники рвались изо всех сил, и один записался до того, что нажил чахотку и умер, как ни старались вы оттащить его от дела. Чего не сделает русский человек, если станет таким образом поступать с ним начальник! Это ваше свойство слишком теперь нужно, именно теперь, в это время себялюбья, когда всякий начальник думает о том, как бы выставить вперед себя и приписать все одному себе. Говорю вам, что с этим вашим свойством вы теперь слишком нужны России... и грех вам, что вы даже не слышите этого! Грех был бы и мне, если бы я не выставил вам этого свойства. Оно есть ваше лучшее имущество; его от вас просят неимущие, а вы, как скряга, заперли его под замок и еще прикидываетесь глухим. Положим, вам теперь неприлично занять то же самое место, какое занимали назад тому десять лет, не потому, чтобы оно было низко для вас, — слава Богу, честолюбия вы не имеете и в ваших глазах никакая служба не низка, — но потому, что ваши способности, развившись, требуют уже для

---

<sup>120</sup> Монахи Троицкой лавры Родион Ослябя (в мире Роман) и Александр Пересвет по благословению Преп. Сергия Радонежского (ок. 1321 — 1392) приняли участие в Куликовской битве (1380). Александр Пересвет пал в поединке с татарским богатырем Темир-мурзой (Челибесем). Ослябя жил по крайней мере до 1398 г., под которым он упоминается в летописи как принявший участие в посольстве в Царьград. Оба похоронены в Симоновом монастыре в Москве.

собственной пищи другого, просторнейшего поприща. Что ж? разве мало мест и поприщ в России? Оглянитесь и обсмотритесь хорошенько, и вы его отыщете. Вам нужно проездиться по России. Вы знали ее назад тому десять лет: это теперь недостаточно. В десять лет внутри России столько совершается событий, сколько в другом государстве не совершился в полвека. Вы сами заметили, живя здесь, за границей, что в последние два, три года даже начали выходить из нее и люди совершенно другие, не похожие ни в чем с теми, которых вы знали еще не так давно. Чтобы узнать, что такое *Россия нынешняя*, нужно непременно по ней проездиться самому. Слухам не верьте никаким. Верно только то, что еще никогда не бывало в России такого необыкновенного разнообразия и несходства во мнениях и верованиях всех людей, никогда еще различие образований и вое питанья не оттолкнуло так друг от друга всех и не произвело такого разлада во всем. Сквозь все это пронесся дух сплетней, пустых поверхностных выводов, глупейших слухов, односторонних и ничтожных заключений. Все это сбило и спутало до того у каждого его мненье о России, что решительно нельзя верить никому. Нужно самому узнавать, нужно проездиться по России. Это особенно хорошо для того, кто побыл некоторое время от нее вдали и приехал с неотуманенной и свежей головою. Он увидит много того, чего не видит человек, находящийся в самом омуте, раздражительный и чувствительный к животрепещущим интересам минуты. Сделайте ваше путешествие вот таким образом: прежде всего выбросьте из вашей головы все до одного ваши мненья о России, какие у вас ни есть, откажитесь от собственных своих выводов, какие уже успели сделать, представьте себя ровно не знающим ничего и поезжайте как в новую дотоле вам неизвестную землю. Таким же самым образом, как русский путешественник, приезжая в каждый значительный европейский город, спешит увидеть все его древности и примечательности, таким же точно образом и еще с большим любопытством, приехавши в первый уездный или губернский город, старайтесь узнать его достопримечательности. Они не в архитектурных строениях и древностях, но в людях. Клянусь, человек стоит того, чтоб его рассматривать с большим любопытством, нежели фабрику и развалину. Попробуйте только на него взглянуть, вооружась одной каплей истинно братской любви к нему, и вы от него уже не оторветесь — так он станет для вас занимателен. Познакомьтесь прежде всего с теми из них, которые составляют соль каждого города или округа; таких бывает человека два-три в каждом городе. Они вам в немногих чертах очертят весь город, так что вам будет видно уже самому, где и в каких местах производить наиболее наблюденье над нынешними вещами. Разговорясь с человеком передовым из каждого сословия (с вами же все так охотно разговариваются и развертываются чуть не нараспашку), вы

от него узнаете, что такое всякое сословие в его нынешнем виде. Расторопный и бойкий купец вдруг вам объяснит, что такое в их городе купечество; порядочный и трезвый мещанин даст понять о мещанстве. От чиновника-дельца узнаете должностное производство, а общий цвет и дух общества услышите сами. На передовых людей, однако ж, не весьма полагайтесь, лучше постараитесь расспросить двух или трех человек из каждого сословия. Не позабывайте того, что теперь все между собою в ссоре, и всяк друг на друга лжет и клевещет беспощадно. С духовенством вы сойдетесь вдруг, потому что с ним вообще вы знакомитесь скоро; от них узнаете остальное. И если вы таким образом проездите только по главным городам и пунктам России, то уже увидите ясно, как день, где и на каком месте вы можете быть полезны и о какой должности следует вам просить. А покуда вы уже одной поездкой вашей можете сделать много добра, если только захотите. В самом путешествии этом предстанут вам такие христианские подвиги, каких в самом монастыре не встретите. Во-первых, будучи приятны в разговоре, нравясь каждому, вы можете, как посторонний и свежий человек, стать третьим, примиряющим лицом. Знаете ли, как это важно, как это теперь нужно России и какой в этом высокий подвиг! Спаситель оценил его едва ли не выше всех других: Он прямо называет миротворцев сынами Божими.<sup>121</sup> А миротворцу у нас поприще повсюду. Все перессорилось: дворяне у нас между собой, как кошки с собаками; купцы между собой, как кошки с собаками; мещане между собой, как кошки с собаками; крестьяне, если только не устремлены побуждающей силой на дружескую работу, между собой, как кошки с собаками. Даже честные и добрые люди между собой в разладе; только между плутами видится что-то похожее на дружбу и соединение в то время, когда кого-нибудь из них сильно станут преследовать. Везде поприще примирителю. Не бойтесь, примирять не трудно. Людям трудно самим умириться между собою, но, как только станет между ними третий, он их вдруг примирит. Оттого-то у нас всегда имел такую силу третейский суд, истое произведенье земли нашей, успевавший доселе более всех других судов. В природе человека, и особенно русского, есть чудное свойство: как только заметит он, что

---

<sup>121</sup> «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Евангелие от Матфея, гл. 5, ст. 9). В уже упоминавшемся сборнике выписок из творений святых отцов и учителей Православной Церкви есть посвященный этой заповеди Спасителя отрывок под заглавием: «О Божестве миротворцев (св. Григория Нисского)». Слова Гоголя о том, что Спаситель оценил подвиг миротворцев «едва ли не выше всех других», прямо соотносятся с первыми строками этого отрывка: «Если зреть Бога есть высочайшее благо, то быть сыном Божиим, конечно, есть такое счастье, которое выше всякого счастия» (ОР ЦНБ АН Украины. Ф. Дис. 2165. Прил. С. 114).

другой сколько-нибудь к нему наклоняется или показывает снисхождение, он сам уже готов чуть не просить прощенья. Уступить никто не хочет первый, но как только один решился на великодушное дело, другой уже рвется как бы перещеголять его великодушьем. Вот почему у нас скорей, чем где-либо, могут быть прекращены самые застарелые ссоры и тяжбы, если только станет среди тяжущихся человек истинно благородный,уважаемый всеми и притом еще знаток человеческого сердца. А примиренье, повторяю вновь, теперь нужно: если бы только несколько честных людей, которые, из-за несогласия во мнении насчет одного какого-нибудь предмета, перечат друг другу в действиях, согласились подать друг другу руку, плутам было бы уже худо. Итак, вот вам одна часть подвигов, какие вам могут представиться на каждом шагу вашей поездки по России. Есть и другая, не меньше важная. Вы можете оказать большую услугу духовенству тех городов, через которые будете проезжать, познакомив их лучше с обществом, среди которого они живут, введя их в познание тех вещей и проделок, о которых не говорит вовсе на исповеди нынешний человек, считая их долженствующими быть вне христианской жизни. Это очень нужно, потому что многие из духовных, как я знаю, уныли от множества бесчинств, возникнувших в последнее время, почти уверились, что их никто теперь не слушает, что слова и проповедь роняются на воздух и зло пустило так глубоко свои корни, что нельзя уже и думать об его искорененье. Это несправедливо. Грешит нынешний человек, точно, несравненно больше, нежели когда-либо прежде, но грешит не от преизобиля своего собственного разврата, не от бесчувственности и не оттого, чтобы хотел грешить, но оттого, что не видит грехов своих. Еще не ясно и не совсем открылась страшная истина нынешнего века, что теперь все грешат до единого, но грешат не прямо, а косвенно. Этого еще не услышал хорошо и сам проповедник; оттого и проповедь его роняется на воздух, и люди глухи к словам его. Сказать: «Не крадьте, не роскошничайте, на берите взяток, молитесь и давайте милостыню неимущим» — теперь ничто и ничего не сделает. Кроме того, что всякий скажет: «Да ведь это уже известно», — но еще оправдается перед самим собой и найдет себя чуть не святым. Он скажет: «Красть я не краду: положи передо мной часы, червонцы, какую хочешь вещь — я ее не трону; я даже прогнал за воровство своего собственного человека; живу я, конечно, роскошно, но у меня нет ни детей, ни родственников, мне не для кого копить, роскошью я доставляю даже пользу, хлеб мастеровым, ремесленникам, купцам, фабрикантам; взятку я беру только с богатого, который сам просит об этом, которому это не в разоренье; молиться я молюсь, вот и теперь стою в церкви, крещусь и бью поклоны; помогать — помогаю: ни один нищий не уходит от меня без медного гроша, ни от

одного пожертвованья на какое-нибудь благотворительное заведение еще не отказывался». Словом, он увидит себя не только правым после такой проповеди, но еще возгордится своей безгрешностью.

Но если поднять перед ним занавесу и показать ему хотя часть тех ужасов, которые он производит *косвенно*, а не прямо, тогда он заговорит другое. Сказать честному, но близорукому богачу, что он, убирая свой дом и заводя у себя все на барскую ногу, вредит соблазном, поселяя в другом, менее богатом, такое же желание, который из-за того, чтобы не отстать от него, разоряет не только собственное, но и чужое имущество, грабит и пускает по миру людей; да вслед за этим и представить ему одну из тех ужасных картин голода внутри России, от которых дыбом поднимется у него волос и которых, может быть, не случилось бы, если бы не стал он жить на барскую ногу, да задавать тон обществу и кружить головы другим. Показать таким же самым образом всем модницам, которые не любят никуды появляться в одних и тех же платьях и, не донашивая ничего, нашивают кучи нового, следуя за малейшим уклонением моды, — показать им, что они вовсе не тем грешат, что занимаются этой суетностью и тратят деньги, но тем, что сделали такой образ жизни необходимостью для других, что муж иной жены схватил уже из-за этого взятку с своего же брата чиновника (положим, этот чиновник был богат; но, чтобы доставить взятку, он должен был наесться на менее богатого, а тот, с своей стороны, наел на какого-нибудь заседателя или станового пристава, а становой пристав уже невольно был принужден грабить нищих и неимущих), да вслед за этим и выставить всем модницам картину голода. Тогда им не пойдет на ум какая-нибудь шляпка или модное платье; увидят они, что не спасет их от страшного ответа перед Богом даже и деньги, выброшенная нищему, даже и те человеколюбивые заведения, которые заводят они в городах на счет ограбленных провинций. Нет, человек не бесчувствен, человек подвигнется, если только ему покажешь дело как есть. Он теперь подвигнется еще более, чем когда-либо прежде, потому что природа его размягчена, половина грехов его — от неведенья, а не от разврата. Он, как спасителя, облобызает того, который заставит его обратить взгляд на самого себя. Только слегка приподнями проповедник занавесу и укажи ему хотя одно из тех ежеминутных преступлений, которые он совершает, у него уже отнимется дух хвастать безгрешностью своей; не станет он оправдывать свою роскошь подлыми и жалкими софизмами, будто бы нужна она затем, чтобы доставлять хлеб мастеровым. Он и сам тогда смекнет, что разорить полдеревни или пол-уезда затем, чтобы доставить хлеб столяру Гамбсу<sup>122</sup>, есть вывод, который мог образоваться только в

---

<sup>122</sup> Эрнст Гамбс (1805 — 1849) — владелец модного мебельного магазина в

пустой голове эконома XIX века, а не в здоровой голове умного человека. А что же, если проповедник поднимет всю цепь того множества косвенных преступлений, которые совершает человек своею неосмотрительностью, гордостью и самоуверенностью в себе и покажет всю опасность нынешнего времени, среди которого всяк может погубить разом несколько душ, не только одну свою, среди которого, даже не будучи бесчестным, можно заставить других быть бесчестными и подлецами одною только своей неосмотрительностью, словом — если только сколько-нибудь покажет, как все опасно ходят? Нет, люди не будут глухи к словам его, не уронится на воздух ни одно слово его проповеди. А вы можете на это навести многих священников, сообщая сведения о всех проделках нынешнего люда, которые вы наберете в дороге. Но не одним священникам, вы можете и другим людям сделать этим пользу. Всем теперь нужны эти сведения.

Жизнь нужно показать человеку, — жизнь, взятую под углом ее нынешних запутанностей, а не прежних, — жизнь, оглянутую не поверхностным взглядом светского человека, но взвешенную и оцененную таким оценщиком, который взглянул на нее высшим взглядом христианина. Велико незнанье России посреди России. Все живет в иностранных журналах и газетах, а не в земле своей. Город не знает города, человек человека; люди, живущие только за одной стеной, кажется, как бы живут за морями. Вы можете во время вашей поездки их познакомить между собою и произвести взаимный благодетельный размен сведений, как расторопный купец, забравши сведения в одном городе, продать их с барышом в другом, всех обогатить и в то же время разбогатеть самому больше всех. Подвиг на подвиге предстоит вам на всяком шагу, и вы этого не видите! Очнитесь! Куриная слепота на глазах ваших! Не залучить вам любви к себе в душу. Не полюбить вам людей по тех пор, пока не послужите им. Какой слуга может привязаться к своему господину, который от него вдали и на которого еще не поработал он лично? Потому и любимо так сильно дитя матерью, что она долго его носила в себе, все употребила на него и вся из-за него выстрадала. Очнитесь! Монастырь ваш — Россия!

1845

---

Петербурге. Он упомянут во втором томе «Мертвых душ» в рассуждении Гоголя о разорительности роскоши: «Ведь всякий из нас чем-нибудь попользуется <...> тот крадет у детей своих ради какой-нибудь приезжей актрисы, тот у крестьян ради мебели Гамбса...»

## ЧТО ТАКОЕ ГУБЕРНАТОРША

(Письмо к А. О. С.....ой)<sup>123</sup>

Я рад, что здоровье ваше лучше; мое же здоровье... но в сторону наши здоровья; мы должны позабыть о них, так же, как и о себе. Итак, вы возвращаетесь вновь в ваш губернский город. Вы должны с новыми силами возлюбить его, — он ваш, он вверен вам, он должен быть вашим родным. Вы напрасно начинаете думать вновь, что ваше присутствие относительно деятельности общественной в нем совершенно бесполезно, что общество испорчено в корне. Вы просто устали — вот и все. Деятельность губернаторше предстоит всюду, на всяком шагу. Она даже и тогда производит влияние, когда ничего не делает. Вы сами уже знаете, что дело не в суетах и в опрометчивых бросаниях на все. Перед вами два живые примера, которых вы сами назвали. Предшественница ваша Ж\*\*\*<sup>124</sup> завела кучу благотворительных заведений, а с ними вместе — и кучи бумажной переписки и возни, экономов, секретарей, кражу, бестолковщину, прославилась благотворительностью в Петербурге и наделала кутерьму в К\*\*\*; княгиня же О\*\*\*<sup>125</sup>, бывшая до нее

<sup>123</sup> Адресовано А. О. Смирновой (см. о ней comment. к письму *VI. О помощи бедным*), муж которой, Н. М. Смирнов, в 1845 — 1851 гг. был калужским губернатором. В основе статьи лежит большое письмо Гоголя к А. О. Смирновой от 6 июля и. ст. 1846 г. Глава была запрещена цензурой. Впервые опубликована в газете «Современность и экономический листок» (1860. № 1), перепечатана под названием «Письмо Н. В. Гоголя» в журнале «Домашняя беседа» (1866. Вып. 6).

<sup>124</sup> Подразумевается Елизавета Николаевна Жуковская (1803 — 1856), жена калужского губернатора Н. В. Жуковского. 14 января 1846 г. А. О. Смирнова писала Гоголю о ней из Калуги: «Явилась сюда Жуковская, губернаторша, и завела все эти филантропические дома, комитеты, переписки набело, сношения с человеколюбивыми обществами, получила похвальные листы за добродетель и проч. Таким образом, я нашла уже подготовленную мне работу, но в таком виде, что душа моя не лежит ко всему этому» (Переписка Н. В. Гоголя. Т. 2. С. 172).

<sup>125</sup> Имеется в виду Аграфена Юрьевна Оболенская (рожденная Нелединская-Мелецкая; 1789 — 1828), жена князя А. ГГ. Оболенского, бывшего в 1825 — 1831 гг. калужским губернатором. Сведения об А. Ю. Оболенской Гоголь также берет из указанного письма к нему Смирновой от 14 января 1846 г., где, в частности, говорится: «Была здесь в старину княгиня Оболенская, дочь Нелединского, которая здесь и скончалась. Все сословия, начиная от нищих и до самых богатых, купцов и дворян, все единодушно по ней плакали. Она умерла тому лет 15, но

губернаторшей в том же вашем городе К\*\*\*, не завела никаких заведений, ни приютов, не прошумела нигде дальше своего города, не имела даже никакого влияния на своего мужа и не входила ни во что, собственно правительственные и официальные, а между тем доныне никто в городе не может о ней вспомнить без слез, и всяк, начиная от купца до последнего бобыля, до сих пор еще повторяет: «Нет, не будет другой никогда княгини О\*\*\*!» А кто это повторяет? Тот же самый город, для которого, вы полагаете, ничего невозможно сделать, — то же самое общество, которое вы считаете испорченным навеки. Итак, будто бы уж ничего нельзя сделать? Вы устали — вот и все! Устали оттого, что принялись слишком сгоряча, слишком понадеялись на собственные силы, женская прыть вас увлекла... Повторяю вам вновь то же самое, что прежде: ваше влияние сильно. Вы первое лицо в городе, с вас будут перенимать все до последней безделушки, благодаря обезьянству моды и вообще нашему русскому обезьянству. Вы будете законодательницей во всем. Если вы только собственные ваши дела станете обделять хорошо, то и сим уже сделаете влияние, потому что заставите других заняться получше собственными делами. Гоните роскошь (покамест нет других дел), уже и это благородное дело, оно же притом не требует ни суеты, ни издержек. Не пропускайте ни одного собрания и бала, приезжайте именно затем, чтобы показаться в одном и том же платье; три, четыре, пять, шесть раз надевайте одно и то же платье. Хвалите на всех только то, что дешево и просто. Словом, гоните эту гадкую, скверную роскошь, эту язву России, источник взяток, несправедливостей и мерзостей, какие у нас есть. Если вам только одно это удастся сделать, то вы уже более принесете существенной пользы, чем сама княгиня О\*\*\*. А это, как вы сами видите, даже не требует никаких пожертвований, даже и времени не отнимает. Друг мой, вы устали. Из ваших же прежних писем я вижу, что для начала вы уже успели сделать много хорошего (если бы не слишком торопились, вышло бы еще больше), о вас уже распространились слухи вне К\*\*\*; кое-что из них дошло и до меня. Но вы еще очень поспешны, вы еще слишком

---

память ее так жива во всех сердцах, что беспрестанно я слышу что-нибудь новое на ее счет. Муж ее был губернатором и очень посредственного ума; она ни во что не входила, но меж тем имела на всех самое благодетельное влияние. Она не завела ни одной школы, ни одного приюта и не собирала податей для нищих, а все повторяют в больницах, богадельнях, тюремных замках и в духовенстве: «Нет, уж не будет второй княгини Оболенской!» (Переписка Н. В. Гоголя. Т. 2. С. 171 — 172).

Об А. Ю. Оболенской и ее нравственном воздействии на жителей Калуги см.: Хроника недавней старины. Из архива князя Оболенского-Нелединского-Мелецкого. Спб., 1876. С. 290 — 291.

увлекаетесь, вас еще слишком шевелит и сражает всякая неприятность и гадость. Друг мой, вспомните вновь мои слова, в справедливости которых, говорите, что сами убедились: глядеть на весь город, как лекарь глядит на лазарет. Глядите же так, но прибавьте к этому еще кое-что, а именно: уверьте самую себя, что все больные, находящиеся в лазарете, суть ваши родные и близкие к сердцу вашему люди, тогда все пред вами изменится: вы с людьми примиритесь и будете враждовать только с их болезнями. Кто вам сказал, что болезни эти неизлечимы? Это вы сами себе сказали, потому что не нашли в руках у себя средства. Что ж, разве вы всезнающий доктор? А зачем вы не обратились с просьбой о помощи к другим? Разве я даром просил вас сообщить все, что ни есть в вашем городе, ввести меня в познание вашего города, чтобы я имел полное понятие о вашем городе? Зачем же вы этого не сделали, тем более что сами уверены, будто я могу на многое произвести больше влияния, чем вы; тем более что сами же приписываете мне некоторое не всем общее познание людей; тем более, наконец, что сами говорите, будто я вам помог в вашем душевном деле более, чем кто-либо другой? Неужели вы думаете, что я не сумел бы так же помочь и вашим неизлечимым больным? Ведь вы позабыли, что я могу и помолиться, молитва моя может достигнуть и до Бога, Бог может послать уму моему вразумление, а ум, вразумленный Богом, может сделать кое-что получше того ума, который не вразумлен Им.

До сих пор в ваших письмах вы мне давали только общие поятия о вашем городе, в чертах общих, которые могут принадлежать всякому губернскому городу; но и *общие* ваши не полны. Вы понадеялись на то, что я знаю Россию, как пять моих пальцев; а я в ней ровно не знаю ничего. Если я и знал кое-что, то и это со временем моего отъезда уже изменилось. В самом составе управления губерний произошли значительные перемены: многие места и чиновники отошли от зависимости губернатора и поступили в ведомство и управление других министерств; завелись новые чиновники и места, словом — губерния и губернский город являются относительно многих сторон в другом виде, а я просил вас ввести меня *совершенно* в ваше положение, не какое-либо *идеальное*, но *существенное*, чтобы я видел от мала до велика все, что вас окружает.

Вы сами говорите, что в небольшое время пребывания вашего в К\*\*\* узнали Россию более, чем во всю свою прежнюю жизнь<sup>126</sup>. Зачем же вы не поделились со мной вашими знаниями? Говорите, что не знаете

<sup>126</sup> 16 декабря 1845 г. А. О. Смирнова писала Гоголю из Калуги: «В этом месяце узнала я более о России и человечестве вообще, чем во все мое пребывание во дворце» (Переписка Н. В. Гоголя. Т. 2. С. 167).

даже, с которого конца начать, что куча сведений вами набрана в голову еще в беспорядке ( NB причина неудач). Я вам помогу их привести в порядок, но только выполните следующую за сим просьбу добросовестно, как только можно, — не так, как привыкла исполнять ваш брат — страстная женщина, которая из десяти слов восемь пропустит и ответит только на два, затем что они пришлись ей как-нибудь по сердцу, но так, как наш брат — холодный, бесстрастный мужчина, или, лучше, как деловой, толковый чиновник, который, ничего не принимая особенно к своему сердцу, отвечает ровно на все пункты.

Вы должны ради меня начать вновь рассмотрение вашего губернского города. Во-первых, вы мне должны назвать все главные лица в городе по именам, отчествам и фамилиям, всех чиновников до единого. Мне это нужно. Я должен быть им так же другом, как вы сами должны быть другом им всем без исключения. Во-вторых, вы должны мне написать, в чем именно должность каждого. Все это вы должны узнать лично от них самих, а не кого-либо другого. Разговорившись со всяkim, вы должны спросить его, в чем состоит его должность, чтобы он назвал вам все ее *предметы* и означил ее *пределы*. Это будет первый вопрос. Потом попросите его, чтобы он изъяснил вам, чем именно и сколько в этой должности, под условием нынешних обстоятельств, можно сделать добра. Это будет второй вопрос. Потом, что именно и сколько в этой же самой должности можно наделать зла. Это будет третий вопрос. Узнавши, отправляйтесь к себе в комнату и тот же час все это на бумагу для меня. Вы уже сим два дела сделаете разом: кроме того, что дадите мне средство впоследствии вам пригодиться, вы узнаете сами из собственных ответов чиновника, как понимает он свою должность, чего ему недостает, словом — своим ответом он обрисует самого себя. Он вас может даже навести на кое-что сделать теперь же... Но не в этом дело: до времени лучше не торопитесь; не делайте ничего даже и тогда, если бы вам показалось, что можете кое-что сделать и что в силах чему-нибудь помочь. Лучше пока еще попристальней всмотреться; довольствуйтесь покамест тем, чтобы передать мне. Потом на той же страничке, насупротив того же места или на другом лоскутке бумаги — ваши собственные замечания, что вы заметили о каждом господине в особенности, что говорят о нем другие, словом — все, что можно прибавить о нем со стороны.

Потом такие же сведения доставьте мне обо всей женской половине вашего города. Вы же были так умны, что сделали им всем визиты и почти их всех узнали. Впрочем узнали несовершенно, — я в этом уверен. Относительно женщин вы руководствуетесь первыми впечатлениями: которая вам не понравилась, вы ту оставляете. Вы ищете все избранных и лучших. Друг мой! за это я вам сделаю упрек. Вы

должны всех любить, особенно тех, в которых побольше дрянца, — по крайней мере, побольше узнать их, потому что от этого зависит многое и они могут иметь большое влияние на мужей. Не торопитесь, не спешите их наставлять, но просто только расспрашивайте; вы же имеете дар выспрашивать. Узнайте не только дела и занятия каждой, но даже образ мыслей, вкусы, что кто любит, что кому из них нравится, на чем конек каждой. Мне все это нужно. По-моему, чтобы помочь кому-либо, нужно узнать его всего насквозь, а без того я даже не понимаю, как можно кому-либо дать какой-либо совет. Всякий совет, какой ему ни дашь, будет обращен к нему своей трудной стороной, будет не легок, неудобоисполним. Словом, женщин — всех насквозь! чтобы я имел совершенное понятие о вашем городе.

Сверх характеров и лиц обоего пола, запишите всякое случившееся происшествие, сколько-нибудь характеризующее людей или вообще дух губернии, запишите бесхитростно, в таком виде, как было, или как, в каком его передали вам верные люди. Запишите также две-три сплетни на выдержку, какие первые вам попадутся, чтобы я знал, какого рода сплетни у вас плетутся. Сделайте, чтобы это записыванье сделалось постоянным вашим занятием, чтобы на это был определен положенный час в дне. Представляйте себе в мыслях, систематически и во всей полноте, весь объем города, чтобы видеть вдруг, не пропустили ли вы мне чего-либо записать, чтобы я получил наконец полное понятие о вашем городе.

И если вы меня таким образом познакомите со всеми лицами, с их должностями, и как они ими понимаются, и, наконец, даже с характером самих событий, у вас слушающихся, тогда я вам кое-что скажу, и вы увидите, что многое невозможное возможно и неисправимое исправимо. До тех же пор ничего не скажу именно потому, что могу ошибиться, а мне бы этого не хотелось. Мне бы хотелось говорить такие слова, которые попали бы прямо куда следует, ни выше, ни ниже того предмета, на который направлены, — такой дать совет, чтобы вы в ту же минуту сказали: «Он легок, его можно привести в исполнение».

Вот, однако же, кое-что вперед, и то не для вас, а для вашего супруга: попросите его прежде всего обратить внимание на то, чтобы советники губернского правления были честные люди. Это главное. Как только будут честны советники, тот же час будут честны капитан-исправники, заседатели, словом — все станет честно. Надобно вам знать (если вы этого еще не знаете), что самая безопасная взятка, которая ускользает от всяких преследований, есть та, которую чиновник берет с чиновника по команде сверху вниз; это идет иногда бесконечной лестницей. Капитан-исправник и заседатели часто уже потому должны

кривить душой и брать, что с них берут и что им нужны деньги для того, чтобы заплатить за свое место. Эта купля и продажа может производиться перед глазами и в то же время никем не быть замечена. Храни вас Бог даже и преследовать. Страйтесь только, чтобы сверху было все честно, снизу будет все честно само собою. До времени, пока не вызрело зло, не преследуйте никого; лучше действуйте тем временем нравственно. Мысль ваша, что губернатор всегда имеет возможность сделать много зла и мало добра и что на поприще добра он обрезан в действиях, не совсем справедлива. Губернатор может всегда иметь влияние *нравственное*, даже очень большое, подобно как и вы можете иметь большое *нравственное* влияние, хотя и не имеете власти, установленной законом. Поверьте, что не сделай он визита какому-нибудь господину, об этом будет весь город говорить, станут расспрашивать, за что и почему — и этот самый господин из-за этой единственной боязни струсит сделать подлость, которую он не струсил бы совершить пред лицом власти и закона. Ваш поступок, то есть ваш и вашего супруга, с уездным судьей М\*\*\* уезда<sup>127</sup>, которого вы нарочно вызвали в город с тем, чтобы примирить его с прокурором, почтить его радушным угощением и дружеским приемом за прямоту, благородство и честность, — поверьте, сделал уже свое действие. Мне нравится при этом случае то, что судья (который, как оказалось, был просвещеннейший человек) одет был таким образом, что его, как вы говорите, не приняли бы в переднюю петербургских гостиных. Хотел бы я в эту минуту поцеловать полу его заношенного фрака. Поверьте, что наилучший образ действий в нынешнее время — не вооружаться жестоко и жарко противу взяточников и дурных людей и не преследовать их, но стараться вместо того выставлять на вид всяческую честную черту, дружески, в виду всех, пожимать руку прямого, честного человека. Поверьте, что как только

<sup>127</sup> Имеется в виду мещовский уездный судья Клементьев, о котором Смирнова рассказала в письме к Гоголю от 21 февраля 1846 г. (см.: Переписка Н. В. Гоголя. Т. 2. С. 182–183). Позднее, 18 января 1851 г., А. О. Смирнова писала Гоголю: «У нас были в Калуге выборы, я увиделась с мещовским судьей Клементьевым; он всему уезду показался так горек, что его чуть не забаллотировали, однако, он удержался на своем месте. Он любит свою должность, ею дорожит и говорит, что без нее не может жить. <...> Клементьев был болен нервическим расстройством, но ему лучше, он очень набожен и пишет престранные вещи в религиозном отношении, не менее того очень замечательные. Мне сообщил свои мысли о моцах, которые он называет *моцъ* — сила, храмина, опочивальня Духа Божия, нам дарованного. Это целая теория, и есть связь во всем, что он говорит и пишет. Замечательно это одинокое, безотголосное духовное развитие, совершенно оригинальное, которое не развилось от чуждого влияния, а вылилось вследствие страданий и непрестанной молитвы. Что будет далее с ним, не знаю; но он, конечно, очень замечателен» (Русская старина. 1890. № 12. С. 662).

будет узнано во всей губернии, что губернатор поступает действительно так, — все дворянство уже будет на его стороне. В дворянстве нашем есть удивительная черта, которая меня всегда изумляла, это — чувство благородства, — не того благородства, которым заражено дворянство других земель, то есть не благородства рождения или происхождения и не европейского *point d'honneur*<sup>128</sup>, но настоящего, нравственного благородства. Даже в таких губерниях и таких местах, где, если разобрать порознь иного дворянина, выйдет просто дрянь, а вызови только на какой-нибудь действительно благородный подвиг — все вдруг поднимется точно каким-то электричеством, и люди, которые делают пакости, сделают вдруг благороднейшее дело. И потому всякий благородный поступок губернатора прежде всего найдет отклик в дворянстве. А это важно. Губернатор должен непременно иметь нравственное влияние на дворян, только сим одним он может подвигнуть их на поднятие невидных должностей и неприманчивых мест. А это нужно, потому что если дворянин из той же губернии возьмет какое-нибудь место с тем, чтобы показать, как надобно служить, то, каков бы он ни был сам, хотя и лентяй и многим нехорош, но исполнит так свое дело, как никогда не исполнит присланный чиновник, хотя бы он исшатался век в канцеляриях. Словом, ни в каком случае не должно упускать из виду того, что это те же самые дворяне, которые в двенадцатом году несли все на жертву, — все, что ни было у кого за душой.

Когда случится, по причине совершенных гадостей, предать иного чиновника суду, то в таком случае нужно, чтобы он предан был с *отрешением от дел*. Это очень важно. Ибо если он будет предан суду *без отрешения от дел*, то все служащее будет еще долго держать его сторону, он еще долго станет юлить и найдет средства так все запутать, что никогда не добратся до истины. Но как только он будет предан суду с *отрешением от дел*, он повесит вдруг нос, сделается никому не страшен, на него пойдут со всех сторон улики, всё выйдет на чистую воду и вдруг узнается все дело. Но, друг, ради Христа, не оставляйте вовсе спихнутого с места чиновника, как бы он дурен ни был: он несчастен. Он должен с рук вашего мужа перейти на ваши руки; он ваш. Не объясняйтесь с ним сами и не принимайте его, но следуйте за ним издали. Вы хорошо сделали, что выгнали надзирательницу при доме умалишенных за то, что она вздумала продавать булки, назначенные этим несчастным, — преступление вдвойне гадкое, приемля в соображенье то, что сумасшедшие не могут даже и пожаловаться, а потому изгнаны; ее нужно было сделать публично и гласно. Но не

---

<sup>128</sup> вопрос чести (*фр.*).

бросайте никакого человека, не отрезывайте возврата никому, следуйте за отрещенным; иногда с горя, с отчаяния, со стыда впадает он еще в большие преступления. Действуйте или через вашего духовника, или вообще через какого-нибудь умного священника, который бы навещал его и давал бы вам отчет о нем беспрестанно, а главное, старайтесь, чтобы он не оставался без какого-нибудь труда и дела. Не подобаетесь в этом случае *мертвому* закону, но *живому* Богу, Который всеми бичами несчастий поражает человека, но не оставляет его до самого конца его жизни. Каков бы ни был преступник, но если земля его еще носит и гром Божий не поразил его — это значит, что он держится на свете для того, чтобы кто-нибудь, тронувшись его участью, помог ему и спас его. Если же вас, во время ли описаний, которые вы станете делать для меня, или же во время ваших собственных исследований всяких недугов, будут слишком поражать наши печальные стороны и возмутится ваше сердце, — в таком случае советую вам беседовать об этом почаше с архиереем<sup>129</sup>; он же, как видно из слов ваших, умный человек и добрый пастырь. Покажите ему весь лазарет ваш и обнаружьте пред ним все болезни больных ваших. Хотя бы даже он был не большой знаток в науке лечить, то и тогда вы должны ввести его непременно во все припадки, признаки и явления болезней. Стадайтесь ему очертить все до последнего так живо, чтобы оно так и носилось у него перед глазами, чтобы город ваш, как живой, пребывал бы беспрестанно в мыслях его, как он должен беспрестанно пребывать в ваших мыслях, чтобы чрез то самое его мысли стремились сами собой на беспрестанную о нем молитву. Поверьте, что от этого самая проповедь его с каждым воскресеньем будет направляться более и более к сердцам слушателей, и он сумеет потом выставить многое начистоту и, не указывая лично ни на кого, сумеет поставить каждого лицом к лицу к его собственной мерзости, так что сам хозяин плонет на свое же добро. Обратите также внимание на городских священников, узнайте их всех непременно; от них зависит все, и дело улучшенья нашего в их руках, а не в руках кого-либо другого. Не пренебрегайте никем из них, несмотря на простоту и невежество многих. Их скорей можно возвратить к своему долгу, чем кого-либо из нас. У нас, светских, есть гордость, честолюбие, самолюбие, самоуверенность в своем совершенстве, вследствие которых никто у нас не послушается слов и уверений своего брата, как бы они справедливы ни были, наконец, самые развлеченья... Духовный же, каков бы он ни был, он все-таки более или менее чувствует, что ему должно быть всех смиреннее и всех ниже;

---

<sup>129</sup> Имеется в виду преосвященный Николай (Соколов), в 1834 — 1851 гг. епископ Калужский. О нем Смирнова писала Гоголю 14 января 1846 г. (см.: Переписка Н. В. Гоголя. Т. 2. С. 174).

притом уже в самом ежедневно отправляемом им служении он слышит себе напоминание, словом — он ближе всех нас к возврату на путь свой, а возвратясь на него сам, может возвратить и всех нас. И потому, хотя бы вы встретили из них вовсе неспособного, не пренебрегайте, но поговорите с ним хорошенъко. Расспросите у каждого, что такое его приход, чтобы он дал вам полное понятие, каковы у него в приходе люди и как он сам понимает и знает их. Не позабудьте, что я до сих пор не знаю, что такое в вашем городе мещанство и купечество; что они также начинают модничать и курить сигарки, это дело повсюдное; мне нужно взять из среды их *живьем* которого-нибудь, чтобы я видел его с ног до головы во всех подробностях. Итак, узнайте об них обо всех в подробности. Одну сторону этого дела вы узнаете от священников, другую от полицмейстера, если потрудитесь с ним хорошенъко разговориться об этом предмете, третью сторону узнаете от них самих, если не побрезгуете разговориться с которым-нибудь из них, хотя при выходе из церкви в воскресный день. Все забранные сведения послужат к тому, что очертят перед вами *примерный образ* мещанина и купца, чем он должен быть на самом деле; в уроде вы почувствуете идеал того, чего карикатурой стал урод. Если ж вы это почувствуете, тогда призываите священников и толкуйте с ними: вы им скажете именно то, что им нужно: самое существо всякого звания, то есть чем должно быть оно у нас, и карикатуру на это звание, то есть чем оно стало вследствие злоупотребления нашего. Больше не прибавляйте ничего. Он будет сам наведен на ум, если только станет исправлять свою собственную жизнь. Священникам нашим особенно нужна беседа с такими уже готовыми людьми, которые умели бы в немногих, но ярких и метких чертах очертить им пределы и обязанности всякого звания и должности. Часто, единственно из-за этого, иной из них не знает, как ему быть с прихожанами и слушателями, изъясняется общими местами, не обращенными никакой стороной непосредственно к предмету. Войдите также в его собственное положение, помогите его жене и детям, если приход у него беден. Кто погрубей и позадористей, погрозите тому *архиереем*; но вообще старайтесь лучше действовать нравственно. Напоминайте им, что обязанность их слишком страшна, что ответ они дадут больше, чем кто-нибудь из людей всякого другого звания, что теперь и синод, и сам государь обращают особенное внимание на жизнь священника, что всем готовится переборка, потому что не только высшее правительство, но даже все до единого в государстве частные люди начинают замечать, что причина злу всего есть та, что священники стали нерадиво исполнять свои должности... Объявляйте им почаше те страшные истины, от которых поневоле содрогнется их душа. Словом, не пренебрегайте никак городскими священниками. С помощью их

губернаторша может произвести много нравственного влияния на купечество, мещанство и всякое простое сословие, обитающее в городе, так много влияния, как даже вы представить теперь себе не можете. Я назову вам только немного из того, что она может сделать, и укажу на средства, как она может это сделать: во-первых... но я вспомнил, что я совершенно не имею никакого понятия о том, какого рода в вашем городе мещанство и купечество: слова мои могут прийтись не совсем кстати, лучше не произносить их вовсе; скажу вам только то, что вы изумитесь потом, когда увидите, сколько на этом поприще предстоит вам таких подвигов, от которых в несколько раз больше пользы, чем от приютов и всяких благотворительных заведений, которые не только не сопряжены ни с какими пожертвованиями и трудами, но обратятся в удовольствие, в отдохновенье и развлеченье духа.

Старайтесь всех избранных и лучших в городе подвигнуть также на деятельность общественную: всякий из них может сделать много почти подобного вам. Их можно подвигнуть. Если вы мне дадите только полное понятие об их характерах, образе жизни и занятиях, я вам скажу, чем и как их можно подстремить; есть в русском человеке сокровенные струны, которых он сам не знает, по которым можно так ударить, что он весь встрепенется. Вы мне уже назвали некоторых в вашем городе как людей умных и благородных; я уверен, что их отыщется даже и более. Не смотрите на отталкивающую наружность, не смотрите ни на неприятные замашки, грубость, черствость, неловкость обращения, ни даже на фанфаронство, щелкоперность поступков и всякие чересчур ловкие развязности. Мы все в последнее время обзавелись чем-то заносчиво-неприятным в обращении, но при всем том в глубине душ наших пребывает более чем когда-либо добрых чувств, несмотря на то, что мы загромоздили их всяким хламом и даже просто заплевали их сами. Особенно не пренебрегайте женщинами. Клянусь, женщины гораздо лучше нас, мужчин. В них больше великодушия, больше отважности на все благородное; не глядите на то, что они закружились в вихре моды и пустоты. Если только сумеете заговорить с ними языком самой души, если только сколько-нибудь сумеете очертить перед женщиной ее высокое поприще, которого ждет теперь от нее мир, — ее небесное поприще быть воздвиженницей нас на все прямое, благородное и честное, кликнуть клич человеку на благородное стремление, то та же самая женщина, которую вы считали пустой, благородно вспыхнет вся вдруг, взглянет на самую себя, на свои брошенные обязанности, подвигнет себя самую на все чистое, подвигнет своего мужа на исполнение честное долга и, швырнувши далеко в сторону свои тряпки, всех повернит к делу. Клянусь, женщины у нас очнутся прежде мужчин, благородно попрекнут нас, благородно хлестнут и погонят нас бичом стыда и

совести, как глупое стадо баранов, прежде чем каждый из нас успеет очнуться и почувствовать, что ему следовало давно побежать самому, не дожидаясь бича. Вас полюбят, и полюбят сильно, да нельзя им не полюбить вас, если узнают вашу душу; но до того времени вы всех их любите до единого, никак не взирая на то, если бы кто-нибудь вас и не любил...

Но письмо мое становится длинно. Чувствую,, что начинаю говорить вещи, может быть, не совсем приходящиеся кстати ни вашему городу, ни вам в настоящую вашу минуту; но вы сами тому виной, не сообщивши мне подробных сведений ни о чем. До сих пор я точно как в лесу. Слышу только о каких-то неизлечимых болезнях и не знаю, чем кто болит. А у меня обычай не верить по слухам никаким неизлечимостям, и никогда не назову я никакую болезнь неизлечимой по тех пор, пока не ощущаю ее моей собственной рукою. Итак, рассмотрите же вновь, ради меня, весь город. Опишите все и всех, не избавляя никого от трех неизбежных вопросов: в чем состоит его должность, сколько на ней можно сделать добра и сколько зла. Поступите как прилежная ученица: сделайте для этого тетрадку и не забывайте быть в ваших объяснениях со мной как можно обстоятельней, не позабывайте, что я глуп, решительно глуп, по тех пор, пока не введут меня в самое подробнейшее познание Лучше воображайте, что перед вами стоит ребенок или такой невежда, которому до последней безделушки нужно все истолковывать; тогда только письмо ваше будет так, как следует. Я не знаю, отчего вы меня почитаете каким-то всезнайкой. Что мне случилось вам кой-что предсказать и предсказанное сбылось, — это произошло единственно оттого, что вы меня ввели в тогдашнее положение души вашей. Велика важность эдак угадать! Стоит только попристальнее взглянуться в настоящее, будущее вдруг выступит само собою. Дурак тот, кто думает о будущем мимо настоящего. Он или соврет, или скажет загадку. Я вас, между прочим, еще побраню за следующие ваши строки, которые здесь выставлю вам перед глазами <sup>130</sup>: «Грустно и даже горестно видеть вблизи состояние России, но, впрочем, не следует об этом говорить. Мы должны с надеждой и светлым взором смотреть в будущее, которое в руках милосердного Бога. В руках милосердного Бога все: и настоящее, и прошедшее, и будущее. Оттого и вся беда наша, что мы не глядим в настоящее, а глядим в будущее. Оттого и беда вся, что как только, всмотревшись в настоящее, заметим мы, что иное в нем горестно и грустно, другое просто гадко или же делается не так, как бы нам хотелось, мы махнем на все рукой и давай пылить глаза в будущее.

---

<sup>130</sup> Гоголь приводит строки из письма к нему А. О. Смирновой от 14 мая 1846 г. (см.: Переписка Н. В. Гоголя. Т. 2. С. 186).

Оттого Бог и ума нам не дает; оттого и будущее висит у нас у всех точно на воздухе: слышат некоторые, что оно хорошо, благодаря некоторым передовым людям, которые тоже услышали его чутьем и еще не проверили законным арифметическим выводом; но как достигнуть до этого будущего, никто не знает. Оно точно кислый виноград. Безделицу позабыли! Позабыли все, что пути и дороги к этому *светлому* будущему сокрыты именно в этом *темном* и *запутанном* настоящем, которого никто не хочет узнавать: всяк считает его низким и недостойным своего внимания и даже сердится, если выставляют его на вид всем. Введите же хотя меня в познание настоящего. Не смущайтесь мерзостями и подавайте мне всякую мерзость! Для меня мерзости не в диковинку: я сам довольно мерзок. Пока я еще мало входил в мерзости, меня всякая мерзость смущала, я приходил от многого в уныние, и мне становилось страшно за Россию; с тех же пор, как стал я побольше всматриваться в мерзости, я просветел духом; передо мною стали обнаруживаться исходы, средства и пути, и я возблаговел еще более перед Прорицанием. И теперь больше всего благодарю Бога за то, что сподобил Он меня, хотя отчасти, узнать мерзости как мои собственные, так и бедных моих собратьев. И если есть во мне какая-нибудь капля ума, свойственного не всем людям, так и то оттого, что всматривался я побольше в эти мерзости. И если мне удалось оказать помощь душевную некоторым близким моему сердцу, а в том числе и вам, так это оттого, что всматривался я побольше в эти мерзости. И если я приобрел наконец любовь к людям не мечтательную, но существенную, так это все же наконец от того же самого, что всматривался я побольше во всякие мерзости. Не пугайтесь же и вы мерзостей и особенно не отвращайтесь от тех людей, которые вам кажутся почему-либо мерзки. Уверяю вас, что придет время, когда многие у нас на Руси из чистеньких горько заплачут, закрыв руками лицо свое, именно оттого, что считали себя слишком чистыми, что хвалились чистотой своей и всякими возвышенными стремлениями куда-то, считая себя через это лучшими других. Помните же все это и, помолись, примитесь снова за свои дела бодрой и свежей, чем когда-либо прежде. Перечтите раз пять, шесть мое письмо, именно из-за того, что в нем все разбросано и нет строгого логического порядка, чему, впрочем, виной вы сами. Нужно, чтобы существо письма осталось все в вас, вопросы мои сделались бы вашими вопросами и желанье мое вашим желаньем, чтобы всякое слово и буква преследовали бы вас и мучили по тех пор, пока не исполните моей просьбы таким именно образом, как я хочу.

## РУССКОЙ ПОМЕЩИК

(Письмо к Б. Н. Б.....му)<sup>131</sup>

Главное то, что ты уже приехал в деревню и положил себе непременно быть помещиком; прочее все придет само собою. Не смущайся мыслями, будто прежние узы, связывавшие помещика с крестьянами, исчезнули навеки. Что они исчезнули, это правда; что виноваты тому сами помещики, это также правда; но чтобы навсегда или навеки они исчезнули, — плюнь ты на этакие слова сказать их может только тот, кто далее своего носа ни чего не видит. Русского ли человека, который так умеет быть благодарным за всякое добро, какому его ни на учишь, русского ли человека трудно привязать к себе? Так можно привязать, что после будешь думать только о том, как бы его отвязать от себя. Если только исполнишь в точности все то, что теперь тебе скажу, то к концу же года увидишь, что я прав. Возьмись за дело помещика как следует за него взяться в настоящем и законном смысле. Собери прежде всего мужиков и объясни им, что такое ты и что такое они. Что помещик ты над ними не потому, чтобы тебе хотелось повелевать и быть помещиком, но потому что ты уже есть помещик, что ты родился помещиком, что взыщет с тебя Бог, если б ты променял это званье на другое, потому что всяк должен служить Богу на своем месте, а не на чужом, равно как и они также, родясь под властью, должны покоряться той самой власти, под которой родились, потому что нет власти, которая бы не была от Бога<sup>132</sup>. И покажи это им тут же в Евангелии, чтобы они все это видели до единого. Потом скажи им, что заставляешь их трудиться и работать вовсе не потому, чтобы нужны были тебе деньги на твои удовольствия, и в доказательство тут же сожги ты перед ними ассигнации<sup>133</sup>, чтобы они видели действительно, что деньги тебе нуль, но что потому ты заставляешь их трудиться, что Богом повелено человеку трудом и потом снискивать себе хлеб<sup>134</sup>, и прочти им тут же это в

<sup>131</sup> Адресат письма не установлен.

<sup>132</sup> Имеются в виду слова апостола Павла из Послания к Римлянам: «...ибо нет власти не от Бога» (гл. 13, ст. 1).

<sup>133</sup> В первом издании вместо этих слов цензором было вставлено: «и сделай так».

<sup>134</sup> Речь идет о выражении из Библии: «В поте лица твоего будешь есть хлеб...» (Бытие, гл. 13, ст. 19). В уцелевших главах второго тома «Мертвых душ» помещик Костанжогло так обосновывает «законность» хлебопашства:

Святым Писанием, чтобы они это видели. Скажи им всю правду: что с тебя взыщет Бог за последнего негодяя в селе и что по этому самому ты еще больше будешь смотреть за тем, чтобы они работали честно не только тебе, но и себе самим, ибо знаешь, да и они знают, что, заленившись, мужик на все способен — сделается и вор и пьяница, погубит свою душу, да и тебя поставит в ответ перед Богом. И все, что им ни скажешь, подкрепи тут же словами Святого Писания; покажи им пальцем и самые буквы, которыми это написано; заставь каждого перед тем перекреститься, ударить поклон и поцеловать самую книгу, в которой это написано. Словом, чтобы они видели ясно, что ты во всем, что до них клонится, сообразуешься с волей Божьей, а не с своими какими-нибудь европейскими или иными затеями. Мужик это поймет, ему не нужно много слов. Объяви им всю правду: что душа человека дороже всего на свете и что прежде всего ты будешь глядеть за тем, чтобы не погубил из них кто-нибудь своей души и не предал бы ее на вечную муку. Во всех упреках и выговорах, которые станешь делать уличенному в воровстве, лености или пьянстве, ставь его перед лицом Бога, а не перед своим лицом; покажи ему, чем он грешит против Бога, а не против тебя. И не упрекай его одного, но призови его бабу, его семью, собери соседей. Попрекни бабу, зачем не отваживала от зла своего мужа и не грозила ему страхом Божиим; попрекни соседей, зачем допустили, что их же брат, среди их же, зажил собакой и губит ни про что свою душу; докажи им, что дадут за то все ответ Богу. Устрой так, чтобы на всех легла ответственность и чтобы все, что ни окружает человека, упрекало бы и не давало бы ему слишком расстегнуться. Собери силу влияния, а с нею и ответственность на головы примерных хозяев и лучших мужиков. Растолкуй им ясно, что они не затем, чтобы только самим хорошо жить, но чтобы и других учить хорошему житию, что пьяница не может учить пьяницу и что это их долг. Негодяям же и пьяницам повели, чтобы они оказывали им такое жеуважение, как бы старосте, приказчику, попу или даже самому тебе; чтобы, еще завидевши издали примерного мужика и хозяина, летели бы шапки с головы у всех мужиков и все бы ему давало дорогу; а который посмел бы оказать ему какое-нибудь неуважение или не послушаться умных слов его, то распеки тут же при всех; скажи ему: «Ах ты невымытое рыло! Сам весь зажил в саже, так что и глаз не видать, да еще не хочешь оказать и чести честному! Поклонись же ему в ноги и попроси, чтобы навел тебя на разум; не наведет на разум — собакой пропадешь». А примерных мужиков призвавши к себе и, если они

---

«Возделывай землю в поте лица своего. Это нам всем сказано; это недаром сказано. Опытом веков уже это доказано, что в земледельческом звании человек чище нравами». (См. также comment. к с. 437).

старики, то посадивши их перед собою, потолкуй с ними о том, как они могут наставлять и учить добру других, исполняя таким образом именно то, что повелел нам Бог. Так поступи только в течение одного года, и увидишь сам, как все пойдет на лад; даже и хозяйство от этого сделается лучше. О главном только позаботься, прочее все приползет само собою. Христос недаром сказал: «Сия вся всем приложится»<sup>135</sup>. В крестьянском быту эта истина еще видней, чем в нашем; у них богатый хозяин и хороший человек — синонимы. И в которую деревню заглянула только христианская жизнь, там мужики лопатами гребут серебро<sup>136</sup>.

Но вот, однако же, тебе совет и в хозяйстве. Только раскуси его хорошенько, и не будешь в накладе. Два человека уже благодарят меня; один из них тебе знакомый К\*\*. Собственно о том, какими отраслями хозяйства следует заниматься и как заниматься, я тебе не скажу. Это знаешь ты лучше меня; притом и деревня твоя мне не известна так, как моя собственная ладонь. А относительно всяких нововведений ты умен и смекнул сам, что не только следует придерживаться всего старого, но всмотреться в него нас kvозь, чтобы из него же извлечь для него улучшенье. Но я тебе дам совет насчет соприкосновения помещика с крестьянином в хозяйственных делах и работах, что покамест нужнее всего прочего. Припомни отношения прежних помещиков-хозяев к своим мужикам: будь патриархом, сам начинателем всего и передовым во всех делах. Заведи, чтобы при начале всякого общего дела, как-то: посева, покосов и уборки хлеба — был пир на всю деревню, чтобы в эти дни был общий стол для всех мужиков на твоем дворе, как бы в день самого Светлого Воскресенья, и обедал бы ты сам вместе с ними, и вместе с ними вышел бы на работу, и в работе, был бы передовым,

---

<sup>135</sup> Имеются в виду следующие слова из Евангелия: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Евангелие от Матфея, гл. 6, ст. 33; см. также Евангелие от Луки, гл. 12, ст. 31). В первом издании вместо «всем» стоит «вам» (очевидно, поправка П. А. Плетнева). Е. А. Хитрово рассказывает в своем дневнике, как Гоголь в январе 1851 г. в Одессе читал у Репниных проповедь митрополита Московского Филарета на стих: «Ищите Царствия Божия...» При этом Гоголь говорил: «Когда внутренне устроен человек, то у него все ладится. А внутренне чтоб устроенным быть, надобно искать Царствия Божия, и все прочее приложится вам» (Русский архив. 1902. № 3. С. 551).

<sup>136</sup> Этот фольклорный образ (ср. эпизод святочного гадания в пушкинском «Евгении Онегине»: «И вынулось колечко ей/Под песенку старинных дней:/ Там мужички-то все богаты,/Гребут лопатой серебро...») использован Гоголем во втором томе «Мертвых душ» при описании деревни Костанжогло: «Так и видно, что здесь именно живут те мужики, которые гребут, как поется в песне, серебро лопатой». Гоголь буквально применяет этот народный образ, в котором мужики на самом деле — предки (покойники), а серебро —неземное богатство.

подстрекая всех работать молодцами, похваливая тут же удальца и укоряя тут же ленивца. Когда же наступит осень и кончатся полевые работы, воспразднуй таким же образом и еще большим пиршеством окончание работ, в сопровожденье торжественного и благодарственного молебна. Мужика не бей. Съездить его в рожу еще не большое искусство. Это сумеет сделать и становой, и заседатель, даже староста; мужик к этому уже привык и только что почешет слегка у себя в затылке. Но умей пронять его хорошенъко словом; ты же на меткие слова мастер. Ругни его при всем народе, но так, чтобы тут же обсмеял его везде народ; это будет для него в несколько раз полезней всяких подзатыльников и зуботычин. Держи у себя в запасе все синонимы молодца для того, кого нужно подстрекнуть, и все синонимы бабы для того, кого нужно попрекнуть, чтобы слышала вся деревня, что лентяй и пьяница есть баба и дрянь. Выкопай слово еще похуже, словом — назови всем, чем только не хочет быть русский человек. В комнате не засиживайся, но появляйся почаще на крестьянских работах. И, где ни появляйся, появляйся так, чтобы от твоего прихода глядело все живей и веселей, изворачиваясь молодцом и щеголем в работе. Поддай и от себя силы словами: «Прихватим-ка разом, ребята, все вместе!» Возьми сам в руки топор или косу; это будет тебе в добро и полезней для твоего здоровья всяких Мариенбадов, медицинских муционов и вялых прогулок.

Замечания твои о школах совершенно справедливы. Учить мужика грамоте затем, чтобы доставить ему возможность читать пустые книжонки, которые издают для народа европейские человеколюбцы, есть действительно вздор. Главное уже то, что у мужика нет вовсе для этого времени. После стольких работ никакая книжонка не полезет в голову, и, пришедши домой, он заснет как убитый, богатырским сном. Ты и сам будешь делать то же, когда станешь почаще наведываться на работы. Деревенский священник может сказать гораздо больше истинно нужного для мужика, нежели все эти книжонки. Если в ком истинно уже зародится охота к грамоте, и притом вовсе не затем, чтобы сделаться плутом-конторщиком, но затем, чтобы прочесть те книги, в которых начертан Божий закон человеку<sup>137</sup>, — тогда другое дело. Воспитай его как сына и на него одного употреби все, что употребил бы ты на всю школу. Народ наш не глуп, что бежит, как от черта, от всякой письменной бумаги. Знает, что там притык всей человеческой путаницы,

<sup>137</sup> В одной из самых ранних своих повестей, в «Вечере накануне Ивана Купала», Гоголь устами дьячка-рассказчика говорил уже о поколении новых Митрофанов: «Знаю, что много наберется таких умников, пописывающих по судам и читающих даже гражданскую грамоту, которые, если дать им в руки простой часослов, не разобрали бы ни аза в нем...»

крючкотворства и каверзничества. По-настоящему, ему не следует и знать, есть ли какие-нибудь другие книги, кроме святых.

Кстати о священнике<sup>138</sup>. Ты напрасно хлопочешь о его перемене и затеваешь просить архиерея, чтобы он дал тебе более знающего и опытного. Такого священника он тебе не даст, потому что такой священник повсюду нужен. Выбрось даже из головы, чтобы мог отыскаться священник, вполне отвечающий твоему идеалу. Никакая семинария и никакая школа не может так воспитать священника. В семинарии он получает только начальное основание своего воспитания, образуется же вполне в деле жизни. Будь сам ему напутником, ты же понял так хорошо обязанности сельского священника. Если священник дурен, то этому почти всегда виноваты сами помещики. Они наместо того, чтобы пригреть его у себя в доме как родного, поселить в нем желание беседы лучшей, которая могла бы его чему-нибудь поучить, бросят его среди мужиков, молодого и неопытного, когда он еще и не знает, что такое мужик, поставят его в такое положение, что он еще должен повторствовать и угождать им, наместо того, чтобы уже с самого начала иметь над ними некоторую власть, и после этого вопиют, что у них священники дурные, что они приобрели мужицкие ухватки и ничем не отличаются от простых мужиков. Да я спрашиваю: кто не огруbeет даже из приготовленных и воспитанных? А ты сделай вот как. Заведи, чтобы священник обедал с тобою всякий день. Читай с ним вместе духовные книги: тебя же это чтение теперь занимает и питает более всего. А самое главное, — бери с собой священника повсюду, где ни бываешь на работах, чтобы сначала он был при тебе в качестве помощника, чтобы он видел самолично всю проделку твою с мужиками. Тут он увидит ясно, что такое помещик, что такое мужик и каковы должны быть их отношения между собою. А между тем и к нему будет большеуважения со стороны мужиков, когда они увидят, что он идет с тобой об руку. Сделай так, чтобы он не нуждался в дому своем, чтобы был обеспечен относительно собственного своего хозяйства и через то имел бы возможность быть с тобой беспрестанно. Поверь, что он так наконец привыкнет к тебе, что ему будет скучно без тебя. А привыкнувши к тебе, он от тебя нечувствительно наберется познания вещей, и познания человека, и много всякого добра, потому что в тебе, слава Богу, всего этого довольно, и ты умеешь так ясно и хорошо выражаться, что всякий невольно усвояет себе не только твои мысли, но даже и образ их выраженья, и самые слова твои.

---

<sup>138</sup> Кстати о священнике до отчего это случилось. — Данный текст при первом издании книги был исключен цензурой. Впервые опубликован П. И. Бартеневым в журнале «Русский архив» (1866).

Что же до проповеди, которую ты полагаешь нужною, то на это я тебе скажу вот что: я скорей того мнения, что священнику, не вполне наставенному в своем деле и не ознакомленному с людьми, его окружающими, лучше вовсе не произносить проповеди. Подумал ли ты о том, какое трудное дело сказать умную проповедь и особенно мужикам? Нет, лучше немного потерпи, по крайней мере до тех пор, пока и священник побольше осмотрится, да и ты также. А до того времени посоветую тебе то, что одному уже посоветовал и что, кажется, ему пошло уже впрок. Возьми святых отцов и особенно Златоуста, говорю потому Златоуста, что Златоуст, имея дело с народом-невежею, принял только наружное христианство, но в сердцах остававшимся грубыми язычниками, старался быть особенно доступным к понятиям человека простого и грубого и говорит таким живым языком о предметах нужных и даже очень высоких, что целиком можно обратить места из проповедей его к нашему мужику, и он поймет. Возьми Златоуста и читай его вместе с твоим священником, и притом с карандашом в руке, чтобы отмечать тут же все такие места, а таких мест у Златоуста десятками во всей проповеди. И эти самые места пусть он скажет народу; не нужно, чтобы они были длинны: страничка или даже полстранички; чем меньше, тем лучше. Но нужно, чтобы перед тем, как произносить их народу, священник прочитал их несколько раз с тобою вместе, затем, чтобы уметь их произнести ему не только с одушевлением, но таким убедительным голосом, как бы он хлопотал о какой-нибудь собственной выгоде своей, от которой зависит благополучие его жизни. Увидишь, что это будет действительнее, нежели его собственная проповедь. Народу нужно мало говорить, но метко, — не то он может привыкнуть к проповеди так же, как привыкнул к ней высший круг, который ездит слушать знаменитых европейских проповедников таким же самым образом, как едет в оперу или в спектакль. У К\*\* священник не говорит никакой проповеди, но, зная насквозь всех мужиков, поджидает только исповеди. И на исповеди так проймет из них всякого, что он как из бани выходит из церкви. З\*\* послал к нему нарочно исповедовать 30 человек рабочих с своей фабрики, пьяниц и мошенников первого разбора, а сам стал на паперти церковной, чтобы посмотреть им в лица в то время, как они будут выходить из церкви: все вышли красные, как раки А кажется, немного и держал их на исповеди; по четыре, по пяти человек исповедовал вдруг. И после того, по сказанию самого З\*\*, в продолжение двух месяцев не показывался ни один из них в кабаке, так что окружные целовальники не могли приложить ума, отчего это случилось.

Но довольно. Поработай усердно только год, а там дело уже само собой пойдет работаться так, что не нужно будет тебе и рук прилагать. Разбогатеешь ты как Крез, в противность тем подслеповатым людям,

которые думают, будто выгоды помещика идут врознь с выгодами мужиков. Ты им докажешь делом, а не словами, что они врут и что если только помещик взглянул глазом христианина на свою обязанность, то не только он может укрепить старые связи, о которых толкуют, будто они исчезнули навеки, но связать их новыми, еще сильнейшими связями — связями во Христе, которых уже ничего не может быть сильнее. И ты, не служа доселе ревностно ни на каком поприще, сослужишь такую службу государю в званье помещика, какой не сослужит иной великочиновный человек. Что ни говори, но поставить 800 подданных, которые все, как один, и могут быть примером всем окружающим своей истинно примерною жизнью, — это дело не бездельное и служба истинно законная и великая.

1846

## ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖИВОПИСЕЦ ИВАНОВ

(Письмо к гр. Матв. Ю. В..... my)<sup>139</sup>

Пишу к вам об Иванове. Что за непостижимая судьба этого человека! Уже дело его стало, наконец, всем объясняться. Все уверились, что картина, которую он работает, — явленье небывалое, приняли участие в художнике, хлопочут со всех сторон о том, чтобы даны были ему средства кончить ее, чтобы не умер над ней с голоду художник, — говорю буквально — не умер с голоду, — и до сих пор ни слуху ни духу из Петербурга. Ради Христа, разберите, что это все значит. Сюда принеслись нелепые слухи, будто художники и все профессора нашей Академии художеств, боясь, чтобы картина Иванова не убила собою все, что было доселе произведено нашим художеством, из зависти стараются о том, чтоб ему не даны были средства на окончание. Это ложь, я в этом уверен. Художники наши благородны, и если бы они узнали все то, что вытерпел бедный Иванов из-за своего беспримерного самоотверженья и любви к труду, рискуя действительно умереть с голоду, они бы с ним

<sup>139</sup> Письмо адресовано графу Матвею Юрьевичу Виельгорскому (1794 — 1866), известному виолончелисту и музыкальному деятелю, который в то время был вице-председателем Общества поощрения художников и имел влияние — в смысле помощи артистам и художникам — на герцога Лейхтенбергского, занимавшего пост президента Академии художеств. Гоголь был знаком как с герцогом, так и с его супругой — великой княгиней Марией Николаевной, известной меценаткой. В июле 1847 г. Гоголь сообщал М. Ю. Виельгорскому: «Я к вам написал письмо об Иванове, но рассудивши, как трудно толковать о деле малопонятном, и зная то, что у нас по тех пор никакие хлопоты не возымеют надлежащего действия, пока общий крик и общий голос не станут за того человека, о котором хлопочут, я рассудил мое письмо напечатать просто в книге, которую вы теперь держите в руках. Потом я услышал, что Иванову вышло некоторое вспоможение. Нет нужды. Все-таки сделайте к тому прибавление, а напечатанное письмо предложите на прочтение как моей прекрасной благодетельнице Марии Николаевне, так и герцогу Лейхтенбергскому. Все-таки недурно, если по поводу этого дела узнают, что бывают такие положения людей, на которые следует иногда обращать внимание, хотя они сами и не издают во всеуслышанье воплей и криков» (Вопросы литературы. 1963. № 4. С. 115).

Иванов к «Выбранным местам...» в целом отнесся одобрительно, но был недоволен тем, что Гоголь сделал его «известным», вывел «на трескучую мостовую» (из записной тетради А. А. Иванова 1845–1851 гг.).

поделились братски своими собственными деньгами, а не то чтобы внушать другим такое жестокое дело. Да и чего им опасаться Иванова? Он идет своей собственной дорогой и никому не помеха. Он не только не ищет профессорского места и житейских выгод, но даже просто ничего не ищет, потому что уже давно умер для всего в мире, кроме своей работы. Он молит о нищенском содержании, о том содержании, которое дается только начинающему работать ученику, а не о том, которое следует ему, как мастеру, сидящему над таким колоссальным делом, которого не затевал доселе никто. И этого нищенского содержания, о котором все стараются и хлопочут, не может он допроситься, несмотря на хлопоты всех. Воля ваша, я вижу во всем этом волю Провиденья, уже так определившую, чтобы Иванов вытерпел, выстрадал и вынес все, другому ничему не могу приписать.

Доселе раздавался ему упрек в медленности. Говорили все: «Как! восемь лет сидел над картиной, и до сих пор картине нет конца!» Но теперь этот упрек затихнул, когда увидели, что и капля времени у художника не пропала даром, что одних этюдов, приготовленных им для картины своей, наберется на целый зал и может составить отдельную выставку, что необыкновенная величина самой картины, которой равной еще не было (она больше картин Брюллова и Бруни)<sup>140</sup>, требовала слишком много времени для работы, особенно при тех малых денежных средствах, которые не давали ему возможности иметь несколько моделей вдруг, и притом таких, каких бы он хотел. Словом — теперь все чувствуют нелепость упрека в медленности и лени такому художнику, который, как труженик, сидел всю жизнь свою над работою и позабыл даже, существует ли на свете какое-нибудь наслажденье, кроме работы. Еще более будет стыдно тем, которые попрекали его в медленности, когда узнают и другую сокровенную причину медленности. С производством этой картины связалось собственное душевное дело художника, — явление слишком редкое в мире, явление, в котором вовсе не участвует произвол человека, но воля Того, Кто повыше человека. Так уже было определено, чтобы над этою картиной совершилось воспитанье собственно художника, как в рукотворном деле искусства, так и в мыслях, направляющих искусство к законному и высшему назначению. Предмет картины, как вы уже знаете, слишком значителен. Из евангельских мест взято самое труднейшее для исполнения, доселе еще не бранное никем из художников даже прежних богоизбранных художественных веков, а именно — первое появление Христа народу.

---

<sup>140</sup> Имеются в виду «Последний день Помпеи» (1830 — 1833) Карла Павловича Брюллова (1799 — 1852) и «Медный змий» (1827 — 1841) Федора Антоновича Бруни (1799 — 1875).

Картина изображает пустыню на берегу Иордана. Всех видней Иоанн Креститель, проповедующий и крестящий во имя Того, Которого еще никто не видал из народа. Его обступает толпа нагих и раздевающихся, одевающихся и одетых, выходящих из вод и готовых погрузиться в воды. В толпе этой стоят и будущие ученики Самого Спасителя. Все, отправляя свои различные телесные движения, устремляется внутренним ухом к речам пророка, как бы схватывая из уст его каждое слово и выражая на различных лицах своих различные чувства: на одних — уже полная вера; на других — еще сомненье; третьи уже колеблются; четвертые понурили главы в сокрушенье и покаянье; есть и такие, на которых видна еще кора и бесчувственность сердечная. В это самое время, когда все движется такими различными движениями, показывается вдали Тот Самый, во имя Которого уже совершилось Крещение, — и здесь настоящая минута картины. Предтеча взят именно в тот миг, когда, указавши на Спасителя перстом, произносит: «Се Агнец, взъемляй грехи мира!»<sup>141</sup> И вся толпа, не оставляя выражений лиц своих, устремляется или глазом, или мыслию к Тому, на Которого указал пророк. Сверх прежних, не успевших сбежать с лиц, впечатлений, пробегают по всем лицам новые впечатления. Чудным светом осветились лица передовых избранных, тогда как другие стараются еще войти в смысл непонятных слов, недоумевая, как может один взять на себя грехи всего мира, и третьи сомнительно колеблют головой, говоря: «От Назарета пророк не приходит»<sup>142</sup>. А Он, в небесном спокойствии и чудном отдалении, тихой и твердой стопой уже приближается к людям.

Безделица — изобразить на лицах весь этот ход *обращения человека ко Христу!* Есть люди, которые уверены, что великому художнику все доступно. Земля, море, человек, лягушка, драка и пирюшка людей, игра в карты и моленье Богу, словом, все может достаться ему легко, будь только он талантливый художник да поучись в академии. Художник может изобразить только то, что он *почувствовал* и о чем в голове его составилась уже полная идея; иначе картина будет мертвая, академическая картина. Иванов сделал все, что другой художник почел бы достаточным для окончания картины. Вся материальная часть, все, что относится до умного и строгого размещения группы в картине, исполнено в совершенстве. Самые лица получили свое типическое, согласно Евангелию, сходство и с тем вместе сходство еврейское. Вдруг слышишь по лицам, в какой земле происходит дело.

---

<sup>141</sup> «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Евангелие от Иоанна, гл. 1, ст. 29).

<sup>142</sup> Неточный пересказ слов апостола Нафанаила: «Из Назарета может ли быть что добroe?» (Евангелие от Иоанна, гл. 1, ст. 46).

Иванов повсюду ездил нарочно изучать для того еврейские лица. Все, что ни относится до гармонического размещенья цветов, одежды человека и до обдуманной се наброски на тело, изучено в такой степени, что всякая складка привлекает внимание знатока. Наконец, вся ландшафтная часть, на которую обыкновенно не много смотрит исторический живописец, вид всей живописной пустыни, окружающей группу, исполнен так, что изумляются сами ландшафтные живописцы, живущие в Риме. Иванов для этого просиживал по нескольким месяцам в нездоровых Понтийских болотах и пустынных местах Италии, перенес в свои этюды все дикие захолустья, находящиеся вокруг Рима, изучил всякий камешек и древесный листик, словом — сделал все, что мог сделать, все изобразил, чему только нашел образец. Но как изобразить то, чему еще не нашел художник образца? Где мог найти он образец для того, чтобы изобразить главное, составляющее задачу всей картины, — представить в лицах весь ход человеческого обращенья ко Христу? Откуда мог он взять его? Из головы? Создать воображеньем? Постигнуть мыслью? Нет, пустяки! Холодна для этого мысль и ничтожно воображенье. Иванов напрягал воображенье, елико мог, старался на лицах всех людей, с какими ни встречался, ловить высокие движенья душевые, оставался в церквях следить за молитвой человека — и видел, что все бессильно и недостаточно и не утверждает в его душе полной идеи о том, что нужно. И это было предметом сильных страданий его душевых и виной того, что картина так долго затянулась. Нет, пока в самом художнике не произошло истинное обращенье ко Христу, не изобразить ему того на полотне. Иванов молил Бога о ниспослании ему такого полного обращенья, лил слезы в тишине, прося у Него же сил исполнить Им же внущенную мысль; а в это время упрекали его в медленности и торопили его! Иванов просил у Бога, чтобы огнем благодати испепелил в нем ту холодную черствость, которой теперь страждут многие наилучшие и наидобрейшие люди, и вдохновил бы его так изобразить это обращение, чтобы умилился и нехристианин, взглянувши на его картину; а его в это время укоряли даже знавшие его люди, даже прятатели, думая, что он просто ленится, и помышляли сурьезно о том, нельзя ли голодом и отнятием всех средств заставить его кончить картину. Сострадательнейшие из них говорили: «Сам же виноват; пусть бы большая картина шла своим чередом, а в промежутках мог бы он работать малые картины, брать за них деньги и не умереть с голода», — говорили, не ведая того, что художнику, которому труд его, по воле Бога, обратился в его душевное дело, уже невозможно заняться никаким другим трудом, и нет у него промежутков, не устремится и мысль его ни к чему другому, как он ее ни принуждай и ни насилий. Так верная жена, полюбившая истинно своего мужа, не полюбит уже никого другого,

никому не продаст за деньги своих ласк, хотя бы этим средством могла бы спасти от бедности себя и мужа. Вот каковы были обстоятельства душевные Иванова. Вы скажете: «Да зачем же он не изложил всего этого на бумаге? Зачем не описал ясно своего действительного положения? тогда бы ему вдруг были высланы деньги». Да, как бы не так. Попробуй кто-нибудь из вас, еще не доказавший сил, еще не умеющий самому себе высказать себя, объясняться с людьми, стоящими на других поприщах, которые не могут, весьма естественно, даже постигнуть, что может существовать в искусстве его высшая степень, свыше той, на которой оно стоит в нынешнем модном веке! Неужели ему сказать: «Я произведу одно такое дело, которое вас потом изумит, но которого вам не могу теперь рассказать, потому что многое покуда и мне самому еще не совсем понятно, а вы, во все то время, как я буду сидеть над работой, ждите терпеливо и давайте мне деньги на содержанье»? Тогда, пожалуй, явятся много таких охотников, которые заговорят таким же образом — да им разве безумец даст деньги. Положим даже, что Иванов мог бы в это неясное время выразиться ясно и сказать так: «Мне внушена кем-то свыше меня преследующая мысль — изобразить кистью обращенье человека ко Христу. Я чувствую, что не могу этого сделать, не обратившись истинно сам. А потому ждите, покуда во мне самом не произойдет это обращенье, и давайте до того времени мне деньги на мое содержанье и на мою работу». Да ему тогда в один голос закричим мы все: «Что ты, брат, за нескладицу городишь? за дураков, что ли, нас принял? Что за связь у души с картиной? Душа сама по себе, а картина сама по себе. Что нам ждать твоего обращенья! Ты должен быть и без того христианин; ведь вот мы же все истинные христиане». Вот что мы скажем все Иванову, и каждый из нас почти прав. Не будь этих же самых тяжелых его обстоятельств и внутренних терзаний душевных, которые силою заставили его обратиться жарче других к Богу и дали ему способность к Нему прибегать и жить в Нем так, как не живет в Нем нынешний светский художник, и выплакать слезами те чувства, которых он силился добыть прежде одними размышлениями, — не изобразить бы ему никогда того, что начинает он уже изображать теперь на полотне, и он действительно бы обманул и себя и других, несмотря на все желанье не обмануть.

Не думайте, чтобы легко было изъясниться с людьми во время переходного состояния душевного, когда, по воле Бога, начнется переработка в собственной природе человека. Я это знаю и отчасти даже испытал сам. Мои сочиненья тоже связались чудным образом с моей душой и моим внутренним воспитаньем. В продолжение более шести лет я ничего не мог работать для света. Вся работа производилась во мне и собственно для меня. А существовал я дотоле, — не позабудьте, —

единственно доходами с моих сочинений. Все почти знали, что я нуждался, но были уверены, что это происходит от собственного моего упрямства, что мне стоит только присесть да написать небольшую вещь, чтобы получить большие деньги; а я не в силах был произвести ни одной строчки, и когда, послушавшись совета одного неразумного человека, вздумал было заставить себя насилием написать кое-какие статейки для журнала, это было мне в такой степени трудно, что ныла моя голова, болели все чувства, я марал и раздирал страницы, и после двух, трех месяцев таковой пытки так расстроил здоровье, которое и без того было плохо, что слег в постель, а присоединившиеся к тому недуги нервические и, наконец, недуги от неумения изъяснить никому в свете своего положения до того меня изнурили, что был я уже на краю гроба. И два раза случилось почти то же. Один раз, в прибавление ко всему этому, я очутился в городе, где не было почти ни души мне близкой, без всяких средств, рискуя умереть не только от болезни и страданий душевных, но даже от голода. Это было уже давно тому. Спасен я был государем.<sup>143</sup> Нежданно ко мне пришла от него помощь. Услышал ли он сердцем, что бедный подданный его на своем неслужащем и незаметном поприще помышлял сослужить ему такую же честную службу, какую сослужили ему другие на своих служащих и заметных поприщах, или это было просто обычное движенье милости его. Но эта помощь меня подняла вдруг. Мне было приятно в эту минуту быть обязану ему, а не кому-либо другому. К причинам, побудившим взяться с новою силою за труд, присоединилась еще и мысль, если удостоится меня Бог сделаться, точно, человеком близким для многих людей и достойным, точно, любви всех тех, которых люблю, — сказать им: «Не забывайте же, меня бы не было, может быть, на свете, если б не государь». Вот каковы бывают положения. В прибавленье скажу вам, что в это же самое время я должен был слышать обвиненья в эгоизме: многие не могли мне простить моего неучастия в разных делах<sup>144</sup>, которые они затевали, по их мнению, для блага общего. Слова мои, что я не могу писать и не должен работать ни для каких журналов и альманахов, принимались за выдумку. Самая жизнь моя, которую я вел в чужих краях, приписана была сибаритскому желанию наслаждаться красотами Италии. Я не мог даже изъяснить никому из самых близких моих друзей, что, кроме нездоровья, мне нужно было временное отдаление от них самих, затем именно, чтобы не попасть

<sup>143</sup> Благодаря хлопотам В. А. Жуковского и А. О. Смирновой весной 1845 г. Гоголю была назначена пенсия от царя на три года — по тысяче рублей в год. Великий князь Александр Николаевич (наследник, воспитанник Жуковского) прибавил от себя такую же сумму.

<sup>144</sup> Речь идет прежде всего о М. П. Погодине, требовавшем от Гоголя статей в «Москвитянин».

в фальшивые отношения с ними и не нанести им же неприятностей, — я даже этого не мог объяснить. Я слышал сам, что мое душевное состояние до того сделалось странно, что ни одному человеку в мире не мог бы я рассказать его понятно. Силясь открыть хотя бы одну часть себя, я видел тут же перед моими глазами, как моими же словами туманил и кружил голову слушавшему меня человеку, и горько раскаивался за одно даже желанье быть откровенным. Клянусь, бывают так трудны положенья, что их можно уподобить только положенью того человека, который находится в летаргическом сне, который видит сам, как его погребают живого, и не может даже пошевельнуть пальцем и подать знака, что он еще жив. Нет, храни Бог в эти минуты переходного состояния душевного пробовать объяснять себя какому-нибудь человеку; нужно бежать к одному Богу, и ни к кому более. Против меня стали несправедливы многие, даже близкие мне люди, и были в то же время совсем невиноваты; я бы сам сделал то же, находясь на их месте.

То же самое и в деле Иванова; если бы случилось, что он умер от бедности и недостатка средств, вдруг бы все до единого исполнилось негодованья противу тех, которые допустили это, пошли бы обвинения в бесчувственности и зависти к нему других художников. Иной драматический поэт составил бы из этого чувствительную драму, которую бы растрогал слушателей и подвигнул бы гневом противу врагов его. И все это было бы ложь, потому что, точно, никто не был бы истинно виновен в его смерти. Один только человек был бы бесчестен и виноват, и этот человек был бы — я: я испробовал почти то же состояние, испробовал его на собственном теле, и не объяснил этого другим! И вот почему я теперь пишу к вам. Устройте же это дело; не то — грех будет на вашей собственной душе. С моей души я уже снял его этим самым письмом; теперь он повиснул на вас. Сделайте так, чтобы не только было выдано Иванову то нищенское содержание, которое он просит, но еще сверх того единовременная награда, именно за то самое, что он работал долго над своей картиной и не хотел в это время ничего работать постороннего, как ни заставляли его другие люди и как ни заставляла его собственная нужда. Не скупитесь, деньги все вознаградятся. Достоинство картины уже начинает обнаруживаться всем. Весь Рим начинает говорить гласно, судя даже по нынешнему ее виду, в котором далеко еще не выступила вся мысль художника, что подобного явленья еще не показывалось от времен Рафаэля и Леонардо-да-Винчи. Будет окончена картина — беднейший двор в Европе заплатит за нее охотно те деньги, какие теперь плотят за вновь находимые картины прежних великих мастеров, и таким картинам не бывает цена меньше ста или двухсот тысяч. Устройте так, чтобы награда выдана была не за картину, но за самоотвержение и беспримерную любовь к искусству, чтобы это

послужило в урок художникам. Урок этот нужен, чтобы видели все другие, как нужно любить искусство. Что нужно, как Иванов, умереть для всех приманок жизни; как Иванов, учиться и считать себя век учеником; как Иванов, отказывать себе во всем, даже и в лишнем блюде в праздничный день; как Иванов, надеть простую плисовую куртку, когда оборвались все средства, и пренебречь пустыми приличиями; как Иванов, вытерпеть все и при высоком и нежном образованье душевном, при большой чувствительности ко всему вынести все колкие поражения и даже то, когда угодно было некоторым провозгласить его сумасшедшим и распустить этот слух таким образом, чтобы он собственными своими ушами, на всяком шагу, мог его слышать. За эти-то подвиги нужно, чтобы ему была выдана награда. Это нужно особенно для художников молодых и выступающих на поприще художества, чтобы не думали они о том, как заводить галстучки да сертучки да делать долги для поддержанья какого-то веса в обществе; чтобы знали вперед, что подкрепление и помочь со стороны правительства ожидают только тех, которые уже не помышляют о сертучках да о пирушках с товарищами, но отдались своему делу, как монах монастырю. Хорошо бы даже, если бы выданная Иванову сумма была слишком велика, чтобы невольно почесали у себя в затылке все другие. Не бойтесь, эту сумму он не возьмет себе; может быть, из нее и копейки не возьмет для себя, — эта сумма будет вся употреблена на вспомоществование истинным труженикам искусства, которых знает художник лучше, нежели какой-нибудь чиновник, и распоряженья по этому делу будут произведены лучше чиновнических. За чиновником мало ли что может водиться: у него может случиться и жена-модница, и приятели-едоки, которых нужно угождать обедом; чиновник заведет и штат и блеск; станет даже утверждать, что для поддержания чести русской нации нужно задать пыль иностранцам, и потребует на это деньги. Но тот, кто сам подвизался на том поприще, которому потом должен помочь, кто слышал вопль потребности и нужды истинной, а не поддельной, кто терпел сам и видел, как терпят другие, и соскорбел им, и делился последней рубашкой с неимущим тружеником в то время, когда и самому нечего было есть и не во что одеться, как делал это Иванов, тот — другое дело. Тому можно смело поверить миллион и спать спокойно, — не пропадет даром копейка из этого миллиона. Поступите же справедливо, а письмо мое покажите многим как моим, так и вашим приятелям, и особенно таким, которых управлению вверена какая-нибудь часть, потому что труженики, подобные Иванову, могут случиться на всех поприцах, и все-таки не нужно допустить, чтобы они умерли с голоду. Если случится, что один, отделившись от всех других, займется крепче всех своим делом, хотя бы даже и своим собственным, но если он скажет, что это, по-видимому,

собственное его дело будет нужно для всех, считайте его как бы на службе и выдавайте насущное прокормление. А чтобы удостовериться, нет ли здесь какого обмана, потому что под таким видом может пробраться ленивый и ничего не делающий человек, следите за его собственной жизнью; его собственная жизнь скажет все. Если он так же, как Иванов, плонул на все приличия и условия светские, надел простую куртку и, отогнавши от себя мысль не только об удовольствиях и пирушкиах, но даже мысль завестись когда-либо женою и семейством или каким-либо хозяйством, ведет жизнь истинно монашескую, коря день и ночь над своей работой и молясь ежеминутно, — тогда нечего долго рассуждать, а нужно дать ему средства работать, незачем также торопить и подталкивать его — оставьте его в покое: подтолкнет его Бог без вас; ваше дело только смотреть за тем, чтобы он не умер с голода. Не давайте ему большого содержания; дайте ему бедное и нищенское даже, и не соблазняйте его соблазнами света. Есть люди, которые должны век остаться нищими. Нищенство есть блаженство, которого еще не раскусил свет. Но кого Бог удостоил отведать его сладость и кто уже возлюбил истинно свою нищенскую сумку, тот не продаст ее ни за какие сокровища здешнего мира.

1846

## XXIV

### ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ЖЕНА ДЛЯ МУЖА В ПРОСТОМ ДОМАШНЕМ БЫТУ, ПРИ НЫНЕШНEM ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ В РОССИИ<sup>145</sup>

Долго думал я, на кого из вас напасть: на вас или на вашего мужа? Наконец решаюсь напасть на вас: женщина скорей способна очнуться и двинуться. Положенье вас обоих, хотя вы считаете себя на верху блаженства, по мне, не только не блаженно, но даже хуже положения тех,

---

<sup>145</sup> Адресат письма неизвестен. Часть заглавия после запятой была вычеркнута цензором.

Содержание настоящей главы прямо перекликается с письмами Гоголя А. О. Смирновой и С. М. Соллогуб от 24 сентября н. ст. 1844 г. В гоголевской записной книжке 1846 — 1851 гг. Есть набросок <О браке>, представляющий собой начальный этап переработки этого письма (см. наст. изд., с. 435).

которые считают себя в горе и несчастии. У вас обоих есть много хороших качеств душевных, сердечных и даже умственных, и нет только того, без чего все это ни к чему не послужит: нет внутри себя управленья собою. Никто из вас не господин себе. В вас нет характера, признавая характером *крепость воли*. Ваш муж, чувствуя этот недостаток в себе, женился нарочно затем, чтобы найти в жене себе возбужденье на всякое дело и подвиг. Вы за него вышли замуж затем, чтобы он был вашим возбудителем во всяком деле жизни. Оба друг от друга ждут того, чего нет у обоих. Говорю вам: положенье ваше не только не блаженно, но даже опасно. Вы оба расплываетесь и распуститесь среди жизни, как мыло в воде; все ваши достоинства и добрые качества исчезнут в беспорядке действий, который один сделается вашим характером, и станете вы оба — олицетворенное бессилие. Молите Бога о *крепости*. У Бога можно все вымолить, даже и крепость, которую, как известно, никакими средствами не может достать бессильный и слабый человек. Поступите только умно. «Молись и к берегу гребись», — говорит пословица. Произносите в себе и поутру, и в полдень, и ввечеру, и во все часы дня: «Боже, собери меня всю в самое меня и укрепи!» — и действуйте в продолженье целого года так, как я вам сейчас скажу, не рассуждая покуда, зачем и к чему это. Всю хозяйственную часть дома возьмите на себя; приход и расход чтобы был в ваших руках<sup>146</sup>. Не ведите общей расходной книги, но с самого начала года сделайте смету всему вперед, обнимите все нужды ваши, сообразите вперед, сколько можете и сколько вы должны издержать в год, сообразно вашему достатку, и все приведите в круглые суммы. Разделите ваши деньги на семь почти равных куч. В первой куче будут деньги на квартиру, с отопкою, водой, дровами и всем, что ни относится до стен дома и чистоты двора. Во второй куче — деньги на стол и на все съестное с жалованьем повару и продовольствием всего, что ни живет в вашем доме. В третьей куче — экипаж: карета, кучер, лошади, сено, овес, словом — все, что относится к этой части. В четвертой куче — деньги на гардероб, то есть все, что нужно для вас обоих затем, чтобы показаться в свет или сидеть дома. В пятой куче будут ваши карманные деньги. В шестой куче — деньги на чрезвычайные издержки, какие могут встретиться: перемена мебели, покупка нового экипажа и даже вспомоществование кому-нибудь из ваших родственников, если бы он возымел внезапную надобность. Седьмая куча — Богу, то есть деньги на церковь и на бедных. Сделайте так, чтобы эти семь куч пребывали у вас несмешанными, как бы семь отдельных министерств. Ведите расход каждой особо, и ни под каким предлогом не занимайтесь из одной кучи в другую. Какие ни представлялись бы вам в это время выгодные покупки

---

<sup>146</sup> Ср. соответствующие советы Гоголя в письме к матери от 10 июля 1834 г.

и как бы ни соблазняли они вас своею дешевизною, не покупайте. На это можете отважиться потом, когда побольше укрепитесь. А теперь не позабывайте ни на миг, что все это вами делается для покупки твердого характера, а эта покупка покамест для вас нужнее всякой другой покупки, и потому будьте в этом упрямы. Просите Бога об упрямстве. Даже и тогда, если бы оказалась надобность помочь бедному, вы не можете употребить на это больше того, сколько находится в определенной на то куче. Если бы даже вы были свидетелем картины несчастия, раздирающего сердце, и видели бы сами, что денежная помощь может помочь, не смеите и тогда дотрогиваться до других куч, но поезжайте по всему городу, по всем вашим знакомым и старайтесь преклонить их на жалость: просите, молите, будьте готовы даже на унижение себя, чтобы это осталось вам в урок, чтобы вы помнили вечно, как вы были доведены до жестокой необходимости отказать несчастному, как вы должны были из-за этого подвергнуться унижению и даже осмеянию публичному; чтобы это не выходило у вас из ума, чтобы вы через это приучались обрезывать себя в расходах по каждой куче и заранее помышлять о том, чтобы к концу года оставался от каждой остаток для бедных, а не сходились бы только концы с концами. Если вы будете держать это в голове своей беспрестанно, то вы никогда не заедете без надобности сильной в магазин и не купите себе неожиданно для себя самой какое-нибудь украшение для камина или стола, на что так падки у нас как дамы, так и мужчины (последние еще больше и суть не женщины, а бабы). Ваши прихоти будут невольно и нечувствительно сжиматься, и дойдет наконец до того, что вы почувствуете сами, что вам не нужно иметь больше одной кареты и пары лошадей, больше четырех блюд за столом, что званый обед может также насытить людей и на простом сервисе, с прибавкой одного лишнего блюда да бутылки вина, разнесенного без всяких тонкостей в простых рюмках. Вы даже не только не сгорите от стыда, если пойдет по городу слух, что у вас не *comme il faut*<sup>147</sup>, но еще посмеетесь тому сами, уверившись истинно, что настоящее *comme il faut* есть то, которое требует от человека Тот Самый, Который создал его, а не тот, который приводит в систему обеды, даже и не тот, который сочиняет всякий день меняющиеся этикеты, даже и не сама мадам Сихлер<sup>148</sup>. Заведите для всякой денежной кучи особенную книгу, подводите итог всякой куче каждый месяц и перечитывайте в последний день месяца все вместе, сравнивая всякую вещь одну с другою, чтобы уметь узнавать, во сколько раз одна нужнее другой, чтобы

<sup>147</sup> буквально: как надо, как следует (*фр.*); «комильфо» — прилично, в соответствии с правилами светского приличия.

<sup>148</sup> Сестры Циклер, портнихи, владелицы модных магазинов в Петербурге. См. также comment. к с. 275.

видеть ясно, от какой прежде нужно отказаться в случае необходимости, чтобы научиться мудрости постигать, что из нужного есть самое нужнейшее.

Держитесь этого строго в продолжение целого года. Крепитесь и будьте упрямые, и во все это время молитесь Богу, чтобы укрепил вас. И вы окрепнете непременно. Важно то, чтобы в человеке хотя что-нибудь окрепнуло и стало непреложным; от этого невольно установится порядок и во всем прочем. Укрепясь в деле вещественного порядка, вы укрепитесь нечувствительно в деле душевного порядка. Распределите ваше время; положите всему непременные часы. Не оставайтесь поутру с вашим мужем; гоните его на должность в его департамент, ежеминутно напоминая ему о том, что он весь должен принадлежать общему делу и хозяйству всего государства (а его собственное хозяйство не его забота: оно должно лежать на вас, а не на нем), что он женился именно затем, чтобы, освободя себя от мелких забот, всего отдать отчизне, и жена дана ему не на помеху службе, но в укрепление его на службе. Чтобы все утро вы работали порознь, каждый на своем поприще, и через то встретились бы весело перед обедом и обрадовались бы так друг другу, как бы несколько лет не видались, чтобы вам было что пересказать друг другу и не попотчевал бы один другого зевотой. Расскажите ему все, что вы делали в вашем доме и домашнем хозяйстве, и пусть он расскажет вам все, что производил в департаменте своем для общего хозяйства. Вы должны знать непременно существо его должности, и в чем состоит его часть, и какие дела случилось ему вершить в тот день, и в чем именно они состояли. Не пренебрегайте этим и помните, что жена должна быть помощницей мужа. Если только в течение одного года вы будете внимательно выслушивать от него все, то на другой год будете в силах подать ему даже совет, будете знать, как ободрить его при встрече с какою-нибудь неприятностью по службе, будете знать, как заставить его перенести и вытерпеть то, на что у него не достало бы духа, будете его истинный возбудитель на все прекрасное.

Начните же с этого дня исполнять все, что я вам теперь сказал. Крепитесь, молитесь и просите Бога беспрерывно, да поможет вам собрать всю себя в себе и держать себя. Все у нас теперь расплылось и расшнуровалось. Дрянь и тряпка стал всяч человек; обратил сам себя в подлое подножье всего и в раба самых пустейших и мелких обстоятельств, и нет теперь нигде свободы в ее истинном смысле. Эту свободу один мой приятель, который вами лично не знаем, но которого, однако же, знает вся Россия<sup>149</sup>, определяет так: «Свобода не в том, чтобы

---

<sup>149</sup> Гоголь имеет в виду В. А. Жуковского, который в заметке «Что есть свобода» (1846) высказывает сходную мысль: «Что есть свобода? Способность

говорить произволу своих желаний: *да*, но в том, чтобы уметь сказать им: *нет*. Он прав, как сама правда. Никто теперь в России не умеет сказать самому себе этого твердого «нет». Нигде я не вижу мужа. Пусть же бессильная женщина ему о том напомнит! Стало так теперь все чудно, что жена же должна повелеть мужу, дабы он был ее глава и повелитель.

1846

## XXV

### СЕЛЬСКИЙ СУД И РАСПРАВА (Из письма к М.)<sup>150</sup>

Никак не пренебрегайте расправой и судом. Не поручайте этого дела управителю и никому в деревне: эта часть важнее самого хозяйства. Судите сами. Этим одним вы укрепите разорванную связь помещика с крестьянами. Суд — Божье дело, и я не знаю, что может быть этого выше. Недаром так чувствуется в народе тот, кто умеет произносить правый суд. К вам повалит не только ваша деревня, но и все окружные мужики из других селений, как только узнают, что вы умеете давать расправу. Не пренебрегайте никем из приходящих и судите всех, хотя бы даже в незначительной ссоре или драке. По поводу этого можете много сказать мужику такого, что пойдет в добро его душе, и чего бы вы никак не нашлись сказать в другое время, не найдя, к чему прицепиться.

Судите всякого человека двойным судом и всякому делу давайте двойную расправу. Один суд должен быть человеческий. На нем оправдайте правого и осудите виноватого. Старайтесь, чтоб это было при свидетелях, чтобы тут стояли и другие мужики, чтобы все видели ясно как день, чем один прав и чем другой виноват. Другой же суд сделайте Божеский. И на нем осудите и правого и виноватого. Выведите ясно первому, как он сам был тому виной, что другой его обидел, а второму — как он вдвойне виноват и пред Богом, и пред людьми; одного укорите,

---

произносить слово «нет» мысленно или вслух» (Жуковский В. А. Сочинения в стихах и прозе. С. 936). Немного позднее, в письме к М. С. Щепкину от 24 октября н. ст. 1846 г., Гоголь писал: «...для русского человека нет невозможного дела <...> нет даже на языке его и слова *нет*, если он только прежде выучился говорить всяким собственным страстишкам: *«нет»*.

<sup>150</sup> Адресат письма не установлен.

зачем не простил своему брату, как повелел Христос, а другого попрекните, зачем он обидел Самого Христа в своем брате; а обоим вместе дайте выговор за то, что не примирились сами собой и пришли на суд, и возьмите слово с обоих исповедаться непременно попу на исповеди во всем. Если такой суд вы будете произносить, вы будете сами полномочны, как Бог, потому что Бог вас уполномочит. Вы извлечете оттуда для себя самого много добра и много прямых и правых познаний. Если бы многие из государственных людей начинали свое поприще не бумажными занятиями, а устной расправой дел между простыми людьми, они бы лучше узнали дух земли, свойство народа и вообще душу человека, и не заимствовали бы потом из чужеземных земель нам неприличных нововведений. Правосудие у нас могло бы исполняться лучше, нежели во всех других государствах, потому что из всех народов только в одном русском заронилась эта верная мысль, что нет человека правого и что прав один только Бог. Эта мысль, как непреложное верование, разнеслась повсюду в нашем народе. Вооруженный ею, даже простой и неумный человек получает в народе власть и прекращает ссоры. Мы только, люди высшие, не слышим ее, потому что набрались пустых рыцарски-европейских понятий о правде. Мы только спорим из-за того, кто прав, кто виноват; а если разобрать каждое из дел наших, приишь к тому же знаменателю, то есть — оба виноваты. И видишь, что весьма здраво поступила комендантша в повести Пушкина «Капитанская дочка», которая, пославши поручика рассудить городового солдата с бабой, подравшихся в бане за деревянную шайку, снабдила его такой инструкцией: «Разбери, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи».

1845

## XXVI

### СТРАХИ И УЖАСЫ РОССИИ (Письмо к графине .....ой)<sup>151</sup>

На ваше длинное письмо, которое вы писали с таким страхом,

<sup>151</sup> Письмо обращено к Луизе Карловне Виельгорской (рожденной герцогине Бирон; 1791 — 1853), жене Михаила Юрьевича Виельгорского. Цензура не пропустила данной статьи, впервые она была опубликована П. И. Бартеневым в «Русском архиве» (1866).

которое просили сей же час истребить после прочтения и на которое отвечать просили не иначе, как через верные руки, а отнюдь не по почте, я отвечаю не только не по секрету, но, как вы видите, в печатной книге, которую, может быть, прочтет половина грамотной России. Побудило меня к тому то, что, может быть, мое письмо послужит в то же время ответом и прочим, которые, подобно вам, смущаются теми же страхами. То, что вы мне объявляете по секрету, есть еще не более как одна часть всего дела; а вот если бы я вам рассказал то, что я знаю (а знаю я, без всякого сомнения, далеко еще не все), тогда бы, точно, помутились ваши мысли и вы сами подумали бы, как бы убежать из России. Но куды бежать? вот вопрос. Европе пришлось еще трудней, нежели России. Разница в том, что там никто еще этого вполне не видит: все, не выключая даже государственных людей, пребывает покуда на верхушке верхних сведений, то есть пребывает в том заколдованным круге познаний, который нанесен журналами в виде скороспелых выводов, опрометчивых показаний, выставленных, сквозь лживые призмы всяких партий, вовсе не в том свете, в каком они есть. Погодите, скоро поднимутся снизу такие крики, именно в тех с виду благоустроенных государствах, которых наружным блеском мы так восхищаемся, стремясь от них все перенимать и приспособлять к себе, что закружится голова у самых тех знаменитых государственных людей, которыми вы так любовались в палатах и камерах. В Европе завариваются теперь повсюду такие сумятицы, что не поможет никакое человеческое средство, когда они вскроются, и перед ними будет ничтожная вещь те страхи, которые вам видятся теперь в России. В России еще брезжит свет, есть еще пути и дороги к спасению, и слава Богу, что эти страхи наступили теперь, а не позже. Ваши слова: «Все падают духом, как бы в ожиданье чего-то неизбежного», равно как и слова: «Каждый думает только о спасении личных выгод, о сохранении собственной пользы, точно как на поле сражения после потерянной битвы всякий думает только о спасении жизни: *sauve qui peut*<sup>152</sup>, действительно справедливы; так оно теперь действительно есть; так быть должно: так повелел Бог, чтобы оно было. Всяк должен подумать теперь о себе, именно о своем собственном спасении. Но настал другой род спасенья. Не бежать на корабле из земли своей, спасая свое презренное земное имущество, но, спасая свою ДУ<sup>"^</sup>, не выходя вон из государства, должен всяк из нас спасать себя самого в самом сердце государства. На корабле своей должности и службы должен теперь всяк из нас выноситься из омута, глядя на Кормщика небесного. Кто даже и не в службе, тот должен теперь же вступить на службу и ухватиться за свою должность, как утопающий хватается за

---

<sup>152</sup> спасайся, кто может (*фр.*).

доску, без чего не спастись никому. Служить же теперь должен из нас всяк не так, как бы служил он в прежней России, но в другом небесном государстве, главой которого уже Сам Христос, а потому и все свои отношения ко власти ли, высшей над нами, к людям ли, равным и кружасшимся вокруг нас, к тем ли, которые нас ниже и находятся под нами, должны мы выполнить так, как повелел Христос, а не кто другой. И уж нечего теперь глядеть на какие-нибудь щелчки, которые стали бы наноситься от кого бы то ни было, нашему честолюбью или самолюбью, — нужно помнить только то, что ради Христа взята должность, а потому должна быть и выполнена так, как повелел Христос, а не кто другой. Только одним этим средством и может всяк из нас теперь спастись. И плохо будет тому, кто об этом не помыслит теперь же. Помутится ум его, омрачатся мысли, и не найдет он угла, куды скрыться от своих страхов. Вспомните *Египетские тьмы*, которые с такой силой передал царь Соломон<sup>153</sup>, когда Господь, желая наказать одних, наслал на них неведомые, непонятные страхи. Слепая ночь обняла их вдруг среди бела дня; со всех сторон уставились на них ужасающие образы; дряхлые страшилища с печальными лицами стали неотразимо в глазах их; без железных цепей сковала их всех боязнь и лишила всего, все чувства, все побуждения, все силы в них погибли, кроме одного страха. И произошло это только в тех, которых наказал Господь. Другие в то же время не видали никаких ужасов; для них был день и свет.

Смотрите же, чтобы не случилось с вами чего-нибудь подобного. Лучше молитесь и просите Бога о том, чтобы вразумил вас, как быть вам на вашем собственном месте и на нем исполнить все, сообразно с законом Христа. Дело идет теперь не на шутку. Прежде чем приходить в смущенье от окружающих беспорядков, недурно заглянуть всякому из нас в свою собственную душу. Загляните также и вы в свою. Бог весть, может быть, там увидите такой же беспорядок, за который браните других; может быть, там обитает растрепанный, неопрятный гнев, способный всякую минуту овладеть вашею душою, на радость врагу Христа; может быть, там поселилась малодушная способность падать на всяком шагу в уныние<sup>154</sup> — жалкая дочь безверья в Бога; может быть, там еще таится тщеславное желанье гоняться за тем, что блестит и пользуется известностью светской; может быть, там обитает гордость

<sup>153</sup> Имеется в виду Книга Премудрости Соломона (гл. 17). В 1846 г. В. А. Жуковский сделал стихотворный перевод этой главы — «Египетская тьма». Гоголь, несомненно, пользуется данным переводом, что показывает текстологический анализ.

<sup>154</sup> См. comment. к трактату «О тех душевных расположениях и недостатках наших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать в спокойном состоянии».

лучшими свойствами своей души, способная превратить в ничто все добро, какое имеем. Бог весть, что может быть в душе нашей. Лучше в несколько раз больше смутиться от того, что внутри нас самих, нежели от того, что вне и вокруг нас. Что же касается до страхов и ужасов в России, то они не без пользы: посреди их многие воспитались таким воспитаньем, которого не дадут никакие школы. Самая затруднительность обстоятельств, предоставивши новые извороты уму, разбудила дремавшие способности многих, и в то время, когда на одних концах России еще доплясывают польку и доигрывают преферанс, уже незримо образовываются на разных поприщах истинные мудрецы жизненного дела. Еще пройдет десяток лет, и вы увидите, что Европа приедет к нам не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой не продают больше на европейских рынках. Я бы вам назвал многих таких, которые составят когда-нибудь красоту земли русской и принесут ей вековечное добро; но к чести вашего пола я должен сказать, что женщин еще больше. Целое жемчужное ожерелье их хранит моя память. Все они, начиная с ваших дочерей<sup>155</sup>, которые так живо напомнили мне, во сколько раз родство по душе выше всякого кровного родства (дай Бог, чтобы наилучшая сестра с такой готовностью исполняла просьбу своего брата, с какой они исполняли малейшее желание души моей), — начиная с них и продолжая теми, о которых вы едва слышали, и оканчивая теми, о которых вы, может быть, и не услышите никогда, но которые совершеннее всех тех, о коих вы слышали. Все они не похожи одна на другую, и каждая есть сама по себе явленье необыкновенное. Только одна Россия могла произвести подобное разнообразие характеров. И только в нынешнее время трудных обстоятельств, расслабленья и развращенья общего, повсеместной ничтожности общества, могли они образоваться. Но всех перевысила одна, которую я и в глаза не знаю и о которой до меня достигнул только один темный рассказ. Не думал я, чтобы могло существовать на земле подобное совершенство. Произвести такое умное и великодушное дело, и произвести его так, как умела сделать она; сделать так, чтобы отклонить от себя и подозренье в ее собственном участии и разложить весь подвиг на других таким образом, что эти другие стали хвастаться ею сделанным делом, как бы собственным своим, в полной уверенности, что они его сделали. Так умно обдумать уже вперед, как убежать от известности, тогда как само дело уже необходимо должно было кричать о себе и обнаружить ее! Успеть в этом и остаться в неизвестности! Нет, подобной мудрости еще не

---

<sup>155</sup> У М. Ю. и Л. К. Виельгорских было три дочери: Аполлинария Михайловна (в замужестве Веневитинова; 1818 — 1884), Софья Михайловна (в замужестве Соллогуб; 1820 — 1878) и Анна Михайловна (в замужестве кн. Шаховская; 1822—1861).

встречал я ни в ком из нашей браты мужеска пола. И передо мною показались в эту минуту бледными все женские идеалы, создаваемые поэтами: они то же перед этой истиной, что бред воображенья перед полным разумом. Жалки мне также показались в эту минуту все те женщины, которые гонятся за блистающей известностью! И где же явилось такое чудо? В незаметном захолустье России, в то время именно, когда стало трудней изворачиваться человеку, когда запутались обстоятельства всех и наступили пугающие вас страхи и ужасы России.

1846

## XXVII

### БЛИЗОРУКОМУ ПРИЯТЕЛЮ<sup>156</sup>

Вооружился взглядом современной близорукости и думаешь, что верно судишь о событиях! Выводы твои — гниль; они сделаны без Бога. Что ссылаешься ты на историю? История для тебя мертвa, — и только закрытая книга. Без Бога не выведешь из нее великих выводов; выведешь одни только ничтожные и мелкие. Россия не Франция; элементы французские — не русские. Ты позабыл даже своеобразность каждого народа и думаешь, что одни и те же события могут действовать одинаковым образом и на каждый народ. Тот же самый молот, когда упадает на стекло, раздробляет его вдребезги, а когда упадет на железо, кует его<sup>157</sup>. Мысли твои о финансах основаны на чтенье иностранных книг да на английских журналах, а потому суть мертвые мысли. Стыдно тебе, будучи умным человеком, не войти до сих пор в собственный ум свой, который мог бы самобытно развиться, а захламостить его чужеземным навозом. Не вижу и в проектах твоих участья Божьего; не слышу в словах письма твоего, несмотря на весь блеск ума и остроумья, чтобы Бог присутствовал в твоих мыслях в то время, когда ты писал его; не вижу я на твоей мысли освященья небесного. Нет, не сделаешь ты добра на своей должности, хотя и желаешь того; не принесут твои дела

<sup>156</sup> Адресат письма не установлен.

<sup>157</sup> Парафраз стихов из «Полтавы» А. С. Пушкина:

Перетерпев судеб удары,  
Окрепла Русь.  
Так тяжкий мат,  
Дробя стекло, кует булат.

того плода, которого ждешь. С прекрасными намереньями можно сделать зло, как уже многие и сделали его. В последнее время не столько беспорядков произвели глупые люди, сколько умные, а все оттого, что понадеялись на свои силы да на ум свой. Ты горд, и чем же горд? хоть бы уже своим умом; нет, ты загромоздил сором свой ум, действительно замечательный и великий, и сделал его чужестранцем самому себе. Ты горд чужим, мертвым умом и выдаешь его за свой. Смотри за собой: ты ходишь опасно. Ты метишь в государственные люди, и будешь человеком государственным, потому что у тебя, точно, есть на то способности; но тем строже теперь смотри за собой. Не заводи этих улучшений, которыми уже наполнилась твоя голова еще прежде, чем ты вступил в свою должность, и помни, что всяким малейшим неосмотрительным поступком можно произвести теперь большое зло. Уже и в твоих нынешних проектах видна скорее боязнь, нежели предусмотрительность. Все мысли твои направлены к тому, чтобы избегнуть чего-то угрожающего в будущем. Не будущего, но настоящего опасайся. О настоящем велит нам заботиться Бог. Кто омрачается боязнью от будущего, от того, значит, уже отступилась святая сила. Кто с Богом, тот глядит светло вперед и есть уже в настоящем творец блистающего будущего. А ты горд: ты и теперь уже ничего не хочешь видеть; ты самоуверен: ты думаешь, что уже все знаешь ты думаешь, что все обстоятельства России тебе открыты ты думаешь, что уже никто и поучить тебя не может ты стремишься изо всех сил быть похожим на тех государственных людей, которые скоро блеснули и скоро исчезли, которые имели в себе все для того, чтобы сделать множество добра, которые даже пламенели желаньем сделать добро, даже работали, как муравьи, всю свою жизнь, и при всем том не осталось после них никакого следа, и самая память о них позабыта; как исчезнувший круг на воде, исчезнула жизнь их посреди России. И до сих пор еще, к нашему стыду, указывают нам европейцы на своих великих людей, умней которых бывают у нас иногда и невеликие люди; но те хоть какое-нибудь оставили после себя дело *прочное*, а мы производим кучи дел, и все, как пыль, сметаются они с земли вместе с нами. Ты горд — говорю тебе, и вновь повторяю тебе: ты горд; сторожи над собой и спасай себя от гордости заране. Начни с того, что уверь самого себя, что ты всех глупее в России, и что с этих только пор следует сурьезно поумнеть тебе, и слушай с таким вниманием всякого дельца, как бы равно ничего не знал и всему от него хотел поучиться. Но тебе еще загадка слова мои; они на тебя не подействуют. Тебе нужно или какое-нибудь несчастье, или потрясение. Моли Бога о том, чтобы случилось это потрясенье, чтобы встретилась тебе какая-нибудь невыносимейшая неприятность на службе, чтобы нашелся такой человек, который сильно оскорбил бы тебя и

опозорил так в виду всех, что от стыда не знал бы ты, куда сокрыться, и разорвал бы за одним разом все чувствительнейшие струны твоего самолюбия. Он будет твой истинный брат и избавитель. О, как нам бывает нужна публичная, данная в виду всех, оплеуха! <sup>158</sup>

1844

## XXVIII

### ЗАНИМАЮЩЕМУ ВАЖНОЕ МЕСТО <sup>159</sup>

Во имя Бога берите всякую должность, какая б ни была вам предложена, и не смущайтесь ничем. Придется ли вам ехать к черкесам на Кавказ или по-прежнему занять место генерал-губернатора — вы

<sup>158</sup> Происхождение этой фразы связано с содержанием новеллы П. Мериме «Души в чистилище», к русскому переводу которой Гоголь написал в начале 1840-х гг. специальную заметку. Герою новеллы, ушедшему в монастырь испанскому гранду Дон Жуану — известному своим былым распутством. за преступление, совершенное им уже в монашестве, аббат приказал с целью умерщвления остатков гордыни являться каждое утро к монастырскому повару для получения пощечины. Согласно указанию А. А. Елистратовой (в ее кн.: Гоголь и проблемы западноевропейского романа. М., 1972. С. 89 — 90), с этим местом в повести связан следующий набросок Гоголя в тексте его заметки о Мериме: «Милостивый государь! Милостивый государь такой-то, сякой-то и прочее и прочее, за что вы должны всякий раз ему дать оплеуху по щеке». В записной книжке Гоголя 1841 — 1846 гг. есть также соответствующая запись: «Благодарность за оплеуху: — Давно бы, батюшка, так. Благодарю вас».

<sup>159</sup> Адресат письма не указан, но оно, несомненно, обращено к графу А. П. Толстому. Отдельные места этой главы имеют текстуальные совпадения с гоголевской записью «Дела, предстоящие губернатору», сделанной со слов графа Толстого (записная книжка 1841 — 1846 гг.). В черновом письме к нему, служащем, по всей видимости, наброском данной статьи, Гоголь писал: «Я Вас очень благодарю, что Вы объяснили должность генерал-губернатора; я только с Ваших слов узнал, в чем она истинно может быть важна и нужна в России. Прежде мне казалось, что и без нее организм управления губернии совершенно полон» (Сочинения Н. В. Гоголя. 10-е изд. Спб., 1896. Т. 7. С. 451).

В настоящей статье отдельные мысли перекликаются с суждениями генерал-губернатора в последней из сохранившихся глав второго тома «Мертвых душ». В образе этого генерал-губернатора многие угадывали графа А. П. Толстого. Письмо было запрещено цензурой. Впервые опубликовано Ф. И. Чижовым в третьем томе Полного собрания сочинений Н. В. Гоголя (М., 1867).

теперь нужны повсюду. Что же до затруднительностей, о которых вы говорите, то все теперь затруднительно; все стало сложно; везде много работы. Чем больше вхожу умом в существо нынешних вещей, тем менее могу решить, какая должность теперь труднее и какая легче. Для того, кто не христианин, все стало теперь трудно; для того же, кто внес Христа во все дела и во все действия своей жизни, — все легко. Не скажу вам, чтобы вы сделались вполне христианином, но вы близки к тому. Вас не шевелит уже честолюбие, вас не завлекают вперед уже ни чины, ни награды, вы уже вовсе не думаете о том, чтобы порисоваться перед Европой и сделать из себя историческое лицо. Словом, вы взошли именно на ту степень состояния душевного, на которой нужно быть тому, кто захотел бы сделать теперь пользу России. Чего ж вам бояться? Я даже не понимаю, как может чего-либо бояться тот, кто уже постигнул, что нужно действовать повсюду как христианин. Он на всяком месте мудрец, везде знатель дела. Поедете вы на Кавказ — вы прежде всего пристально осмотритесь. Христианское смиление вас не допустит ни к какой быстрой поспешности. Вы, как ученик, сначала будете узнавать. Вы не пропустите ни одного старого офицера, не расспросив о его собственличных схватках с неприятелем, зная, что только из знанья подробностей выводится знанье *целого*. Вы заставите всех рассказать себе порознь все подвиги бранной и бивачной жизни; расспросите и цициановцев, и ермоловцев<sup>160</sup>, и офицеров нынешней эпохи и, когда заберете все, что нужно, обнимете все частности, соедините все отдельные цифры и подведете им итог — выйдет в итоге сам собою план полководцу: не нужно будет и головы ломать, ясно будет как день все, что вам нужно делать. И когда весь план будет уже в голове вашей, вы и тогда не будете торопиться; христианское смиление вас к тому не допустит. Не объявляя его никому, вы расспросите всякого замечательного офицера, как бы он поступил на вашем месте; вы не оставите неуслышанным ни одного мнения, ни даже совета от кого бы то ни было, хотя бы от стоящего на низком месте, зная, что иногда Бог может внушить и простому человеку умное мнение. Для этого вы не станете собирать военных советов, зная, что не в преньях и спорах дело, но поодиночке выслушаете каждого, кто бы ни захотел с вами поговорить. Словом, вы всех выслушаете, но сделаете так, как повелит вам ваша собственная голова; а ваша собственная голова повелит вам разумно, потому что всех выслушает. Вы будете даже не в состоянии сделать неразумное дело, потому что неразумные дела делаются от

---

<sup>160</sup> Имеются в виду офицеры, воевавшие на Кавказе под командой генералов Павла Дмитриевича Цицианова (1754 — 1806) и Алексея Петровича Ермолова (1777 — 1861).

гордости и уверенности в себе. Но христианское смиление спасет вас повсюду и отгонит то самоослепление, которое находит на многих даже очень умных людей, которые, узнавши только одну половину дела, уже думают, что узнали все, и летят опрометью действовать; тогда как, увы, даже и в том деле, которое, по-видимому, насквозь нам известно, может скрываться целая половина неизвестная. Нет, Бог от вас отгонит это грубое ослепление. Чего ж вам бояться Кавказа?

Придется ли вам по-прежнему быть генерал-губернатором где-нибудь внутри России — та же христианская мудрость осенит вас. Очень знаю, что теперь трудно начальствовать внутри России — гораздо труднее, чем когда-либо прежде, и, может быть, труднее, чем на Кавказе. Много злоупотреблений; завелись такие лихоимства, которых истребить нет никаких средств человеческих. Знаю и то, что образовался другой незаконный ход действий мимо законов государства и уже обратился почти в законный, так что законы остаются только для вида; и если только вникнешь пристально в то самое, на что другие глядят поверхность, не подозревая ничего, то закружится голова у нанумнейшего человека. Но вы и тут поступите умно. Христианское смиление заставит вас и здесь не предаваться покуда выводам гордого ума, но терпеливо обсмотреться. Зная, под каким множеством посторонних влияний находится теперь всякий человек и как все они имеют соприкосновение с отправлением его должности, вы прежде полюбопытствуете узнать каждого из занимающих главные должности, узнать его со всех сторон с его домашней и семейной жизнью, с его образом мыслей, наклонностями и привычками. Для этого вы не будете употреблять шпионов. Нет, вы расспросите его самого. Он вам скажет все и с вами разговорится, потому что в лице вашем есть уже что-то такое, что внушает к вам доверчивость во всех; с помощью этого вы узнаете то, чего не знает никогда крикун нахрап, или так называемый распекатель. Вы не будете преследовать за несправедливость никого отдельно по тех пор, покуда не выступит перед вами ясно вся цепь, необходимым звеном которой есть вами замеченный чиновник. Вы уже знаете, что вина так теперь разложилась на всех, что никаким образом нельзя сказать вначале, кто виноват более других. Есть безвинно-виноватые и виновно-невинные. По этому-то самому вы теперь будете несравненно осторожней и осмотрительней, чем когда-либо прежде. Вы станете покрепче всматриваться в душу человека, зная, что в ней ключ всего. Душу и душу нужно знать теперь, а без того не сделать ничего. А узнавать душу может один только тот, кто начал уже работать над собственной душой своей, как начали это делать теперь вы. Если вы узнаете плуга не только как плуга, но и как человека вместе, если вы узнаете все душевые его силы, данные ему на добро и которые он

поворотил во зло или вовсе не употребил, тогда вы сумеете так попрекнуть его им же самим, что он не найдет себе места, куда ему укрыться от самого же себя. Дело вдруг примет другой оборот, если покажешь человеку, чем он виноват перед самим собой, а не перед другим. Тут потрясешь так его всего, что в нем явится вдруг отвага быть другим, и тогда только вы почувствуете, как благородна наша русская порода, даже и в плуте. Ваше нынешнее генерал-губернаторство будет совсем другое, нежели прежнее. Главная ошибка вашего прежнего управления, которое, однако ж, принесло большую пользу, несмотря на то что вы его осуждаете и порочите, состояла, по моему мнению, в том, что вы не вполне верно определили себе существо этой должности. Вы приняли генерал-губернатора за постоянного начальника и хозяйственного правителя губернии, которого благодетельное влияние может быть ощутительно в губернии только от долговременного его пребыванья на одном месте. Один государственный наш муж определил так эту должность: «Генерал-губернатор есть министр внутренних дел, остановившийся на дороге». Определенье это точней и более согласно с тем, чего требует само правительство от этой должности. Должность эта более временная, чем постоянная. Генерал-губернатор посыпается затем, чтобы ускорить биение государственного пульса внутри губернии, привести в быстрейшее движение все правительственные производство в губернских местах как связанных между собою, так и независимых, состоящих под управлением отдельных министерств, дать толчок всему, своим полномочием облегчить затруднительность многих мест в их сношеньях с отдаленными министерствами, не внося никаких новых элементов и ничего не завода от себя, все заставить обращаться быстрей в законах и границах, уже указанных и определенных. Власть эту, состоящую в верховном блюдении над тем, что уже есть и заведено, вы приняли за хлопотливую обязанность управителя, который сам должен изворачиваться в хозяйстве и приять на себя все мелочные расходы; вы захватили себе часть того, что должно принадлежать губернатору, а не генерал-губернатору, и этим самым уменьшили значение высшее вашей должности. Вы сочли ваше место пожизненным. Вы захотели вашими собственными учреждениями оставить по себе памятник вашего пребывания. Стремленье прекрасное, но если бы вы уже тогда были тем, чем вы есть теперь, то есть более христианином, вы позабочились бы о другом памятнике. Устроить дороги, мосты и всякие сообщения, и устроить их так умно, как устроили вы, есть дело истинно нужное; но угладить многие внутренние дороги, которые до сих пор задерживают русского человека в стремленье к полному развитию сил его и которые мешают ему пользоваться как дорогами, так и всякими другими внешностями образования, о которых мы так усердно хлопочем, есть

дело еще нужнейшее. Пушкин, когда видел заботу не о главном, но о том, что уже исходит из главного, обыкновенно выражался пословицей: «Было бы корыто, а свиньи будут». Мосты, дороги и все эти сообщенья суть свиньи, а не что-либо другое. Были бы города, а они сами собой прибегут. В Европе о них не много хлопотали, но как только явились города, сами собой явились дороги: сами же частные люди и завели их без всякого пособия правительства, и теперь развилось их такое множество, что стали уже сурьезно задавать друг другу вопросы: «Зачем эта скорость сообщений? Что выиграло человечество через эти железные и всякие дороги<sup>161</sup>, что приобрело оно во всех родах своего развития и что пользы в том, что один город теперь обеднел, а другой сделался толкучим рынком да увеличилось число праздношатающихся по всему миру?» В России давно бы завелась вся эта дрянь сама собою, с такими удобствами, каких и в Европе нет, если бы только многие из нас позабочились прежде о деле внутреннем так, как следует. «О сем помыслите прежде, — сказал Спаситель, — а сия вся вам приложится». Ваши подвиги в отношении нравственном были гораздо значительней. Кого я ни слышал, все отзываются с уважением о ваших распоряжениях; все говорят, что вы искоренили многие неправды, что постановили многих истинно благородных и прекрасных чиновников. Я это узнал, хотя вы по скромности мне не сказали. Но вы бы сделали еще более, если бы вспомнили тогда, что ваша должность на время и что не о том следовало заботиться, чтобы только при вас все было хорошо, но именно о том, чтобы после вас все было хорошо. Вы должны были беспрестанно представлять себе, что после вас примет эту должность слабый и бездарный последователь, который не только не поддержит вами заведенного порядка, но еще испортит его, а потому уже с самого начала вы должны были помышлять о том, чтобы действовать так прочно и закалить сделанное так крепко, чтобы после вас никто уже не мог своротить того, что раз направлено. Вы должны были рубить зло в корне, а не в ветвях, и дать такой толчок всеобщему движению всего, чтобы после вас пошла сама собой работать машина, так чтобы незачем было над ней стоять и надсмотрщику, и сим только воздвигнули бы памятник вечный вашего генерал-губернаторства. Теперь я знаю, что вы совсем поступите иначе, а потому не пренебрегайте никак этой должностью, если бы она была вам вновь предложена. Никогда не был еще так важен и нужен генерал-губернатор, как в нынешнее время. Я вам назову уже

<sup>161</sup> Е. А. Хитрово 22 января 1851 г. записала разговор с Гоголем: «Говорили об открытиях. Он бранил лампы. Я сказала: «А сколько нововведений на моей памяти! шоссе и дилижансы от Москвы до Петербурга, стеарин, дагерротип». Гоголь: «И на что все это надобно? Лучше ли от этого люди? Нет, хуже!» (Русский архив. 1902. № 3. С. 549).

несколько подвигов таких, которых никто теперь не может сделать, кроме генерал-губернатора.

Во-первых, ввести всякую должность в ее законные границы и всякого чиновника губернии в полное познанье его должности. Это дело очень не бездельное. В последнее время все почти губернские должности нечувствительным образом выступили из пределов и границ, указанных законом. Одни слишком стали обрезаны и стеснены, другие раздвинулись в действиях в ущерб прочим; прямые места обессилены и ослабели от введения множества косвенных и временных. В последнее время стали особенно чувствоватьться полномочие и развязанные руки там, где нужно препятствовать в действиях, и связанные руки там, где нужно спешествовать им. Возвратить всякую должность в ее законный круг тем более стало теперь трудно, что сами чиновники сбились в своих понятиях о ней. Получая ее по наследству от предшественника в том виде, какой дал ей последний, они все соображаются более или менее с этим видом, а не с первообразом ее, который уже почти вышел у всех из головы. От этого многие благонамеренные и даже весьма умные начальники хотели уже уничтожить или вовсе преобразовать те должности, которые следовало только просто возвратить себе. Дело это может произвести только высший и полномочный начальник, если он не пренебрежет вникнуть сам в существо всякой должности. Все наши должности в их первообразе прекрасны и прямо созданы для земли нашей. Рассмотрим нарочно организм губернии. Первое лицо — губернатор. Он является в нескольких видах своей власти.

Он начальник и правитель полномочный во всем, что ни относится до хозяйственного и полицейского управления по всей губернии, как городового, разумея здесь все, что ни относится ко внутреннему устройству городов и содержанию среди их порядка, так и земского, включая сюда все, что производится в землях вне городов: взъем податей, распределение повинностей, устройство дорог, постройки и поправки всех родов. В первом случае в его полном и непосредственном распоряжении губернский полицмейстер и городничие всех городов; во втором случае — капитан-исправники и земские заседатели, которые относятся к нему посредством губернского правления, образованного в духе коллегиальных правлений с советниками, а не в виде собственной канцелярии с секретарем, так что ответственность во всяком важном злоупотреблении, если бы его сделал губернатор, падает непременно на советников и чиновников, и при всем полномочье своем он уже ограничен.

Он более нежели присутственный член и свидетель деловых производств в других присутственных местах, от него вовсе не

зависящих и состоящих под управлением своих особых министерств; если только эти места совершают какие-нибудь сделки и условия, относительно ли отдачи в наймы или на откуп казенных земель, озер или вообще относительно всяких продаж, закупок и совершенья на них условий, он должен быть уже там. Никакие казенные подряды и сделки не могут быть произведены без его личного присутствия. Таким образом места, вовсе от него не зависящие относительно внутренних своих производств, уже обрезаны его присутствием на всех путях к злоупотреблениям.

Весь снаряд юстиции, как-то: все суды уездные, так и высшая их инстанция — гражданская палата, находясь в полном заведовании своего министерства, кажутся в независимости от губернатора, но на всех путях несправедливостей они ограничены на всяком шагу губернатором, который во время объездов своих по всей губернии, случающихся не менее двух раз в год, имеет право, заглянувши в суд, потребовать на выдержку два-три решенные дела, проверить их у себя на дому, вместе с секретарем своим, и таким образом держать в страхе их всех. Словом, не имея никакого начальства над местами, зависящими от других начальников, он имеет право остановить злоупотребление повсюду, где бы оно ни было.

На дворян он может иметь только влияние нравственное. В обряде же должностных его соприкосновений с дворянством устроено так, чтобы он имел с ними дело в лице их же представителя, губернского предводителя, и таким образом посредством его одного поладить с ними со всеми; здесь видна особенно мудрость законодателя, потому что иначе не было бы никакой возможности ему сноситься с ними со всеми и ладить, принимая в соображение то различие воспитаний, нравов, образов мыслей и то бесчисленное разнообразие характеров, какого не представляет ни одно из европейских дворянств и которое заключилось только в нашем. Звание предводителя дворянства, будучи почти равное чином званью губернатора, имея право на первое место после него в губернии, уже сим самым указывает им на необходимость быть друзьями, иначе им обоим было бы неловко в отношениях светских и непросторно на поприще должностном. Самые места капитан-исправника и заседателей, которые, будучи избираемы дворянством, находятся потом в полной зависимости от губернатора, указывают на необходимость взаимного подкрепления одного в другом. Грозя именем губернатора, предводитель может много сделать там, где не хватит собственной власти; равно как и губернатор посредством предводителя может успешней и сильней действовать на дворян.

Всюду могут случиться просмотры, неправда может

проскользнуть везде; за самим губернатором могут завестись грехи. И это предусмотрено: есть отдельное лицо, от всех независимое, долженствующее держать себя от всех в стороне, даже и от самого губернатора. Это прокурор, который есть око закона, без которого ни одна бумага не может выйти из губернии. Ни одно производство дел по всем губернским местам не может его миновать. Оно не решено, если он не пометил на всех его страницах свое слово: читал. Никому не подлежит он сам во всей губернии; никому не дает отчета, кроме министра юстиции, с которым одним только в прямом сношении, и всегда может подать протест на все, что ни вершится в губернии.

Словом — все полное, и везде слышна законодательная мудрость, как в установлении самих властей, так и в соприкосновеньях их между собою. Я уже и не говорю о тех учрежденьях, где еще далее простерлось правительственные предвиденье, упомяну только о Совестном Суде, подобного которому не знаю в других государствах<sup>162</sup>. По моему мнению, это верх человеколюбия, мудрости и познанья душевного. Все те случаи, где тяжело и жестоко прикованье закона; все дела, относящиеся до малолетних, умалишенных; все, что может решить одна только совесть человека и где может быть несправедлив справедливейший закон; все, что должно быть кончено полюбовно и миролюбиво в высоком христианском смысле, без проволочек по высшим инстанциям, — есть уже его предмет. И как умно, что выбор совестного судьи зависит от дворянства, которое избирает обыкновенно на это место того, на кого падает всеобщий голос, как на человеколюбивого и бескорыстнейшего человека. Как хорошо также, что ему не назначается за это никакого жалованья, никаких наград и что нет здесь никакой мирской приманки человеку. Одно время мне очень желалось занять это место. Как много можно решить на нем запутнейших спорных дел. Сами тяжущиеся мимо собственных выгод своих перенесут дело в Совестный Суд, как только пронесется слух, что судья судит истинно по совести и уже прославился мудростью своего Божеского суда. Кому из нас не хочется примириться?

Одним словом, чем больше всматриваешься в организм управления губерний, тем более изумляешься мудрости учредителей: слышно, что Сам Бог строил незримо руками государей. Все полно, достаточно, все устроено именно так, чтобы спешествовать в добрых действиях, подавая руку друг другу, и останавливать только на пути к

---

<sup>162</sup> Совестный Суд — вид губернского суда в России, рассматривавший гражданские и некоторые уголовные (малолетних, невменяемых) дела, в которых судья судил не только по законам, но и по собственной совести. Существовал в 1775 — 1862 гг.

злоупотреблениям. Я даже и придумать не могу, для чего тут нужен какой-нибудь прибавочный чиновник; всякое новое лицо тут не у места, всякое нововведение — ненужная вставка. А между тем нашлись же такие правители губерний, как вы сами знаете, которые пристегнули ко всему этому множество разных чиновников по особым поручениям, множество всяких временных и следственных комитетов, разложили и раздробили действия всякой должности и сбили чиновников так, что они потеряли и последние понятия о пределах точных своего поприща. Хорошо, что вы этого не сделали, потому что вы и тогда понимали это дело лучше других. Вы очень хорошо знаете, что приставить нового чиновника для того, чтобы ограничить прежнего в его воровстве, значит сделать двух воров наместо одного. Да и вообще система ограничения — самая мелочная система. Человека нельзя ограничить человеком; на следующий год окажется надобность ограничить и того, который приставлен для ограниченья, и тогда ограниченьям не будет конца. Эта пустая и жалкая система, подобно всем другим системам отрицательным, могла образоваться только в государствах колониальных, которые составились из народа всякого сброва, не имеющего национальной целизны и духа народного<sup>163</sup>, где неизвестны ни самоотвержение, ни благородство, а только одни корыстные личные выгоды. Нужно оказать доверье к благородству человека, а без того не будет вовсе благородства. Кто знает, что на него глядят подозрительно, как на мошенника, и приставляют к нему со всех сторон надсмотрщиков, у того невольно отнимаются руки. Нужно развязать каждому руки, а не связывать их; нужно напирать на то, чтобы каждый держал сам себя в руках, а не то, чтобы его держали другие; чтобы он был строже к себе в несколько раз самого закона, чтобы он видел сам, чем он подлец перед своей должностью; словом — чтобы он был введен в значение высшей своей должности. А это может сделать только один генерал-губернатор, если он не пренебрежет постигнуть сам всякую должность в ее истинном существе и мысленно прослужить сам на месте того чиновника, которого бы захотел он ввести в полное значение его должности. Вследствие этого все ваши сношенья с чиновниками будут самоличны, без всяких секретарей и мертвой бумажной переписки, а от этого и ваша собственная канцелярия сделается маленькой и вовсе не будет походить на те чудовищные, огромные канцелярии, какие заводят другие начальники. Эти же громадные канцелярии, как вы уже сами знаете, наносят много вреда тем, что отберут у всех чиновников их дела, образуют собою вдруг новую инстанцию и, стало быть, новые

---

<sup>163</sup> Целизна — «нравственная целость и непорочность» (Толковый словарь В. И. Даля).

затруднения, дадут нечувствительно образоваться какому-нибудь новому полномочному лицу, иногда вовсе ни для кого не зрямому, в виде простого секретаря, но через руки которого станут проходить все дела; у секретарей явится какая-нибудь любовница, из-за ней — интриги, ссоры, а с ними вместе и сам черт путаницы, который как тут во всякое время; и дело кончится тем, что, сверх нанесенья новых беспорядков и сложностей, пожрется несметное количество казенных сумм. Храны вас Бог от заведенья канцелярии. Иначе и не объясняйтесь ни с кем, как лично. Как можно пренебречь разговором с человеком, особенно, если разговор близок к нему самому, к исполнению его обязанностей и долга, стало быть, близок к самой душе его? Как можно променять такой разговор на пустые газетные толки и мертвые речи о всяком вранье, набираемом из лживых европейских журналов? О долгे человека можно так разговориться, что обоим покажется, как бы они беседуют с ангелами в присутствии Самого Бога. Говорите же так с вашим подчиненным, то есть — наставительно и питательно его душе! Не забудьте, что на русском языке, — я разумею не тот язык, который изворачивается теперь в житейском обиходе, и не книжный язык, и не язык, образовавшийся во время всяких злоупотреблений наших, но тот истинно русский язык, который незримо носится по всей русской земле, несмотря на чужеземствоование наше в земле своей, который еще не прикасается к делу жизни нашей, но, однако ж, все слышат, что он истинно русский язык — на этом языке начальник называется отцом. Будьте же с ними, как отец с детьми, а отец с детьми не заводит бумажных переписок и направляя изъясняется с каждым из них. Так поступая, введете вы каждого в познанье его должности и сделаете истинно великий подвиг.

А вот вам другой подвиг, которого никто не может совершить, кроме генерал-губернатора, и который в нынешнее время есть дело даже необходимое, не только нужное, а именно: ввести дворянство в познанье истинное своего званья. Сословие это в своем истинно русском ядре прекрасно, несмотря на временно нарощенную чужеземную шелуху. Но дворянство этого еще не слышит. Многие едва-едва только догадываются, другие пребывают в совершенном об этом невежестве, трети берут себе в идеалы дворянства государств иностранных, четвертые даже не задают себе вопроса: нужно ли на свете дворянство? Если же и находятся между ними такие, которые имеют об этом какие-нибудь светлые мысли, то мысли эти еще не раздаются в массах, и масса их не слышит. В последнее время, кроме всего прочего, восстановился даже в дворянстве некоторый дух недоверия к правительству. Во время последних европейских возмущений и всякого рода смут некоторые из злоумышленников старались особенно распустить в нашем дворянстве слух, будто правительство ищет обессилить их значение и довести их до

ничтожества. Беглецы, выходцы за границу и всякого рода недоброжелатели России писали статьи и наполняли ими столбцы чужестранных газет с тем именно умыслом, чтобы заронить вражду между дворянством и правительством: с одной стороны, показать государю России партию каких-то фантастических бояр, оспоривающих самую власть, а с другой стороны, показать дворянству, что государь не благоволит к ним и вообще не любит этого звания. То есть им хотелось заварить в России какую-то кашу и сумятицу, среди которой можно было бы и самим сыграть какую-нибудь роль. Расчет был на то, что взаимное спасенье и подозрительность есть страшная вещь и может со временем произвести действительно разрыв самых священнейших связей. Но, слава Богу, уже прошли те времена, чтобы несколько сорванцов могли возмутить целое государство<sup>164</sup>. Проект так и остался фантастическим проектом, тем, однако ж, не менее искры недоразумений и взаимного недоверья заронились, и я знаю многих дворян, которые уверены сурьезно, что государь не любит их сословия, и от этого даже тоскуют. Дело это им разрешите и объявите всю правду, не скрывая ничего. Скажите, что государь любит это сословие больше всех других, но любит в его истинно русском значении, — в том прекрасном виде, в каком оно должно быть по духу самой земли нашей. Да и не может быть иначе. Ему ли не любить цвет своего народа? а у нас дворянство есть цвет нашего же народа, а не какое-нибудь пришлое чужеземное сословие. Но следует, чтобы дворянство само себя показало и определило значение своего званья, потому что в том виде, в каком оно теперь, при этом отсутствии единства в общем духе, при этом разнообразье мыслей, воспитанья, жизни, привычек, при таком сбивчивом образе понятий о самих себе, никому не могут они подать действительной и полной идеи о том, что такое в нашей земле дворянство. А оттого никакой мудрец не может теперь знать, как ему с ними быть. Следует, чтобы дворянство само вступило в свое истинное и полное значение. И здесь-то вы можете истинно им всем помочь, потому что, будучи сами русский дворянин и уже понимая высшее значение нашего дворянства, вы лучше всех будете в силах это объяснить. Не нужно для этого много слов, потому что начала всего того, что вы им объявите, у них в груди. Дворянство наше представляет явление, точно, необыкновенное. Оно образовалось у нас совсем иначе, нежели в других землях<sup>165</sup>. Началось оно не насильственным приходом, в качестве вассалов с войсками, всегдаших оспоривателей верховной власти и вечных угнетателей сословия низшего; началось оно у нас личными выслугами перед царем, народом и

<sup>164</sup> Речь идет о декабристах.

<sup>165</sup> Подробнее эту мысль Гоголь развивает в статье «О сословиях в государстве».

всей землей, — выслугами, основанными на достоинствах нравственных, а не на силе. В нашем дворянстве нет гордости какими-нибудь преимуществами своего сословия, как в других землях; нет спеси немецкого дворянства; никто не хвастается у нас родом или древностью происхождения, хотя наши дворяне всех древнее, — хващаются разве только какие-нибудь англоманы, которые заразились этим на время, во время проезда через Англию; может быть, только изредка похвастается кто-нибудь своим предком, и то таким, который сослужил истинно верную службу царю и земле своей; а похвастайся он плохим предком, на него выпустят тут же эпиграмму его же собратья дворяне. Одним только позволяет себе всяк из них похвастаться — это чувством своего нравственного благородства, которое уже Бог им вложил в грудь. И если дойдет дело до того, чтобы выказать каким-нибудь поступком это внутреннее высшее благородство, у нас ни один не отстанет от другого, хотя бы сам был всех хуже и весь зажил в грязи и саже. Дворянство у нас есть как бы сосуд, в котором заключено это нравственное благородство, долженствующее разноситься по лицу всей русской земли затем, чтобы подать понятие всем прочим сословиям, почему сословие высшее называется цветом народа. И если вы только им скажете почти это самое, что я теперь говорю и что есть истинная правда, да развернете перед ними то поприще, которое теперь всем предстоит им на передачу иувековеченье имен своих в потомстве; если ясно покажете им, что вся русская земля взывает о помощи и что помочь ей можно оказать одними подвигами благородства, а подвиги благородства следует показать тем, которые уже от рождения получили благородство, то увидите, что сердца их чокнутся с вашим сердцем, как рюмки во время пирушки. Не скрывайте от них дела, объясните им всю правду. Зачем заставлять их узнавать то же самое из лживых иностранных газет и давать сорванцам кружить им головы? Обнаружьте им всю правду начисто. Скажите им, что Россия, точно, несчастна, что несчастна от грабительств и неправды, которые до такой наглости еще не возносили рог свой; что болит сердце у государя так, как никто из них не знает, не слышит и не может знать. Да может ли быть иначе при виде этого вихря возникнувших запутанностей, которые застенили всех друг от друга и отяли почти у каждого простор делать добро и пользу истинную своей земле, при виде повсеместного помраченья и всеобщего уклоненья всех от духа земли своей, при виде, наконец, этих бесчестных плутов, продавцов правосудья и грабителей, которые, как вороны, налетели со всех сторон клевать еще живое наше тело и в мутной воде ловить свою презренную выгоду. Когда вы это им скажете, да вслед за этим покажете, что теперь им всем предстоит сослужить истинно благородную и высокую службу царю, а именно: так же великодушно, как некогда становились в ряды противу неприятеля,

так же великодушно стать теперь на неприманчивые места и должности, опозоренные низкими разночинцами, тогда увидите, как встременется наше дворянство. Отбою не будет от желающих вступить в службу и занять самые невидные места. И, отслуживши, не потребуют они себе за это ни наград, ни отличий, ни даже привилегий и преимуществ, довольные тем, что показали высокое внутреннее преимущество свое. Словом, только покажите им высоту их звания, и вы увидите, как благородна их природа. Вы можете указать им также то второе великое дело, которое они могут сделать, воспитавши вверенных им крестьян таким образом, чтобы они стали образцом этого сословия для всей Европы, потому что теперь не на шутку задумались многие в Европе над древним патриархальным бытом, которого стихии исчезнули повсюду, кроме России, и начинают гласно говорить о преимуществах нашего крестьянского быта, испытавши бессилие всех установлений и учреждений нынешних, для их улучшенья. А потому вам следует склонить дворян, чтобы они рассмотрели попристальней истинно русские отношения помещика к крестьянам, а не те фальшивые и ложные, которые образовались во время их позорной беззаботности о своих собственных поместьях, преданных в руки наемников и управителей; чтобы позаботились о них истинно, как о своих кровных и родных, а не как о чужих людях, и так бы взглянули на них, как отцы на детей своих. Сим только одним могут возвесть они это сословие в то состояние, в каком следует ему пребыть, которое, как нарочно, не носит у нас называния ни вольных, ни рабов, но называется хрестьянами от имени Самого Христа. Все это может вполне объяснить дворянству генерал-губернатор, если о том помыслит заблаговременно и войдет сам в полное значение нашего дворянства. И это будет вам второй великий подвиг.

А вот вам третий подвиг, которого тоже никто не может сделать, кроме генерал-губернатора. Все европейские государства теперь болеют необыкновенной сложностью всяких законов и постановлений. Повсюду заметно одно замечательное явление, а именно: законы собственно гражданские выступили из пределов и ворвались в область, им не принадлежащие. С одной стороны, они вторгнулись в область, состоявшую долго под управлением народных обычаяв; с другой стороны, они вторгнулись в область, долженствующую оставаться вечно под управлением Церкви<sup>166</sup>. Случилось это не насильственно: разлив гражданских законов произошел сам собою, встретивши повсюду пустые, себя не ограждавшие места. Мода подорвала обычай, уклонение духовенства от прямой жизни во Христе оставило на произвол все

---

<sup>166</sup> Эти строки отражают, по-видимому, знакомство Гоголя с Кормчей книгой. См. comment. к его «Совету сестрам».

частные отношения каждого человека в его частном быту. Законы гражданские взяли то и другое, как оставленных сирот, под свою опеку и оттого только стали так сложны. Сами же по себе они вовсе не пространны, и если возвратится то, что законным образом должно принадлежать обычаям, и то, что должно поступить в вечное владение Церкви, тогда их может заключить только одна книга, которая обнимет одни крупные уклоненья от общественного порядка и отношенья собственно государственные. Все до единого теперь видят, что множество дел, злоупотреблений и всяких кляуз произошло именно оттого, что европейские философы-законодатели стали заранее определять все возможные случаи уклонений, до малейших подробностей, и тем открыли всякому, даже благородному и доброму, пути к бесконечным и несправедливейшим тяжбам, которые затевает он прежде почел бы бесчестнейшим делом, но которые он затевает теперь смело, увидя в каком-нибудь пункте постановлений возможность и надежду получить когда-то потерянное добро или же просто только возможность оспаривать владенье другого. Он уже идет горой, как герой на приступ, и не глядит вовсе на своего супротивника, хотя бы тот лишился через это последней своей рубашки, хотя бы он пошел по миру со всей семьей своей. Человеколюбивый производит теперь бесстыднейшим образом в виду всех жестокое дело и даже им хвастается, тогда как он устыдился бы и самой мысли о том, если бы служитель Церкви поставил их обоих лицом ко Христу, а не презренным выгодам личным и если бы завелось так, как и быть должно, чтобы во всех делах запутанных, казусных, темных, словом — во всех тех дела, где угрожает проволочка по инстанциям, мирила человека с человеком Церковь, а не гражданский закон. Но вот вопрос: как это сделать? Как сделать, чтобы гражданскому закону отдано было действительно только то, что должно принадлежать гражданскому закону; чтобы обычаям возвращено было то, что должно оставаться во власти обычаяв, и чтобы за Церковью вновь утверждено было то, что должно вечно принадлежать Церкви? Словом, как возвратить все на свое место? В Европе сделать этого невозможно: она обольется кровью, изнеможет в напрасных бореньях и ничего не успеет. В России есть возможность; в России может это нечувствительно совершиться — не какими-нибудь нововведениями, переворотами и реформами и даже не заседаньями, не комитетами, не преняями и не журнальными толками и болтовней; в России может этому дать начало всякий генерал-губернатор вверенной его управлению области, и как просто: не чем другим, как только собственной жизнью своей. Патриархальностью жизни своей и простым образом обращенья со всеми он может вывести вон моду с ее пустыми этикетами и укрепить те русские обычаи, которые в самом деле хороши и могут быть применены

с пользой к нынешнему быту. Он может сильно подействовать на то, что отношения между собою как жителей городов, так и помещиков станут проще; а уничтожение этой сложности светских отношений, какая ныне, уменьшит непременно ссоры и неудовольствия, которые возникнули, как вихри, между обитателями городов. Так же, как на водворенье обычаев, может подействовать генерал-губернатор на законное водворенье Церкви в нынешнюю жизнь русского человека: во-первых, примером собственной жизни, а во-вторых, — самими мерами, не принудительными и насильственными, но сильнейшими в несколько раз всяких насильственных. Об этом когда-нибудь мы с вами поговорим после, когда вы действительно возьмете должность, а до того времени скажу вам только вот что: если уже простой обычай сильнее всякого письменного закона, а между прочим, что такое обычай, если рассмотреть его строго? Иногда он просто не имеет никакого значения в нынешнем времени, установлен неизвестно зачем, пришел неизвестно откуда; не слышишь даже авторитета, его утвердившего; иногда он тянется еще от времен язычества, противоположен христианству и всем элементам новой жизни. И если при всем этом обычай так силен, что его трудно бывает изгладить в продолжение многих лет? Что же, если введется такой обычай, который основан на разуме, единоустно и единодушно будет признан всеми и освящен свыше Самим Христом и Его Церковью? Такой обычай пойдет во веки веков, и не сокрушит его никакая сила, какие бы ни наступили всемирные колебания. Но этот предмет велик; о нем нужно поговорить умно, а я для того глуп. После, когда Бог поможет и вразумит меня, может быть, что-нибудь скажу. Работ вам будет много. Крепитесь и берите твердо должность генерал-губернатора, если только она будет вам предложена. Вы исполните ее теперь именно так, как следует, и сообразно тому, чего требует само правительство, то есть — бодрящею, освежающею силою пронестись по всей области, всех воздвигнуть, всех освежить, всех настроить, всему дать толчок и обратиться потом в другую губернию затем, чтобы и там произвести то же. Вы сами увидите, что должность эта непременно должна быть временная, иначе она не имела бы смысла, потому что внутренний организм губернии достаточен и полон, и нет надобности в другом управителе, кроме гражданского губернатора. С Богом же, и не бойтесь ничего! Но, хотя бы пришлось вам занять и другую должность, руководствуйтесь теми же правилами: не забывайте нигде, что вы на время. Устройте так дела, чтобы они не только при вас шли хорошо, но и после вас; чтобы не мог ничего сдвинуть ваш преемник, но вступил бы невольно уже сам в утвержденные вами границы, держася вами данного законного направления. Христос научит вас, как закалять дело накрепко и навеки. Будьте отец истинный всем вам подвластным чиновникам и

каждому помогите свято и честно исполнить должность свою. Подавайте братски руку всякому освобождаться от его собственных пороков и недостатков. Имейте на всех влияние, но влияние единственно затем, чтобы заставить каждого иметь на самого себя влияние. Смотрите также, чтобы никто не опирался чересчур и слишком на вас, как на собственный посох свой, подобно тому как римско-католические дамы опираются на духовников своих, без воли которых они не смеют переступить в другую комнату и ждут для этого исповеди; но чтобы помнил человек, что нянька дается ему на время, а не навсегда и что как только отступает от него наставник, тут-то ему и следует блюсти за собой осторожней, чем когда-либо прежде, помня ежеминутно, что уже некому теперь смотреть за ним, и содеря, как святыню, в своей памяти всякое слово, ему сказанное. Страйтесь также, чтобы не было плача при расставанье с вами, если бы случилось вам оставлять вашу должность, но чтобы бодрой и свежей еще глядел каждый вперед, а потому ко дню расставанья копите все, что хотели бы вы сказать в наставленье каждому: в этот день будут для них святы все слова ваши, и то, чего бы они не прияли и не исполнили прежде, то теперь примут и после вас исполият. Для меня наилучшая минута — время расставанья с моими друзьями; всяк из друзей моих, кто теперь ни расстается со мной, расстается весело и светлеет духом. Вам подтвердят это все те, которые расставались со мною в последнее время. Я даже уверен, что когда буду умирать, со мной простятся весело все меня любившие: никто из них не заплачет и будет гораздо светлее духом после моей смерти, чем при жизни моей. Еще скажу вам слово насчет любви и всеобщего расположения к себе, за которыми многие так госятся. Заискивать любви к себе есть незаконное дело и не должно занимать человека. Смотрите на то — любите ли вы других, а не на то — любят ли вас другие.<sup>167</sup> Кто требует платежа за любовь свою, тот подл и далеко не христианин. О, как я благодарен за то, что еще от детства вселил в меня Бог непонятное мне самому чувство бежать от всяких неумеренных излияний, даже родственных и дружеских, как от чего-то приторного и неприятного. Как это верно, что полная любовь не должна принадлежать никому на земле. Она должна быть передаваема по начальству, и всякий начальник, как только заметит ее устремленье к себе, должен в ту же минуту обращать ее к постановленному над ним высшему начальнику, чтобы таким образом добралась она до своего законного источника, и передал бы ее торжественно в виду всех всеми любимый царь Самому Богу.

---

<sup>167</sup> Ср.: «Не ищу, любите ли вы меня, посмотрю себя: люблю ли я вас?» — в гоголевской выписке «О любви» из писем затворника Задонского Богородицкого монастыря Георгия (Машурина) (ОР ЦНБ АН Украины. Ф. Гог. 78. С. 48). См. также в наст. изд. с. 158 и 315.

## XXIX

**ЧЕЙ УДЕЛ НА ЗЕМЛЕ ВЫШЕ**  
 (Из письма к У.....му)<sup>168</sup>

Никак не могу сказать вам, чей удел на земле выше и кому суждена лучшая участь. Прежде, когда я был поглупее, я предпочитал одно звание другому, теперь же вижу, что участь всех равно завидна. Все получат равное воздаяние — как тот, которому вверен был один талант и он принес на него другой, так и тот, которому дано было пять талантов и который принес на них другие пять. Даже, я думаю, участь первого еще лучше, именно оттого, что он не пользовался на земле известностью и не вкушал очаровательного напитка земной славы, подобно последнему. Чудна милость Божия, определившая равное воздаяние всякому, исполнившему честно долг свой, царь ли он или последний нищий. Все они там уравняются, потому что все внидут в радость Господина своего и будут пребывать *равно* в Боге. Конечно, Сам Христос сказал в другом месте: «В дому Отца Моего обители многи суть»<sup>169</sup>; но как помыслю об этих обителях, как помыслю о том, что должны быть у Бога обители, не могу удержаться от слез и знаю, что никак бы не решил, какую из них выбрать себе, если бы только действительно был удостоен Небесного Царства и вопрошен: «Какую из них хочешь?» Знаю только то, что сказал бы: «Последнюю, Господи, но лишь бы она была в дому Твоем!» Кажется, ничего бы не желалось больше, как только служить тем избранным, которые уже удостоились созерцать во всем величии Его славу. Лежать бы только у ног их и целовать святые их ноги!

---

<sup>168</sup> Адресат не установлен. Письмо ощущимо проникнуто духом 83-го Псалма пророка Давида. В Отделе рукописей бывшей Румянцевской библиотеки и в Пушкинском Доме сохранились выписки Гоголя из Псалтири.

<sup>169</sup> Евангелие от Иоанна, гл. 14, ст. 2.

НАПУТСТВИЕ<sup>170</sup>

На письмо твое теперь не буду отвечать; ответ будет после. Все вижу и слышу: страданья твои велики. С такою нежною душою терпеть такие грубые обвиненья; с такими возвышенными чувствами жить посреди таких грубых, неуклюжих людей, каковы жители пошлого городка, в котором ты поселился, которых уже одно бесчувственное, топорное прикосновение в силах разбить, даже без их ведома, лучшую драгоценность сердечную, медвежьей лапой ударить по тончайшим струнам душевным, данным на то, чтобы выпеть небесные звуки, — расстроить и разорвать их, видеть, в прибавленье ко всему этому, ежедневно происходящие мерзости и терпеть презренье от презренных! Все это тяжело, знаю. Твои страданья телесные тяжелы не меньше: твои нервические недуги, твоя тоска и эти страшные припадки агонии, которою ты одержим теперь, — все это тяжело, тяжело, и ничего больше не могу сказать тебе, как только: тяжело! Но вот тебе утешенье. Это еще начало; оскорблений тебе будет еще больше: предстанут тебе еще сильнейшие борьбы со взяточниками, подлецами всех сортов и бесстыднейшими людьми, для которых ничего нет святого, которые не только в силах произвести то гнусное дело, о котором ты пишешь, то есть подписаться под чужую руку, дерзнуть взвести такое ужасное преступление на невинную душу, видеть своими глазами кару, постигшую оклеветанного, и не содрогнуться, — не только подобное гнусное дело, но еще в несколько раз гнуснейшие, о которых один рассказ может лишить навеки сна человека сердобольного. (О, лучше бы вовсе не родиться этим людям: весь сонм небесных сил содрогнется от ужаса загробного наказанья, их ждающего, от которого никто уже их не избавит.)

---

<sup>170</sup> Адресат письма неизвестен.

Содержание настоящей статьи перекликается с письмом Гоголя к матери от 1 сентября н. ст. 1842 г., где он просил мать оказать от его имени моральную поддержку встреченному ей в Харькове чиновнику, отличавшемуся «благородством и честной бедностью среди богатеющих неправдой», но бывшему при этом близким к отчаянию. В том же году Гоголь закончил свой «Театральный разъезд после представления новой комедии». Образ «очень скромно одетого человека» и заключительный монолог автора из этой пьесы также связаны с настоящей статьей.

Встретятся тебе бесчисленные новые поражения, неожиданные вовсю. На твоем почти беззащитном поприще и незаметной должности все может случиться. Твои нервические припадки и недуги будут также еще сильнее, тоска будет убийственней и печали будут сокрушительней. Но вспомни: призваны в мир мы вовсе не для праздников и пирований. На битву мы сюда призваны; праздновать же победу будем *tam*<sup>171</sup>. А потому ни на миг мы не должны позабывать, что вышли на битву, и нечего тут выбирать, где поменьше опасностей: как добрый воин, должен бросаться из нас всяк туда, где пожарче битва. Всех нас озирает свыше небесный Полководец, и ни малейшее наше дело не ускользает от Его взора. Не уклоняйся же от поля сраженья, а выступивши на сражение, не ищи непрятеля бессильного, но сильного. За сраженье с небольшим горем и мелкими бедами не много получишь славы. Не велика слава для русского сразиться с миролюбивым немцем, когда знаешь вперед, что он побежит; нет, с черкесом, которого все дрожит, считая непобедимым, с черкесом схватиться и победить его — вот слава, которую можно похвалиться! Вперед же, прекрасный мой воин! С Богом, добрый товарищ! С Богом, прекрасный друг мой!

1846

---

<sup>171</sup> Ср. в «Правиле жития в мире»: «Мы призваны в мир на битву, а не на праздник: праздновать победу мы будем на том свете» (см. наст. изд. с. 393).

## В ЧЕМ ЖЕ НАКОНЕЦ СУЩЕСТВО РУССКОЙ ПОЭЗИИ И В ЧЕМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЬ<sup>172</sup>

Несмотря на внешние признаки подражания, в нашей поэзии есть очень много своего. Самородный ключ ее уже был в груди народа тогда, как самое имя еще не было ни на чьих устах. Струи его пробиваются в наших песнях, в которых мало привязанности к жизни и ее предметам, но много привязанности к какому-то безграничному разгулу, к стремлению как бы унести куда-то вместе с звуками. Струи его пробиваются в пословицах наших, в которых видна необыкновенная полнота народного ума, умевшего сделать все своим орудием: иронию, насмешку, наглядность, меткость живописного соображенья, чтобы составить животрепещущее слово, которое пронимает насквозь природу русского человека, задирая за все ее живое. Струи его пробиваются, наконец, в самом слове церковных пастырей<sup>173</sup> — слове простом, некрасноречивом,

<sup>172</sup> Настоящая статья подводила итог раздумьям Гоголя о судьбах отечественной литературы. В самом ее названии ощущается стремление автора окончательно разрешить вопрос, на который так и не дала ответа современная ему критика. О замысле статьи Гоголь упоминает в письме к Н. М. Языкову от 28 мая н. ст. 1843 г., где сообщает о своем намерении поговорить о нем, как о поэте, «публично» и «сказать кое-что вообще о русских писателях». Одна из редакций статьи была написана, по-видимому, в 1845 г. и уничтожена после критики В. А. Жуковского (см. об этом в начале письма *Х. О лиризме наших поэтов*). Отправляя П. А. Плетневу 16 октября н. ст. 1846 г. «заключительную тетрадь» рукописи «Выбранных мест...», Гоголь писал: «Так устал, что нет мочи; в силу сладил, особенно со статьей о поэзии, которую в три эпохи moi писал и вновь сожигал и наконец теперь написал, потому именно, что она необходима моей книге, в объяснение элементов русского человека. Без этого она бы никогда не написалась: так мне трудно писать что-нибудь о литературе».

Можно с уверенностью сказать, что названные в настоящей статье источники самобытности русской поэзии, из которых должны черпать вдохновение русские поэты, — народные песни, пословицы и слово церковных пастырей — имеют первостепенное значение для самого Гоголя. «Существо» и «особенность» русской поэзии явлены в его творчестве в полной мере.

<sup>173</sup> В определении трех начал русской поэзии Гоголь по всей видимости следует Н. М. Карамзину, который в заключении четвертой главы пятого тома «Истории государства Российского», посвященной описанию «состояния России от нашествия татар до Иоанна III», в качестве главных источников русской образованности того времени называет последовательно «церковные и

но замечательном по стремлению стать на высоту того святого бесстрастия, на которую определено взойти христианину, по стремлению направить человека не к увлечениям сердечным, но к высшей, умной трезвости духовной. Все это пророчило для нашей поэзии какое-то другим народам неведомое, своеобразное и самобытное развитие. Но не из сих трех источников, уже в нас пребывавших, ведет начало наша сладкозвучная поэзия, ныне нас услаждающая; так же, как и строение нынешнего нашего гражданского порядка произошло не из начал, уже пребывавших прежде в земле нашей. Гражданское строение наше произошло также не правильным, постепенным ходом событий, не медленно-рассудительным введением европейских обычаев, — которое было бы уже невозможно по той причине, что уже слишком вызрело европейское просвещение, слишком велик был наплыв его, чтобы не ворваться рано или поздно со всех сторон в Россию и не произвести без такого вождя, каков был Петр, гораздо большего разладу во всем, нежели какой действительно потом наступил, — гражданское строение наше произошло от потрясения, от того богатырского потрясения всего государства, которое произвел царь-преобразователь, когда воля Бога вложила ему мысль ввести молодой народ свой в круг европейских государств и вдруг познакомить его со всем, что ни добыла себе Европа долгими годами кровавых борений и страданий. Крутой поворот был нужен русскому народу, и европейское просвещение было огниво, которым следовало ударить по всей начинавшей дремать нашей массе. Огниво не сообщает огня кремню, но покамест им не ударишь, не издаст кремень огня. Огонь излетел вдруг из народа. Огонь этот был восторг, восторг от пробужденья, восторг вначале безотчетный: никто еще не услышал, что он пробудился затем, чтобы с помощью европейского света рассмотреть поглубже самого себя, а не копировать Европу; все только услышало, что он пробудился. Уже самый этот крутой поворот всего государства, произведенный одним человеком, — и притом самим царем, который великодушно отказался на время от царского званья своего, решился изведать сам всякое ремесло и с топором в руке стать передовым во всяком деле, дабы не произошло никаких беспорядков, следующих при малейшем измененье государственных форм, — был делом, достойным восторга. Переворот, который обыкновенно на несколько лет обливает кровью потрясенное государство, если производится бореньями внутренних партий, был произведен, в виду всей Европы, в таком порядке, как блестательный маневр хорошо выученного войска. Россия вдруг облеклась в государственное величие,

---

душеспасительные книги» (включая сюда летописи, исторические произведения и «слова»), а также «народные пословицы» и «народные песни русские».

заговорила громами и блеснула отблеском европейских наук. Все в молодом государстве пришло в восторг, издавши тот крик изумления, который издает дикарь при виде навезенных блестящих сокровищ. Восторг этот отразился в нашей поэзии, или лучше — он создал ее. Вот почему поэзия с первого стихотворения, появившегося в печати, прияла у нас торжествующее выражение, стремясь высказать в одно и то же время восхищение от света, внесенного в Россию, изумление от великого поприща, ей предстоящего, и благодарность царям, того виновникам. С этих пор стремление к свету стало нашим элементом, шестым чувством русского человека, и оно-то дало ход нашей нынешней поэзии, внеся новое, светоносное начало, которого не видно было ни в одном из трех источников ее, о которых упомянуто вначале.

Что такое Ломоносов, если рассмотреть его строго? Восторженный юноша, которого манит свет наук да поприще, ожидающее впереди. Случаем попал он в поэты: восторг от нашей новой победы заставил его набросать первую оду<sup>174</sup>. В попыхах заял он у соседей немцев размер и форму<sup>175</sup>, какие у них на ту пору случались, не рассмотрев, приличны ли они русской речи. Нет и следов творчества в его риторически составленных одах, но восторг уже слышен в них повсюду, где ни прикоснется он к чему-нибудь, близкому науколюбивой его душе. Коснулся он северного сияния, бывшего предметом его ученых исследований, — и плодом этого прикосновения была ода «Вечернее размышление о Божием величестве», вся величественная от начала до конца, которой никому не написать, кроме Ломоносова. Те же причины породили известное послание к Шувалову «О пользе стекла». Всякое прикосновение к любезной сердцу его России, на которую глядит он под углом ее сияющей будущности, исполняет его силы чудотворной. Среди холодных строф польются вдруг у него такие строфы, что не знаешь сам, где ты находишься. Точно как бы, выражаясь его же словами:

Божественный пророк Давид  
Священными шумит струнами,  
И Бога полными устами  
Исаия восхищен гремит<sup>176</sup>

<sup>174</sup> Имеется в виду «Ода блаженные памяти Государыне Императрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года» (опубл. 1751).

<sup>175</sup> Подразумевается система силлабо-тонического стихосложения, изложенная М. В. Ломоносовым в «Письме о правилах российского стихотворства» (1739).

<sup>176</sup> Из оды М. В. Ломоносова «Ея Императорскому Величеству... Императрице Елисавете Петровне на пресветлый и торжественный праздник рождения Ея Величества и для всерадостного рождения Государыни Великой Княжны Анны

Всю русскую землю озирает он от края до края с какой-то светлой вышины, любуясь и не налюбуясь ее беспредельностью и девственной природой. В описаниях слышен взгляд скорей ученого натуралиста, чем поэта, но чистосердечная сила восторга превратила натуралиста в поэта. Изумительней всего то, что, заключа стихотворную речь свою в узкие строфы немецкого ямба, он ничуть не стеснил языка: язык у него движется в узких строфах так же величественно и свободно, как полноводная река в нестесненных берегах. Он у него свободнее и лучше в стихах, чем в прозе, и недаром Ломоносова называют отцом нашей стихотворной речи. Изумительно то, что начинатель уже явился господином и законодателем языка. Ломоносов стоит впереди наших поэтов, как вступление впереди книги. Его поэзия — начинающийся рассвет. Она у него, подобно вспыхивающей зарнице, освещает не все, но только некоторые строфы. Сама Россия является у него только в общих географических очертаниях. Он как бы заботится только о том, чтобы набросать один очерк громадного государства, наметить точками и линиями его границы, предоставив другим наложить краски; он сам как бы первоначальный, пророческий набросок того, что впереди.

С руки Ломоносова оды вошли в обычай. Торжество, победа, тезоименитство, даже иллюминация и фейерверк стали предметом од. Слагатели их выразили только бездарную прыть наместо восторга. Исключить из них можно одного Петрова<sup>177</sup>, не чуждого силы и стихотворного огия: он был действительно поэт, несмотря на жесткий и черствый стих свой. Все прочие напомнили только риторически-холодный склад ломоносовских од и показали наместо благозвучия ломоносовского языка трескотню и беспорядок слов, терзающий ухо. Но огниво уже ударило по кремню; поэзия уже вспыхнула: еще не успел отнести руку от лиры Ломоносов, как уже заводил первые песни Державин.

В эпоху Екатерины, царствование которой можно назвать блестящей выставкой первых русских произведений, когда на всех поприщах стали выказываться русские таланты, — с битвами вознеслись полководцы, с учреждениями внутренними государственные дельцы, с переговорами дипломаты, с академиями словесники и ученые, — появился и поэт, Державин, с тою же картино-величавой наружностью, как и все люди времен Екатерины, развернувшиеся в какой-то еще дикой свободе, со множеством недоконченного и не вполне отделанного в частях, как случается с теми произведениями, которые выставляются несколько торопливо напоказ. Мысль о сходстве Ломоносова с

---

Петровны... декабря 18 дня 1757 года». *Исаия* — библейский пророк.

<sup>177</sup> Подразумевается поэт и переводчик Василий Петрович Петров (1736-1799).

Державиным, приходящая в ум при первом взгляде на них обоих, исчезнет вдруг, как только всмотришься покрепче в Державина. Всем, даже самим воспитаньем, последний представляет совершенную противоположность первому. Как один весь предался наукам, считая стихотворство свое только развлеченьем и делом отдохновенья<sup>178</sup>, так другой предался весь своему стихотворству, считая многостороннее образованье науками лишним и ненужным. То же самодержавное, государственное величие России слышится и у него; но уже видны не одни только географические очерки государства: выступают люди и жизнь. Не отвлеченные науки, но наука жизни его занимает. Оды его обращаются уже к людям всех сословий и должностей, и слышно в них стремление начертать закон правильных действий человека во всем, даже в самых его наслаждениях. У него выступило уже творчество. У него есть что-то еще более исполинское и парящее, нежели у Ломоносова. Недоумевает ум решить, откуда взялся в нем этот гиперболический размах его речи. Остаток ли это нашего сказочного русского богатырства, которое в виде какого-то темного пророчества носится до сих пор над нашою землею, прообразуя что-то высшее, нас ожидающее, или же это навеялось на него отдаленным татарским его происхождением, степями, где бродят бедные останки орд, распаляющие свое воображенье рассказами о богатырях в несколько верст вышешиною, живущих по тысяче лет на свете, — что бы то ни было, но это свойство в Державине изумительно. Иногда Бог весть как издалека забирает он слова и выраженья затем именно, чтобы стать ближе к своему предмету. Дико, громадно все; но где только помогла ему сила вдохновенья, там весь этот громозд служит на то, чтобы неестественною силою оживить предмет, так что кажется, как бы тысячи глазами глядит он. Стоит пробежать его «Водопад», где, кажется, как бы целая эпопея слилась в одну стремящуюся оду. В «Водопаде» перед ним пигмеи другие поэты. Природа там как бы высшая нами здравой природы, люди могучее нами знаемых людей, а наша обыкновенная жизнь перед величественной жизнью, там изображенной, точно муравейник, который где-то далеко колышется вдали. О Державине можно сказать, что он — певец величия. Все у него величаво: величав образ Екатерины, величава Россия, озирающая себя в осми морях своих; его полководцы — орлы; словом — все у него величаво. Заметно, однако же, что постоянным предметом его мыслей, более всего его занимавшим, было — начертить образ какого-то крепкого мужа, закаленного в деле жизни, готового на битву не

---

<sup>178</sup> Гоголь утверждает это со слов самого М. В. Ломоносова: «Стихотворство — моя утеша, физика — мои упражнения» (Российская грамматика. Наставление шестое. Глава 1. § 472).

с одним каким-нибудь временем, но со всеми веками; изобразить его таким, каким он должен был изникнуть, по его мнению, из крепких начал нашей русской породы, воспитавшись на непотрясаемом камне нашей Церкви. Часто, бросивши в сторону то лицо, которому надписана ода, он ставит на его место того же своего непреклонного, правдивого мужа. Тогда глубокие истины изглашаются у него таким голосом, который далеко выше обычновенного: возврашается святое, высокое значение тому, что привыкли называть мы общими местами, и, как из уст самой Церкви, принимаешь вечным словам его. Сравнительно с другими поэтами, у него все глядят исполином: его поэтические образы, не имея полной окончательности пластической, как бы теряются в каком-то духовном очертании и оттого приемлют еще более величия. Например: поэт изображает старца Каспия в то время, когда он, рассерженный бурею,

Встает в упор ее волнам:  
То скакет в твердь, то, в ад стремяся,  
Трезубцем бьет по кораблям;  
Столбом власы седые вьются,  
И глас его гремит в горах.<sup>179</sup>

Тут, казалось, хотел создаться *зримо* образ старца Каспия, но потерялся в каком-то духовном, *незримом* очертании: ухо слышит один гул гремящего моря, и вместе с седыми власами старца подъемлется волос на голове самого читателя, пораженного суровым величием картины. Все у него крупно. Слог у него так крупен, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми, на что бы никто не отважился, кроме Державина. Кто бы посмел, кроме его, выразиться так, как выразился он в одном месте о том же своем величественном муже, в ту минуту, когда он все уже исполнил, что нужно на земле:

И смерть как гостью ожидает,  
Крутя, задумавшись, усы.<sup>180</sup>

Кто, кроме Державина, осмелился бы соединить такое дело, каково ожиданье смерти, с таким ничтожным действием, каково крученье усов? Но как через это ощущительней видимость самого мужа, и какое меланхолически-глубокое чувство остается в душе! Но надообно сказать, что как это, так и все другие исполнинские свойства Державина, дающие ему преимущество над прочими поэтами нашими, превращаются вдруг у него в неряшество и безобразие, как только оставляет его одушевление.

<sup>179</sup> Из оды Г. Р. Державина «На возвращение графа Зубова из Персии» (1797).

<sup>180</sup> Из стихотворения Г. Р. Державина «Аристиппа баня» (1811).

Тогда все в беспорядке: речь, язык, слог, — все скрыпит, как телега с невымазанными колесами, и стихотворенье — точный труп, оставленный душою. Следы собственного неконченного образованья, как в умственном так и в нравственном смысле, отразились очень заметно на его твореньях. Муж, проповедовавший Другим о том, как править собою, не умел управить себя, далеко настал самим собою и должен был напряженной силой вдохновенья добираться до себя же, чтобы заговорить о том, что должно уже свободно изливаться у поэта. Придай воспитанье полное такому мужу — не было бы поэта выше Державина; теперь же остается он как невозделанная громадная скала, перед которой никто не может остановиться, не будучи пораженным, но перед которой долго не застаивается никто, спеша к другим местам, более пленительным.

Еще Державин ударял в струны своей лиры, как уже все вокруг его изменилось: век Екатерины, полководцы-орлы, велиможная роскошь и велиможная жизнь унеслись, как сновидение. Наступил век Александра, опрятный, благопристойный, выłożенный. Все застегнулось и, как бы почувствовав, что уже раскинулось чересчур нараспашку, стало наперерыв приобретать наружное благоприличие и стройность поступков. Французы стали вполне образцы всему и, так же как щеголи Парижа, завладели надолго нашим обществом, ловкие французские поэты завладели было на время нашими поэтами. К чести, однако ж, верного поэтического чутья нашего нужно сказать то, что в образец пошел один Лафонтен затем именно, что был ближе к природе: Дмитриев, Хемницер и Богданович стали производить подобные ему в простоте творенья, обрабатывая те же предметы. Русский язык вдруг получил свободу и легкость перелетать от предмета к предмету, незнакомую Державину. Наместо оды стали пробовать все роды и формы поэзии. Дмитриев<sup>181</sup> показал много таланта, вкуса, простоты и приличия во всем, которыми убил напыщенность и высокопарность, нанесенные бездарными подражателями Державина и Ломоносова. Но поверхностная эпоха не могла дать богатого содержания нашей поэзии: одно общесветское стало ее предметом, и она сделалась сама похожею на умного и ловкого светского человека, когда он сидит в гостиной и ведет разговор совсем не затем, чтобы поведать душевную исповедь свою или подвинуть других на какое-нибудь важное дело, но затем, чтобы просто повести разговор и пощеголять уменьем вести его обо всех предметах. Последние звуки Державина умолкли, как умолкают последние звуки церковного органа, и поэзия наша по выходе из церкви очутилась вдруг

---

<sup>181</sup> Иван Иванович Дмитриев (1760 — 1837) — поэт, имел переписку с Гоголем.

на бале. От одного только Капниста<sup>182</sup> послышался аромат истинно душевного чувства и какая-то особенная антологическая прелесть<sup>183</sup>, дотоле незнакомая. Вот его «Деревенский домик в Обуховке»<sup>184</sup>:

Приютный дом мой под соломой,  
По мне, ни низок, ни высок;  
Для дружбы есть в нем уголок,  
А к двери, нищему знакомой,  
Забыла лень прибить замок.

Но не могла оставаться долго наша поэзия на этой поверхностной светской верхушке. Уже пробуждена была сильно ее чуткость от петровского удара европейским огнivом. Вдруг приметила она, что от французов, кроме ловкости, ничего не переймет в свое воспитанье, и обратилась к немцам. В немецкой литературе происходило в это время явление странное. Неясные грезы, таинственные предания, необъяснимые чудесные происшествия, темные призраки невидимого мира, мечты и страхи, сопровождающие детство человека, стали предметом немецких поэтов<sup>185</sup>. Можно бы назвать такую поэзию шалостью школьника, если бы в ней не слышался тот младенческий лепет, которым подает о себе весть бессмертный дух человека, требующий себе живой пищи. Чуткая поэзия наша остановилась с любопытством младенца перед таким явлением. Ее собственные славянские начала напомнили ей вдруг о чем-то похожем. Но при всем том мы сами никак бы не столкнулись с

<sup>182</sup> Василий Васильевич Капнист (1758 — 1823), поэт и драматург. Капнисты — близкие знакомые семьи Гоголя. По преданию, именно В. В. Капнист первый поощрил поэтические занятия юного Гоголя, сказав: «Из него будет большой талант, дай ему только судьба в руководители учителя-христианина!» (Данилевский Г.П. Знакомство с Гоголем // Исторический вестник. 1886. Т. 26. С. 496).

<sup>183</sup> Антологиями назывались в начале XIX века определенные (немногочисленные) сборники произведений античных поэтов, состоящие из коротких стихотворений. Высказывание Гоголя соотносится не с антологическим родом поэзии вообще, а с этими сборниками, из которых делали переводы многие русские поэты (напр., В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков).

<sup>184</sup> Имеется в виду элегия В. В. Капниста «Обуховка» (1818). Обуховка — родовое имение поэта в Полтавской губернии.

<sup>185</sup> В первоначальной редакции после этих слов следовало: «Случилось это в то самое время, когда с другой стороны строгие и чинные немецкие философы начали утверждать, что человечество достигнуло полной зрелости и началось наконец царство разума. Дело, впрочем, естественное, видя, что мудрость стала подноситься чересчур уже в черством виде, все, которые поживей, стали как школьники вырываться из класса с тем, чтобы поиграть и позаняться тем, что поближе к молодым побужденьям. У немцев молодые побужденья были и в старько всему неясному и безотчетному. Немцы ухватились за это и теперь».

немцами, если бы не явился среди нас такой поэт, который показал нам весь этот новый, необыкновенный мир сквозь ясное стекло своей собственной природы, нам более доступной, чем немецкая. Этот поэт — Жуковский, наша замечательнейшая оригинальность! Чудной, высшей волей вложено было ему в душу от дней младенчества непостижимое ему самому стремление к незримому и таинственному. В душе его, точно как в герое его баллады Вадиме<sup>186</sup>, раздавался небесный звонок, зовущий вдали. Из-за этого зова бросался он на все неизъяснимое и таинственное повсюду, где оно ни встречалось ему, и стал облекать его в звуки, близкие нашей душе. Все в этом роде у него взято у чужих, и больше у немцев, — почти всё переводы. Но на переводах так отпечаталось это внутреннее стремление, так зажгло и одушевило их своею живостью, что сами немцы, выучившиеся по-русски, признаются, что перед ним оригиналы кажутся копиями, а переводы его кажутся истинными оригиналами. Не знаешь, как назвать его, — переводчиком или оригинальным поэтом. Переводчик теряет собственную личность, но Жуковский показал ее больше всех наших поэтов. Пробежав оглавление стихотворений его, видишь: одно взято из Шиллера, другое из Уланда<sup>187</sup>, третье у Вальтер Скотта, четвертое у Байрона, и всё — вернейший сколок, слово в слово, личность каждого поэта удержанна, негде было и высунуться самому переводчику; но когда прочтешь несколько стихотворений вдруг и спросишь себя: чьи стихотворения читал? — не предстанет перед глаза твои ни Шиллер, ни Уланд, ни Вальтер Скотт, но поэт, от них всех отдельный, достойный поместиться не у ног их, но сесть с ними рядом, как равный с равным. Каким образом сквозь личности всех поэтов пронеслась его собственная личность — это загадка, но она так и видится всем. Нет русского, который бы не составил себе из самих же произведений Жуковского верного портрета самой души его. Надобно сказать также, что ни в ком из переведенных им поэтов не слышно так сильно стремление уноситься в заоблачное, чуждое всего видимого, ни в ком также из них не видится это твердое признание незримых сил, хранящих повсюду человека, так что, читая его, чувствуешь на всяком шагу, как бы сам, выражаясь стихами Державина:

Под надзирание ты предан  
Невидимых, бессмертных сил,

---

<sup>186</sup> Вадим — действующее лицо одноименной баллады В. А. Жуковского, входящей вместе с балладой «Громобой» в поэму «Двенадцать спящих дев» (1810-1817).

<sup>187</sup> Людвиг Уланд (1787 — 1862) — немецкий поэт и драматург. В. А. Жуковский перевел из него целый ряд стихотворений и баллад. Из новейших изданий см.: Людвиг Уланд. Стихотворения. М., 1988.

И легионам заповедан  
Всех ангелов, чтоб цел ты был. <sup>188</sup>

Переводя, производил он переводами такое действие, как самобытный и самоцветный поэт. Внеся это новое, дотоле незнакомое нашей поэзии стремление в область незримого и тайного, он отрешил ее самую от материализма не только в мыслях и образе их выраженья, но и в самом стихе, который стал легок и бестелесен, как видение. Переводя, он оставил переводами початки всемуциальному, внес новые формы и размеры, которые стали потом употреблять все другие наши поэты. Лень ума помешала ему сделаться преимущественно поэтом-изобретателем, — лень выдумывать, а не недостаток творчества. Признаки творчества показал он в себе уже с самого начала своего поприща: «Светлана» и «Людмила» разнесли в первый раз греющие звуки нашей славянской природы, более близкие нашей душе, чем какие раздавались у других поэтов. Доказательством тому то, что они произвели впечатление сильное на всех в то время, когда поэтическое чутье у нас было еще слабо развито. Элегический род нашей поэзии создан им. Есть еще первоначальнейшая причина, от которой произошла и самая лень ума: это — свойство *оценивать*, которое, поселившись властительно в его уме, заставляло его останавливаться с любовью над всяким готовым произведением. Отсюда его тонкое критическое чутье, которое так изумляло Пушкина. Пушкин сильно на него сердился за то, что он не пишет критик. По его мнению, никто, кроме Жуковского, не мог так разъять и определить всякое художественное произведение. Это свойство разбирать и оценивать отражается в его живописных описаниях природы, которые все его собственные, самобытные произведения. Взявши картину, его пленившую, он не оставляет ее по тех пор, покуда не исчерпает всю, разъяв как бы анатомическим ножом ее неуловимейшую подробность. Кто уже мог написать стихотворенье «Отчет о солнце» <sup>189</sup>, где подстережены все видоизменения солнечных лучей и волшебство картин, ими производимых в разные часы дня, равно как с такой же живописной подробностью изобразить в «Отчете о луне» <sup>190</sup> волшебство лунных лучей, с целым рядомочных картин, ими производимых, — тот, разумеется, должен был заключить в себе в большой степени свойство *оценивать*. Его «Славянка» с видами

<sup>188</sup> Из стихотворения Г. Р. Державина «Победителю» (1785).

<sup>189</sup> Подразумевается стихотворение В. А. Жуковского «Летний вечер» (1818).

<sup>190</sup> Имеются в виду послания В. А. Жуковского «Государыне Императрице Марии Федоровне. Первый отчет о луне, в июне 1819 года» и «Подробный отчет о луне, представленный Ее Императорскому Величеству Государыне Императрице Марии Федоровне 1820, июня 18, в Павловске».

Павловска<sup>191</sup> — точная живопись. Благоговейная задумчивость, которая проносится сквозь все ее картины, исполняет их того греющего, теплого света, который наводит успокоене необыкновенное на читателя. Становища тише во всех своих порывах, и какой-то тайной замыкаются твои собственные уста.

В последнее время в Жуковском стал замечаться перелом поэтического направленья. По мере того как стала перед ним проясняться чище та незримо-светлая даль, которую он видел дотоле в неясно-поэтическом отдалении, пропадала страсть и вкус к призракам и привиденьям немецких баллад. Самая задумчивость уступила место светлости душевной. Плодом этого была «Ундин»<sup>192</sup>, творенье, принадлежащее вполне Жуковскому. Немецкий пересказчик того же самого преданья в прозе не мог служить его образцом. Полный создатель светлости этого поэтического созданья есть Жуковский. С этих пор он добыл какой-то прозрачный язык, который ту же вещь показывает еще видней, чем как она есть у самого хозяина, у которого он взял ее. Даже прежняя воздушная неопределенность стиха его исчезла: стих его стал крепче и тверже; все приуготовлялось в нем на то, дабы обратить его к передаче совершеннейшего поэтического произведения<sup>193</sup>, которое, будучи произведено таким образом, как производится им, при таком напоене всего себя духом древности и при таком просветленном, высшем взгляде на жизнь, покажет непременно первоначальный, патриархальный быт древнего мира в свете родном и близком всему человечеству, — подвиг, далеко высший всякого собственного создания, который доставит Жуковскому значение всемирное. Перед другими нашими поэтами Жуковский то же, что ювелир перед прочими мастерами, то есть мастер, занимающийся последнею отделкой дела. Не его дело добыть в горах алмаз — его дело оправить этот алмаз таким образом, чтобы он заиграл всем своим блеском и выказал бы вполне свое достоинство всем. Появление такого поэта могло произойти только среди русского народа, в котором так силен гений восприимчивости, данный ему, может быть, на то, чтобы оправить в лучшую оправу все, что не оценено, не возделано и пренебрежено другими народами.

В то время когда Жуковский стоял еще на первой поре своего поэтического развития, отрешая нашу поэзию от земли и существенности

<sup>191</sup> Речь идет об элегии В. А. Жуковского «Славянка» (1815). Славянка — река в Павловске, близ Петербурга, где находилась летняя резиденция царя.

<sup>192</sup> Имеется в виду: Ундина, старинная повесть, рассказанная на немецком языке в прозе бароном Ф. Ламотт Фуке, на русском в стихах В. Жуковским. Спб., 1837.

<sup>193</sup> Подразумевается перевод «Одиссеи», над которым работал в это время В. А. Жуковский. См. статью «Об Одиссее, переводимой Жуковским».

и унося ее в область бестелесных видений, другой поэт, Батюшков, как бы нарочно ему в отпор, стал прикреплять ее к земле и телу, выказывая всю очаровательную прелесть осязаемой существенности. Как тот терялся весь в неясном еще для него самого идеальном, так этот весь потонул в роскошной прелести видимого, которое так ясно слышал и так сильно чувствовал. Все прекрасное во всех образах, даже и незримых, он как бы силился превратить в осязательную негу наслажденья. Он слышал, выражаясь его же выражением, «стихов и мыслей сладострастье»<sup>194</sup>. Казалось, как бы какая-то внутренняя сила равновесия, пребывающая в лоне поэзии нашей, храня ее от крайности какого бы то ни было увлечения, создала этого поэта именно затем, чтобы в то время, когда один станет приносить звуки северных певцов Европы, другой обвеял бы ее ароматическими звуками полудня, познакомивши с Ариостом, Тассом, Петраркой, Парни и нежными отголосками древней Эллады; чтобы даже и самый стих, начинавший принимать воздушную неопределенность, исполнился той почти скульптурной выпуклости, какая видна у древних, и той звучащей неги, какая слышна у южных поэтов новой Европы.

Два разнородные поэта внесли вдруг два разнородные начала в нашу поэзию; из двух начал вмиг образовалось третье: явился Пушкин. В нем середина. Ни отвлеченной идеальности первого, ни преизобилья сладострастной роскоши второго. Все уравновешено, сжато, сосредоточено, как в русском человеке, который немногоглаголив на передачу ощущенья, но хранит и совокупляет его долго в себе, так что от этого долговременного ношенья оно имеет уже силу взрыва, если выступит наружу. Приведу пример. Поэта поразил вид Казбека, одной из высочайших кавказских гор, на верхушке которой увидел он монастырь, показавшийся ему реющим в небесах ковчегом. У другого поэта полились бы пылкие стихи на несколько страниц. У Пушкина все в десяти строках, и стихотворенье оканчивает он сим внезапным обращением:

Далекий, вожделенный берег!  
Туда б, сказав «прости» ущелью,  
Подняться к горной вышине!  
Туда б, в заоблачную келью,  
В соседство Бога скрыться мне! <sup>195</sup>

<sup>194</sup> Гоголь ошибочно приписывает К. Н. Батюшкову слова из послания А. С. Пушкина «Жуковскому» (1818):

Блажен, кто знает сладострастье  
Высоких мыслей и стихов!

<sup>195</sup> Из стихотворения А. С. Пушкина «Монастырь на Казбеке» (1829).

Именно одно это мог бы сказать русский человек, в то время как и француз, и англичанин, и немец пустились бы на подробный отчет ощущений. Никто из наших поэтов не был еще так скончен на слова и выраженья, как Пушкин, так не смотрел осторожно за самим собой, чтобы не сказать неумеренного и лишнего, пугаясь приторности того и другого.

Что ж было предметом его поэзии? Все стало ее предметом, и ничто в особенности. Немеет мысль перед бесчисленностью его предметов. Чем он не поразился и перед чем он не остановился? От заоблачного Кавказа и картишного черкеса до бедной северной деревушки с балалайкой и трепаком у кабака<sup>196</sup> — везде, всюду: на модном бале, в избе, в степи, в дорожной кибитке — все становится его предметом. На всё, что ни есть во внутреннем человеке<sup>197</sup>, начиная от его высокой и великой черты до малейшего вздоха его слабости и ничтожной приметы, его смутившей<sup>198</sup>, он отклинулся так же, как отклинулся на все, что ни есть в природе видимой и внешней. Все становится у него отдельной картиной; всё предметы его; изо всего, как ничтожного так и великого, он исторгает одну электрическую искру того поэтического огня, который присутствует во всяком творенье Бога, — его высшую сторону, знакомую только поэту, не делая из нее никакого применения к жизни в потребность человеку, не обнаруживая никому, зачем исторгнута эта искра, не подставляя к ней лестницы ни для кого из тех, которые глухи к поэзии. Ему ни до кого не было дела. Он заботился только о том, чтобы сказать одним одаренным поэтическим чутьем: «Смотрите, как прекрасно творение Бога!» — и, не прибавляя ничего больше, перелетать к другому предмету затем, чтобы сказать также: «Смотрите, как прекрасно Божие творение!» От этого сочинения его представляют явление изумительное противоречием тех впечатлений, какие они порождают в читателях. В глазах людей весьма умных, но не имеющих

---

<sup>196</sup> Эти слова Гоголя перекликаются со следующими строками из «Евгения Онегина»:

Теперь мила мне балалайка  
Да пьяный топот трепака  
Перед порогом кабака

(«Отрывки из путешествия Онегина»).

<sup>197</sup> «Внутренний человек» — одно из любимых выражений Гоголя, восходящее к словам апостола Павла из Второго послания к Коринфянам: «Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (гл. 4, ст. 16). В уцелевших главах второго тома «Мертвых душ» Тентетников лишился своего замечательного наставника, когда еще «не успел образоваться и окрепнуть начинавший в нем строиться высокий внутренний человек...».

<sup>198</sup> Подразумевается, вероятно, стихотворение А. С. Пушкина «Приметы» (1829).

поэтического чутья, они — отрывки недосказанные, легкие, мгновенные; в глазах людей, одаренных поэтическим чутьем, они — полные поэмы обдуманные, оконченные, всё заключающие в себе, что им нужно.

На Пушкине оборвались все вопросы, которые дотоле не задавались никому из наших поэтов и в которых виден дух просыпающегося времени. Зачем, к чему была его поэзия? Какое новое направление мысленному миру дал Пушкин? Что сказал он нужное своему веку? Подействовал ли на него если не спасительно, то разрушительно? Произвел ли влияние на других хотя личностью собственного характера, гениальными заблуждениями, как Байрон и как даже многие второстепенные и низшие поэты? Зачем он дан был миру и что доказал собою? Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего больше, — что такое поэт, взятый не под влиянием какого-нибудь времени или обстоятельств и не под условием также собственного, личного характера, как человека, но в независимости от всего; чтобы если захочет потом какой-нибудь высший анатомик душевный разъять и объяснить себе, что такое в существе своем поэт, это чуткое создание, на все откликающееся в мире и себе одному не имеющее отклика<sup>199</sup>, то чтобы он удовлетворен был, увидев это в Пушкине. Одному Пушкину определено было показать в себе это независимое существо, это звонкое эхо, откликающееся на всякий отдельный звук, порождаемый в воздухе. При мысли о всяком поэте представляется больше или меньше личность его самого. Кому при помышленье о Шиллере не предстанет вдруг эта светлая, младенческая душа, грезившая о лучших и совершеннейших идеалах, создававшая из них себе мир и довольная тем, что могла жить в этом поэтическом мире? Кому, читающему Байрона, не предстанет сам Байрон, этот гордый человек, облагодетельствованный всеми дарами Неба и не могший простить ему своего незначительного телесного недостатка, от которого ропот перенесся и в поэзию его?

Сам Гете, этот Протей из поэтов, стремившийся обнять все как в мире природы, так и в мире наук, показал уже сим самым научообразным стремлением своим личность свою, исполненную какой-то германской чинности и теоретически-немецкого притязанья подладиться ко всем временам и векам. Все наши русские поэты: Державин, Жуковский, Батюшков удержали свою личность. У одного Пушкина ее нет. Что схватишь из его сочинений о нем самом? Поди улови его характер как человека! Наместо его предстанет тот же чудный образ, на всё

---

<sup>199</sup> Мысль, соответствующая стихотворению А. С. Пушкина «Эхо» (1831):  
...Тебе ж нет отзыва...  
Таков и ты, поэт!

откликающийся и одному себе только не находящий отклика. Все сочинения его — полный арсенал орудий поэта. Ступай туда, выбирай себе всяк по руке любое и выходи с ним на битву; но сам поэт на битву с ним не вышел. Зачем не вышел? — это другой вопрос. Он сам на него отвечает стихами:

Не для житейского волненья,  
Не для корысти, не для битв,  
Мы рождены для вдохновенья,  
Для звуков сладких и молитв.<sup>200</sup>

Пушкин слышал значенье свое лучше тех, которые задавали ему запросы, и с любовью исполнял его. Даже и в те поры, когда метался он сам в чаду страстей, поэзия была для него святыня — точно какой-то храм. Не входил он туда неопрятный и неприбранный; ничего не вносил он туда необдуманного, опрометчивого из собственной жизни своей; не вошла туда нагишом растрепанная действительность. А между тем всё там до единого есть история его самого. Но это ни для кого не зримо. Читатель услышал одно только благоуханье; но какие вещества перегорели в груди поэта затем, чтобы издать это благоуханье, того никто не может услышать. И как он лелеял их в себе! как вынашивал их! Ни один итальянский поэт не отделял так сонетов своих, как обрабатывал он эти легкие, по-видимому мгновенные созданья. Какая точность во всяком слове! Какая значительность всякого выраженья! Как все окружено, окончено и замкнуто! Все они точно перлы; трудно и решить, которое лучше. Словно сверкающие зубы красавицы, которые уподобляет царь Соломон овцам-юницам<sup>201</sup>, только что вышедшими из купели, когда они все как одна и все равно прекрасны.

Как ему говорить было о чем-нибудь, потребном современному обществу в его современную минуту, когда хотелось откликнуться на всё, что ни есть в мире, и когда всякий предмет равно звал его? Он хотел было изобразить в «Онегине» современного человека и разрешить какую-то современную задачу — и не мог. Столкнувшись с места своих героев, сам стал на их месте и, в лице их, поразился тем, чем поражается поэт. Поэма вышла собранье разрозненных ощущений, нежных элегий, колких эпиграмм, картиных идиллий, и, по прочтенье ее, наместо всего выступает тот же чудный образ на все откликнувшегося поэта. Его совершеннейшие произведения: «Борис Годунов» и «Полтава» — тот же верный отклик минувшему. Ничего не хотел он ими сказать своему времени; никакой пользы соотечественникам не замышлял он выбором

<sup>200</sup> Из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт и толпа» (1828).

<sup>201</sup> Образ из библейской Книги Песни Песней Соломона: «Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни...» (гл. 4, ст. 2).

этих двух сюжетов; не видно также, чтобы он исполнился особенного участия к кому-нибудь из выведенных здесь героев и предпринял бы из-за этого эти две поэмы, так мастерски и художественно отработанные. Он изумился только необычайности двух исторических событий и хотел, чтобы, подобно ему, изумились другие.

Чтение поэтов всех народов и веков порождало в нем тот же отклик. Герой испанский Дон-Жуан, этот неистощимый предмет бесчисленного множества драматических поэм, дал ему вдруг идею сосредоточить все дело в небольшой собственной драматической картине<sup>202</sup>, где еще с большим познанием души выставлен неотразимый соблазн развратителя, еще ярче слабость женщины и еще слышней сама Испания. Гете Фауст навел его вдруг на идею сжать в двух-трех страничках главную мысль германского поэта<sup>203</sup>, — и дивишься, как она метко понята и как сосредоточена в одно крепкое ядро, несмотря на всю ее неопределенную разбросанность у Гете. Суровые терцины Данта внушили ему мысль<sup>204</sup> в таких же терцинах и в духе самого Данта изобразить поэтическое младенчество свое в Царском Селе, олицетворить науку в виде строгой жены, собирающей в школу детей, и себя — в виде школьника, вырвавшегося из класса в сад затем, чтобы остановиться перед древними статуями с лирами и циркулями в руках, говорившими ему живой науки, где видно, как уже рано пробуждалась в нем эта чуткость на всё откликаться.

И как верен его отклик, как чутко его ухо! Слышишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испании он испанец, с греком — грек, на Кавказе — вольный горец в полном смысле этого слова; с отжившим человеком он дышит стариной времени минувшего; заглянет к мужику в избу — он русский весь с головы до ног: все черты нашей природы в нем отзывались, и все окинуто иногда одним словом, одним чутко найденным и метко прибранным прилагательным именем.

Свойство это в нем разрасталось постепенно, и он откликнулся бы потом целиком на всю русскую жизнь, так же как откликался на всякую отдельную ее черту. Мысль о романе, который бы поведал простую, безыскусственную повесть прямо русской жизни, занимала его в последнее время неотступно. Он бросил стихи единственno затем, чтобы

<sup>202</sup> Подразумевается «Каменный гость» А. С. Пушкина (1830).

<sup>203</sup> Имеется в виду «Сцена из Фауста» (1825). По свидетельству П. В. Анненкова, Гоголь «объявил однажды, что известная пушкинская «Сцена из Фауста» выше всего «Фауста» Гете, вместе взятого» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 279).

<sup>204</sup> Речь идет о стихотворении А. С. Пушкина «В начале жизни помню школу я...» (1830).

не увлечься ничем по сторонам и быть проще в описаньях, и самую прозу упростил он до того, что даже не нашли никакого достоинства в первых повестях его<sup>205</sup>. Пушкин был этому рад и написал «Капитанскую дочь», решительно лучшее русское произведение в повествовательном роде. Сравнительно с «Капитанской дочкой» все наши романы и повести кажутся приторной размазней. Чистота и безыскусственность взошли в ней на такую высокую степень, что сама действительность кажется перед нею искусственной и карикатурной. В первый раз выступили истинно русские характеры: простой комендант крепости, капитанша, поручик; сама крепость с единственную пушкой, бестолковщина времени и простое величие простых людей — всё не только самая правда, но еще как бы лучше ее. Так оно и быть должно: на то и призванье поэта, чтобы из нас же взять нас и нас же возвратить нам в очищенном и лучшем виде. Все показывало в Пушкине, что он на то был рожден и к тому стремился. Почти в одно время с «Капитанской дочкой» оставил он мастерские пробы романов: «Рукопись села Горюхина»<sup>206</sup>, «Царский арап»<sup>207</sup> и сделанный карандашом набросок большого романа — «Дубровский».<sup>208</sup> В последнее время набрался он много русской жизни и говорил обо всем так метко и умно, что хоть записывай всякое слово: оно стоило его лучших стихов; но еще замечательней было то, что строилось внутри самой души его и готовилось осветить перед ним еще больше жизни. Отголоски этого слышны в изданном уже по смерти его стихотворенье, в котором звуками почти апокалиптическими изображен побег из города, обреченного гибели, и часть его собственного душевного состояния<sup>209</sup>. Много готовилось России добра в этом человеке... Но, становясь мужем, забирая отовсюду силы на то, чтобы управляться с большими делами, не подумал он о том, как управиться с ничтожными и малыми. Внезапная смерть унесла его вдруг от нас — и все в государстве услышало вдруг, что лишилось великого человека.

Влияние Пушкина как поэта на общество было ничтожно. Общество взглянуло на него только в начале его поэтического поприща, когда он первыми молодыми стихами своими напомнил было лиру Байрона; когда же пришел он в себя и стал наконец не Байрон, а Пушкин,

<sup>205</sup> Подразумеваются «Повести Белкина» (1831).

<sup>206</sup> Имеется в виду «История села Горюхина» (1830), которая в первой публикации (Современник. 1837. Т. 7) из-за неправильного прочтения рукописи имела название «История села Горюхина».

<sup>207</sup> «Арап Петра Великого» (1827).

<sup>208</sup> Имеется в виду незаконченный роман А. С. Пушкина «Дубровский», опубликованный посмертно (1841). Рукопись не имеет названия, оно дано издателями при первой публикации.

<sup>209</sup> Стихотворение А. С. Пушкина «Странник».

общество от него отвернулось. Но влияние его было сильно на поэтов. Не сделал того Карамзин в прозе, что он в стихах. Подражатели Карамзина послужили жалкой карикатурой на него самого и довели как слог, — так и мысли до сахарной приторности. Что же касается до Пушкина, то он был для всех поэтов, ему современных, точно сброшенный с Неба поэтический огонь, от которого, как свечки, зажглись другие самоцветные поэты. Вокруг его вдруг образовалось их целое созвездие: Дельвиг, поэт-сибарит, который нежился всяkim звуком своей почти эллинской лиры и, не выпивая залпом всего напитка поэзии, глотал его по капле, как знаток вин, присматриваясь к цвету и обоняя самый запах; Козлов<sup>210</sup>, гармонический поэт, от которого раздались какие-то дотоле не слышанные, музыкально-сердечные звуки; Баратынский, строгий и сумрачный поэт, который показал так рано самобытное стремление мыслей к миру внутреннему и стал уже заботиться о материальной отделке их, тогда как они еще не вызрели в нем самом; темный и неразвившийся, стал себя выказывать людям и сделался чрез то для всех чужим и никому не близким. Всех этих поэтов возбудил на деятельность Пушкин; других же просто создал. Я разумею здесь наших так называемых антологических поэтов, которые произвели понемногу; но если из этих немногих душистых цветков сделать выбор, то выйдет книга, под которую подпишет свое имя лучший поэт. Стоит назвать обоих Туманских<sup>211</sup>, А. Крылова<sup>212</sup>, Тютчева, Плетнева и некоторых других, которые не выказали бы собственного поэтического огия и благоуханных движений душевных, если бы не были зажжены огнем поэзии Пушкина. Даже прежние поэты стали перестраивать лад лир своих. Известный переводчик Илиады Гнедич, пролагатель псалмов Ф. Глинка<sup>213</sup>, партизан-поэт Давыдов<sup>214</sup>, наконец сам Жуковский, наставник и учитель Пушкина в искусстве стихотворном, стал потом учиться сам у своего ученика. Сделались поэтами даже те, которые не рождены были поэтами, которым готовилось поприще не менее высокое, судя по тем духовным силам, какие они показали даже в стихотворных

---

<sup>210</sup> Творчеству Ивана Ивановича Козлова (1779 — 1840) Гоголь посвятил статью «О поэзии Козлова» (4831 — 1833; опубликована посмертно).

<sup>211</sup> Имеются в виду поэты Василий Иванович Туманский (1800 — 1860) и его двоюродный брат Федор Антонович Туманский (1801 — 1853), автор популярного в прошлом веке стихотворения «Птичка» («Вчера я растворил темницу...»).

<sup>212</sup> Крылов Александр Абрамович (1793 — 1829) — поэт.

<sup>213</sup> Федор Николаевич Глинка (1786 — 1880) — автор «Духовных стихотворений» (1839) и «Опытов священной поэзии» (1826).

<sup>214</sup> Денис Васильевич Давыдов (1784 — 1839) — поэт и военный писатель.

своих опытах, как-то: Веневитинов<sup>215</sup>, так рано от нас похищенный, и Хомяков<sup>216</sup>, слава Богу еще живущий для какого-то светлого будущего, покуда еще ему самому не разоблачившегося. Сила возбудительного влияния Пушкина даже повредила многим, особенно Баратынскому<sup>217</sup>, и еще одному поэту, о котором будет речь ниже, — повредила именно тем, что они стали передавать невызванные движения души своей, тогда как самая душа не набралась еще поэзии, доступной и близкой другим, и когда определено было им совершить прежде свое внутреннее воспитание и до времени умолкнуть. Всех соблазнила эта необыкновенная художественная отработка стихотворных созданий, которую показал Пушкин. Позабыв и общество, и всякие современные связи с ним человека, и всякие требования земли своей, все жило в какой-то поэтической Элладе, повторяя стихи Пушкина:

Не для житейского волненья,  
Не для корысти, не для битв,  
Мы рождены для вдохновенья,  
Для звуков сладких и молитв.

Из поэтов времени Пушкина более всех отделился Языков. С появлением первых стихов его всем послышалась новая лира, разгул и буйство сил, удалъ всякого выраженья, свет молодого восторга и язык, который в такой силе, совершенстве и строгой подчиненности господину еще не являлся дотоле ни в ком. Имя Языков пришло ему недаром. Владеет он языком, как араб диким конем своим, и еще как бы хвастается своею властью. Откуда ни начнет период, с головы ли, с хвоста, он выведет его картинно, заключит и замкнет так, что остановившийся пораженный. Все, что выражает силу молодости, не расслабленной, но могучей, полной будущего, стало вдруг предметом стихов его. Так и брызжет юношеская свежесть ото всего, к чему он ни прикоснется. Вот его купанье в реке:

Покровы прочь! Перед челом  
Протянем руки удалые  
И — бух!  
  
Блистательным дождем  
Взлетают брызги водяные.  
Какая сильная волна!  
Какая свежесть и прохлада!  
Как сладострастна, как нежна

<sup>215</sup> Дмитрий Владимирович Веневитинов (1805 — 1827) — поэт и философ.

<sup>216</sup> Хомяков Алексей Степанович (1804 — 1860) — поэт, публицист, богослов.

<sup>217</sup> Баратынский Евгений Абрамович (1800 — 1844) — поэт.

Меня обнявшая наяда! <sup>218</sup>

Вот у него игра в свайку <sup>219</sup>, которую он назвал прямо-русскою игрою. Юноши-молодцы стали в кружок:

Тяжкий гвоздь стойком и плотно  
Бьет в кольцо — кольцо бренчит.  
Вешний вечер беззаботно  
И невидимо летит. <sup>220</sup>

Всё, что вызывает в юноше отвагу, — море, волны, буря, пиры и сдвинутые чаши, братский союз на дело, твердая как кремень вера в будущее, готовность ратовать за отчизну, — выражается у него с силой неестественной. Когда появились его стихи отдельной книгой <sup>221</sup>, Пушкин сказал с досадой: «Зачем он назвал их: «Стихотворенья Языкова»! их бы следовало назвать просто: «хмель»! Человек с обычновенными силами ничего не сделает подобного; тут потребно буйство сил». Живо помню восторг его в то время, когда прочитал он стихотворение Языкова к Давыдову, напечатанное в журнале <sup>222</sup>. В первый раз увидел я тогда слезы на лице Пушкина (Пушкин никогда не плакал; он сам о себе сказал в послании к Овидию <sup>223</sup> «Суровый славянин, я слез не проливал, но понимаю их»). Я помню те строфы, которые произвели у него слезы: первая, где поэт, обращаясь к России, которую уже было призвали бессильюю и немощной, взывает так:

Чу! труба продребежала!  
Русь! тебе надменный зов!  
Вспомяни ж, как ты встречала  
Все нашествия врагов!  
Созови от стран далеких  
Ты своих богатырей,  
Со степей, с равнин широких,  
С рек великих, с гор высоких,  
От осьми твоих морей! <sup>224</sup>

И потом строфа, где описывается неслыханное самопожертвование, — предать огню собственную столицу со всем, что

<sup>218</sup> Из стихотворения Н. М. Языкова «Тригорское» (1826).

<sup>219</sup> Свайка — старинная русская народная игра; участники ее броском втыкают большой толстый гвоздь (свайку) в лежащее на земле кольцо.

<sup>220</sup> Из стихотворения Н. М. Языкова «К А. Н. Вульфу» (1828).

<sup>221</sup> Имеется в виду сборник «Стихотворения Н. Языкова» (1833).

<sup>222</sup> Подразумевается послание «Д. В. Давыдову», впервые опубликованное в «Московском наблюдателе» (1835. Авг. Кн. 2).

<sup>223</sup> «К Овидию» (1821).

<sup>224</sup> Из упомянутого выше послания Н. М. Языкова «Д. В. Давыдову».

ни есть в ней священного для всей земли:

Пламень в небо упирая,  
Лют пожар Москвы ревет.  
Златоглавая, святая,  
Ты ли гибнешь? Русь, вперед!  
Громче буря истребленья!  
Крепче смелый ей отпор!  
Это жертвенник спасенья,  
Это пламя очищенья,  
Это феников костер!

У кого не брызнут слезы после таких строф? Стихи его точно размычливый хмель; но в хмеле слышна сила высшая, заставляющая его подыматься кверху. У него студентские пирушки не из бражничества и пьянства, но от радости, что есть мочь в руке и поприще впереди, что понесутся они, студенты,

На благородное служенье<sup>225</sup>  
Во славу чести и добра.

Беда только, что хмель перешел меру и что сам поэт загулялся чересчур на радости от своего будущего, как и многие из нас на Руси, и осталось дело только в одном могучем порыве.

Всех глаза устремились на Языкова. Все ждали чего-то необыкновенного от нового поэта, от стихов которого пронеслась такая богатырская похвальба совершить какое-то могучее дело. Но дела не дождались. Вышло еще несколько стихотворений, повторивших слабей то же самое; потом тяжелая болезнь посетила поэта и отразилась на его духе. В последних стихах его уже не было ничего, шевелившего русскую душу. В них раздались скучанья среди немецких городов<sup>226</sup> безучастные записи разъездов, перечень однообразно-страдальческого дня. Все это было мертвое русскому духу. Не приметили даже необыкновенной отработки позднейших стихов его. Его язык, еще более окрепнувший, ему же послужил в улику: он был на тощих мыслях и бедном содержании, что панцирь богатыря на хилом теле карлика. Стали говорить даже, что у Языкова нет вовсе мыслей, а одни пустозвонки стихи, и что он даже и не поэт. Все пришло противу него в ропот.

<sup>225</sup> Вероятно, Гоголь по памяти цитирует стихотворение Н. М. Языкова «Дерпт» (1825). У Языкова:

И благородное стремленье  
На поле славы и наук.

<sup>226</sup> С 1838 по 1843 г. Н. М. Языков лечился за границей, преимущественно в Германии и Австрии.

Отголоски этого ропота раздались нелепо в журналах, но в основанье их была правда. Языков не сказал же, говоря о поэте, словами Пушкина.

Не для житейского волненья,  
Не для корысти, не для битв,  
Мы рождены для вдохновенья,  
Для звуков сладких и молитв.

У него, напротив, вот что говорит поэт:

Когда тебе на подвиг все готово,  
В чем на земле небесный виден дар,  
Могучей мысли свет и жар  
И огнедышащее слово —  
Иди ты в мир, да слышит он поэта.<sup>227</sup>

Положим, это говорится об идеальном поэте; но идеал свой он взял из своей же природы. Если бы в нем самом уже не было начал тому, не мог бы и представить он себе такого поэта. Нет, не силы его оставили, не бедность таланта и мыслей виной пустоты содержанья последних стихов его, как самоуверенно возгласили критики, и даже не болезнь (болезнь дается только к ускорению дела, если человек проникнет смысл ее) — нет, другое его осилило: свет любви погаснул в душе его — вот почему примеркнул и свет поэзии. Полюби потребное и нужное душе с такою силою, как полюбил прежде хмель юности своей, — и вдруг подымутся твои мысли наравне со стихом, раздастся огнедышащее слово: изобразишь нам ту же пошлость болезненной жизни своей, но изобразишь так, что содрогнется человек от проснувшихся железных сил своих и возблагодарит Бога за недуг, давший ему это почувствовать. Не по стопам Пушкина надлежало Языкову обрабатывать и округлять стих свой; не для элегий и антологических стихотворений, но для дифирамба и гимна родился он, это услышали все. И уже скорей от Державина, чем от Пушкина, должен был он засветить светильник свой. Стих его только тогда и входит в душу, когда он весь в лирическом свете; предмет у него только тогда жив, когда он или движется, или звучит, или сияет, а не тогда, когда пребывает в покое. Уделы поэтов не равны. Одному определено быть верным зеркалом и отголоском жизни — на то и дан ему многосторонний описательный талант. Другому поведено быть передовою, возбуждающею силою общества во всех его благородных и высших движениях — и на то дан ему лирический талант. Не попадает талант на свою дорогу, потому что не устремляет глаз высших на самого себя. Но Промысел лучше печется о человеке. Бедой, злом и болезнью насильно приводит он его к тому, к чему он не пришел бы сам. Уже и в

<sup>227</sup> Из стихотворения Н. М. Языкова «Поэту» (1831).

лире Языкова заметно стремление к повороту на свою законную дорогу. От него услышали недавно стихотворенье «Землетрясенье»<sup>228</sup>, которое, по мнению Жуковского, есть наше лучшее стихотворенье.

Из поэтов времени Пушкина отдался князь Вяземский<sup>229</sup>. Хотя он начал писать гораздо прежде Пушкина, но так как его полное развитие было при нем, то упомянем о нем здесь. В князе Вяземском — противоположность Языкову: сколько в том поражает нищета мыслей, — столько в этом обилие их. Стих употреблен у него как первое попавшееся орудие: никакой наружной отделки его, никакого также сосредоточенъя и округленья мысли затем, чтобы выставить ее читателю как драгоценность: он не художник и не заботится обо всем этом. Его стихотворенья — импровизации, хотя для таких импровизаций нужно иметь слишком много всяких даров и слишком приготовленную голову. В нем собралось обилие необыкновенное всех качеств: ум, остроумие, на-глядка, наблюдательность, неожиданность выводов, чувство, веселость и даже грусть; каждое стихотворение его — пестрый фараон всего вместе<sup>230</sup>. Он не поэт по призванию: судьба, наделивши его всеми дарами, дала ему как бы в придачу талант поэта, затем, чтобы составить из него что-то полное. В его книге «Биография Фонвизина»<sup>231</sup> обнаружилось еще видней обилие всех даров, в нем заключенных. Там слышен в одно и то же время политик, философ, тонкий оценщик и критик, положительный государственный человек и даже опытный ведатель практической стороны жизни — словом, все те качества, которые должен заключать в себе глубокий историк в значении высшем.

<sup>228</sup> См. письмо XV. *Предметы для лирического поэта в нынешнее время*.

<sup>229</sup> Петр Андреевич (1792 — 1878), поэт и критик, близкий знакомый Пушкина и Гоголя.

<sup>230</sup> Реминисценция из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина:

А перед ним Воображенье  
Свой пестрый мечет фараон.  
(Глава 8, строфа 37).

Фараон — азартная карточная игра.

<sup>231</sup> фон-Визин. Сочинение князя Петра Вяземского. Спб., 1848. Орывки из этой книги печатались в газетах, журналах и альманахах. Как явствует из письма Гоголя к П. А. Вяземскому от июля — сентября 1842 г., «почти половину всего сочинения» Гоголь прочел тогда в рукописи, присланной автором Н. М. Языкову. Переработанный текст этого письма и лег в основу следующей далее характеристики книги князя Вяземского и пожелания, чтобы тот посвятил себя изображению века Екатерины. Примечательно, что с этим же пожеланием Гоголь обратился к П. А. Вяземскому и позднее, в письме к нему от 1 января 1852 г. Замечательно также, что век Екатерины, по его исключительности и колоссальности, сравнивается Гоголем в письме к П. А. Вяземскому 1842 г. со временами Гомера.

И если бы таким же пером, каким начертана биография Фонвизина, написано было все царствование Екатерины, которое уже и теперь кажется нам почти фантастическим от чрезвычайного обилия эпохи и необыкновенного столкновения необыкновенных лиц и характеров, то можно сказать почти наверно, что подобного по достоинству исторического сочинения не представила бы нам Европа. Но отсутствие большого и полного труда есть болезнь князя Вяземского, и это слышится в самих его стихотворениях. В них заметно отсутствие внутреннего гармонического согласования в частях, слышен разлад: слово не сочеталось со словом, стих со стихом, возле крепкого и твердого стиха, какого нет ни у одного поэта, помещается другой, ничем на него не похожий; то вдруг защемит он чем-то вырванным живьем из самого сердца, то вдруг оттолкнет от себя звуком, почти чуждым сердцу, раздавшимся совершенно не в такт с предметом; слышна несобранность в себе, не полная жизнь своими силами; слышится на дне всего что-то придавленное и угнетенное. Участь человека, одаренного способностями разнообразными и очутившегося без такого дела, которое бы заняло все до единой его способности, тяжелей участи последнего бедняка. Только тот труд, который заставляет целиком всего человека обратиться к себе и уйти в себя, есть наш избавитель. На нем только, как говорит поэт,

Душа прямится, крепнет воля,  
И наша собственная доля  
Определяется видней.<sup>232</sup>

В то время когда наша поэзия совершала так быстро своеобразный ход свой, воспитываясь поэтами всех веков и наций, обвеваясь звуками всех поэтических стран, пробуя все тоны и аккорды, один поэт оставался в стороне. Выбравши себе самую незаметную и узкую тропу, шел он по ней почти без шума, пока не перерос других, как крепкий дуб перерастает всю рощу, вначале его скрывавшую. Этот поэт — Крылов<sup>233</sup>. Выбрал он себе форму басни, всеми пренебреженную как вещь старую, негодную для употребления и почти детскую игрушку, — и в сей басне умел сделаться народным поэтом. Эта наша крепкая русская голова, тот самый ум, который сродни уму наших пословиц, тот самый ум, которым крепок русский человек, ум выводов, так называемый задний ум<sup>234</sup>.

<sup>232</sup> Из стихотворения Н. М. Языкова «К Вульфу, Тютчеву и Шепелеву» (1826).

<sup>233</sup> В записной книжке Гоголя 1845 — 1846 гг. есть подготовительная запись: «О Крылове. Вот чистые, без всякой примеси русские понятия, золотые зерна ума. Ум, безоговорочный».

<sup>234</sup> В толковании поговорки Гоголь следует И. М. Снегиреву, известному фольклористу и этнографу, который усматривал в ней выражение свойственного русскому народу склада ума: «Что Русский и после ошибки может спохватиться и

Пословица не есть какое-нибудь вперед поданное мнение или предположенье о деле, но уже подведенный итог делу, отсед, отстой уже перебродивших и кончившихся событий, окончательное извлеченье силы дела из всех сторон его, а не из одной. Это выражается и в поговорке: «Одна речь не пословица». Вследствие этого заднего ума, или ума окончательных выводов, которым преимущественно наделен перед другими русский человек, наши пословицы значительнее пословиц всех других народов. Сверх полноты мыслей, уже в самом образе выраженья, в них отразилось много народных свойств наших; в них всё есть: издевка, насмешка, попрек — словом, все шевелящее и задирающее за живое: как стоглазый Аргус, глядит из них каждая на человека. Все великие люди, от Пушкина до Суворова и Петра, благоговели перед нашими пословицами. Уваженье к ним выразилось многими поговорками: «Пословица недаром молвится», или «Пословица вовек не сломится». Известно, что если сумеешь замкнуть речь ловко прибранной пословицей, то сим объяснишь ее вдруг народу, как бы сама по себе ни была она свыше его понятия.

Отсюда-то ведет свое происхождение Крылов. Его басни отнюдь не для детей. Тот ошибется грубо, кто назовет его баснописцем в таком смысле, в каком были баснописцы Лафонтен, Дмитриев, Хемницер и, наконец, Измайлов<sup>235</sup>. Его притчи — достояние народное и составляют книгу мудрости самого народа. Звери у него мыслят и поступают слишком по-русски: в их проделках между собою слышны проделки и обряды производств внутри России. Кроме верного звериного сходства, которое у него до того сильно, что не только лисица, медведь, волк, но даже сам горшок поворачивается как живой, они показали в себе еще и русскую природу. Даже осел, который у него до того определился в характере своем, что стоит ему высунуть только уши из какой-нибудь басни, как уже читатель вскрикивает вперед: «Это осел Крылова!»<sup>236</sup> — даже осел, несмотря на свою принадлежность климату других земель, явился у него русским человеком. Несколько лет производя кражу по чужим огородам, он возгорелся вдруг чинолюбьем, захотел ордена и

---

образумиться, о том говорит его же пословица: «Русский задним умом крепок» (Снегирев И. Русские в своих пословицах: Рассуждения и исследования об отечественных пословицах и поговорках. М., 1832. Кн. 2. С. 27). Ср.: «Так в собственно Русских пословицах выражается свойственный народу склад ума, способ суждения, особенность воззрения <...> Коренную их основу составляет многовековой, наследственный опыт, этот задний ум, которым крепок Русский...» (Снегирев И. Русские народные пословицы и притчи. М., 1848. С. XV).

<sup>235</sup> Измайлов Александр Ефимович (1779 — 1831) — поэт и прозаик, издатель журнала «Благонамеренный».

<sup>236</sup> Речь идет о басне «Осел» (1830).

заважничал страх, когда хозяин повесил ему на шею звонок, не размысля того, что теперь всякая кражи и пакость его будет видна всем и привлечет отовсюду побои на его бока. Словом — всюду у него Русь и пахнет Русью. Всякая басня его имеет сверх того историческое происхождение. Несмотря на свою неторопливость и, по-видимому, равнодушие к событиям современным, поэт, однако же, следил всякое событие внутри государства: на всё подавал свой голос, и в голосе этом слышалась разумная середина, примиряющий третейский суд, которым так силен русский ум, когда достигает до своего полного совершенства. Строго взвешенным и крепким словом так разом он и определит дело, так и означит, в чем его истинное существование. Когда некоторые чересчур военные люди стали было уже утверждать, что все в государствах должно быть основано на одной военной силе и в ней одной спасение, а чиновники штатские начали, в свою очередь, притрунивать над всем, что ни есть военного, из-за того только, что некоторые обратили военное дело в одни погончики да петлички, он написал знаменитый спор пушек с парусами<sup>237</sup>, в котором вводит обе стороны в их законные границы сим замечательным четверостишием:

Держава всякая сильна,  
Когда устроены в ней мудро части:  
Оружием — врагам она грозна,  
А паруса — гражданские в ней власти.

Какая меткость определенья! Без пушек не защитишься, а без парусов и вовсе не поплыешь. Когда у некоторых доброжелательных, но недальновидных начальников утвердилось было странное мнение, что нужно опасаться бойких, умных людей и обходить их в должностях из-за того единственno, что некоторые из них были когда-то шалуны и замешались в безрассудное дело<sup>238</sup>, он написал не меньше замечательную басню, «Две бритвы»<sup>239</sup>, и в ней справедливо попрекнул начальников, которые

Людей с умом боятся  
И держат при себе охотней дураков.

Особенно слышно, как он везде держит сторону ума, как просит не пренебрегать умного человека, но уметь с ним обращаться. Это отразилось в басне «Хор певчих»<sup>240</sup>, которую заключил он словами: «По

<sup>237</sup> Имеется в виду басня «Пушки и паруса» (1827).

<sup>238</sup> Подразумеваются участники декабристского движения

<sup>239</sup> Басня И. А. Крылова «Бритвы» (1828).

<sup>240</sup> Имеется в виду басня И. А. Крылова «Музыканты» (1808). В «Мертвых душах» Гоголь воспользовался пословицей, которой заканчивается басня. Учитель Чичикова не любил Крылова за то, что тот сказал: «По мне, уж лучше

мне, уж лучше пей, да дело разумей!» Не потому он это сказал, чтобы хотел похвалить пьянство, но потому, что заболела его душа при виде, как некоторые, набравши к себе наместо мастеров дела людей Бог весть каких, еще и хващаются тем, говоря, что хоть мастерства они и не смыслят, но зато отличнейшего поведенья. Он знал, что с умным человеком все можно сделать и нетрудно обратить его к хорошему поведению, если сумеешь умно говорить с ним, но дурака трудно сделать умным, как ни говори с ним. «В воре — что в море, а в дураке — что в пресном молоке», — говорит наша пословица. Но и умному делает он также крепкие заметки, сильно попрекнувши его в басне «Стоячий пруд»<sup>241</sup> за то, что дал задремать своим способностям, и строго укоривши в басне «Сочинитель и разбойник»<sup>242</sup> за развратное и злое их направление. Вообще его занимали вопросы важные. В книге его всем есть уроки, всем степеням в государстве, начиная от главы, которому говорит он:

Властитель хочет ли народы удержать?

Держи бразды не вкруть, но мощною рукою, — <sup>243</sup>

и до последнего труженика, работающего в низших рядах государственных, которому указывает он на высокий удел в виде пчелы, не ищущей отличать своей работы:

Но сколь и тот почтен, кто, в низости сокрытый,

За все труды, за весь потерянный покой

Ни славою, ни почестми не льстится

И мыслью оживлен одной,

Что к пользе общей он трудится. <sup>244</sup>

Слова эти останутся доказательством вечным, как благородна была душа самого Крылова. Ни один из поэтов не умел сделать свою мысль так ощущительной и выражаться так доступно всем, как Крылов. Поэт и мудрец слились в нем воедино. У него живописно все начиная от

---

пей, да дело разумей».

<sup>241</sup> Басня И. А. Крылова называется «Пруд и река» (1814). Содержание ее отзываются в строках из шестой, «плюшкинской», главы «Мертвых душ»: «...Забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!»

<sup>242</sup> Мораль этой басни слышится в словах Гоголя из его «Завещания»: «Стонет весь умирающий состав мой, чужа исполинские возрастанья и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся...» (см. наст. изд., с. 42).

<sup>243</sup> Гоголь ошибочно приписывает И. А. Крылову аполог И. И. Дмитриева «Узда и конь» (1826), цитируя его по памяти. У Дмитриева: «Властитель! хочешь ли спокойно обладать?»

<sup>244</sup> Из басни И. А. Крылова «Орел и пчела» (1811).

изображенья природы пленительной, грозной и даже грязной, до передачи малейших оттенков разговора, выдающих живьем душевые свойства: Все так сказано метко, так найдено верно и так усвоены крепко вещи, что даже и определить нельзя, в чем характер пера Крылова. У него не поймаешь его слога. Предмет, как бы не имея словесной оболочки, выступает сам собою, натурую перед глаза. Стиха его также не схватишь. Никак не определишь его свойства: звучен ли он? легок ли? тяжел ли? Звучит он там, где предмет у него звучит; движется, где предмет движется; крепчает, где крепнет мысль; и становится вдруг легким, где уступает легковесной болтовне дурака. Его речь покорна и послушна мысли и летает как муха, то являясь вдруг в длинном шестистопном стихе, то в быстром одностопном; рассчитанным числом слов выдает она ощутительно самую невыразимую ее духовность. Стоит вспомнить величественное заключенье басни «Две бочки»:

Великий человек лишь виден на делах,  
И думает свою он крепку думу  
Без шуму.

Тут от самого размещения слов как бы слышится величие ушедшего в себя человека.

От Крылова вдруг можно перейти к другой стороне нашей поэзии — поэзии сатирической. У нас у всех много иронии. Она видна в наших пословицах и песнях и, что всего изумительней, часто там, где видимо страждет душа и не расположена вовсе к веселости. Глубина этой самобытной иронии еще пред нами не разоблачилась, потому что, воспитываясь всеми европейскими воспитаньями, мы и тут отделились от родного корня. Наклонность к иронии, однако ж, удержалась, хотя и не в той форме. Трудно найти русского человека, в котором бы не соединялось вместе с уменьем пред чем-нибудь истинно возблагоговеть — свойство над чем-нибудь истинно посмеяться. Все наши поэты заключали в себе это свойство. Державин крупной солью рассыпал его у себя в большей половине од своих. Оно есть у Пушкина, у Крылова, у князя Вяземского; оно слышно даже у таких поэтов, которые в характере своем имели нежное, меланхолическое расположение: у Капниста, у Жуковского, у Карамзина, у князя Долгорукого<sup>245</sup> — оно есть Что-то сродное нам всем. Естественно, что у нас должны были развиться писатели собственно сатирические. Уже в то время, когда Ломоносов настраивал свою лиру на высокий лирический лад, князь Кантемир<sup>246</sup>

<sup>245</sup> Имеется в виду поэт и драматург Иван Михайлович Долгорукий (1764 — 1823).

<sup>246</sup> Антиох Дмитриевич Кантемир (1708 — 1744), поэт и дипломат, автор девяти сатир («На хулящих учение», «На зависть и гордость дворян злонравных...») и

находил пищу для сатиры и хлестал ею глупости едва начинавшегося общества. В разные эпохи появлялось у нас множество сатир, эпиграмм, насмешливых перелицовок наизнанку известнейших произведений и всякого рода пародий едких, злых, которые останутся, вероятно, всегда в рукописях и в которых всюду видна большая сила. Стоит вспомнить пародии князя Горчакова<sup>247</sup>, сатиру на литераторов Воеикова «Дом сумасшедших»<sup>248</sup> и талантливые пародии Михаила Дмитриева<sup>249</sup>, где желчь Ювенала соединилась с каким-то особенным славянским добродушием. Но сатира скоро попросила себе поприща обширнейшего и перешла в драму. Театр начался у нас так же, как и повсюду, сначала подражаньями; потом стали пробиваться черты оригинальные. В трагедии явились нравственная сила и незнанье человека под условием взятой эпохи и века; в комедии — легкие насмешки над смешными сторонами общества, без взгляда в душу человека. Имена Озерова, Княжнина, Капниста, князя Шаховского, Хмельницкого, Загоскина, А. Писарева помнятся с уважением; но все это побледнело перед двумя яркими произведениями: перед комедиями Фонвизина «Недоросль» и Грибоедова «Горе от ума», которых весьма остроумно назвал князь Вяземский двумя современными трагедиями. В них уже не легкие насмешки над смешными сторонами общества, но раны и болезни нашего общества, тяжелые злоупотребления внутренние, которые беспощадной силой иронии выставлены в очевидности потрясающей. Обе комедии взяли две разные эпохи. Одна поразила болезни от непросвещеня, другая — от дурно понятого просвещенья.

Комедия Фонвизина поражает огрубелое зверство человека, происшедшее от долгого, бесчувственного, не потрясаемого застоя в отдаленных углах и захолустьях России. Она выставила так страшно эту кору огрубенья, что в ней почти не узнаешь русского человека. Кто может узнать что-нибудь русское в этом злобном существе, исполненном тиранства, какова Простакова, мучительница крестьян, мужа и всего, кроме своего сына? А между тем чувствуешь, что нигде в другой земле, ни во Франции, ни в Англии, не могло образоваться такое существо. Эта безумная любовь к своему детищу есть наша сильная русская любовь,

---

др.), имевших широкое хождение в списках (опубл. 1762).

<sup>247</sup> Подразумеваются сатирические произведения поэта и драматурга Дмитрия Петровича Горчакова (1758 — 1824), снискавшего репутацию «русского Ювенала».

<sup>248</sup> Это сатирическое произведение поэта и критика Александра Федоровича Воеикова (1778 или 1779 — 1838) было запрещено цензурой (опубл. 1857) и распространялось в списках.

<sup>249</sup> Речь идет о поэте, критике и мемуаристе Михаиле Александровиче Дмитриеве (1796 — 1866), знакомом Гоголя.

которая в человеке, потерявшем свое достоинство, выразилась в таком извращенном виде, в таком чудном соединении с тиранством, — так что, чем более она любит свое дитя, тем более ненавидит все, что не есть ее дитя. Потом характер Скотинина — другой тип огрубения. Его неуклюжая природа, не получив на свою долю никаких сильных и неистовых страстей, обратилась в какую-то более спокойную, в своем роде художественную любовь к скотине наместо человека: свиньи сделались для него то же, что для любителя искусств картинная галерея. Потом супруг Простаковой — несчастное, убитое существо, в котором и те слабые силы, какие держались, забиты понуканьями жены, — полное притупление всего! Наконец, сам Митрофан, который, ничего не заключая злобного в своей природе, не имея желанья наносить кому-либо несчастье, становится нечувствительно, с помощью угождений и баловства, тираном всех, и всего более тех, которые его сильней любят, то есть матери и няньки, так что наносить им оскорбление — сделалось ему уже наслажденьем. Словом — лица эти как бы уже не русские; трудно даже и узнать в них русские качества, исключая только разве одну Еремеевну да отставного солдата. С ужасом слышишь, что уже на них не подействуешь ни влиянием Церкви, ни обычаями старины, от которых удержалось в них одно пошлое, и только одному железному закону здесь место. Все в этой комедии кажется чудовищной карикатурой на русское. А между тем нет ничего в ней карикатурного: все взято живьем с природы и проверено знаньем души. Это те неотразимо-страшные идеалы огрубения, до которых может достигнуть только один человек русской земли, а не другого народа.

Комедия Грибоедова взяла другое время общества — выставила болезни от дурно понятого просвещения, от приятия глупых светских мелочей наместо главного, — словом, взяла донкишотскую сторону нашего европейского образования, несвязавшуюся смесь обычаев, сделавшую русских ни русскими, ни иностранцами. Тип Фамусова так же глубоко постигнут, как и Простаковой. Так же наивно, как хвастается Простакова своим невежеством, он хвастается полупросвещением, как собственным, так и всего того сословия, к которому принадлежит: хвастается тем, что московские девицы верхние выводят нотки, словечка два не скажут, всё с ужимкой; что дверь у него отперта для всех, как званых, так и незваных, особенно для иностранных; что канцелярия у него набита ничего не делающей родней. Он и благопристойный степенный человек, и волокита, и читает мораль, и мастер так пообедать, что в три дня не сварится. Он даже вольнодумец, если соберется с подобными себе стариками, и в то же время готов не допустить на выстрел к столицам молодых вольнодумцев, именем которых честит всех, кто не подчинился принятым светским обычаям их общества. В

существе своем это одно из тех выветрившихся лиц, в которых, при всем их светском *comme il faut*, не осталось ровно ничего, которые своим пребыванием в столице и службой так же вредны обществу, как другие ему вредны своею неслужбой и огрубелым пребыванием в деревне. Вредны, во-первых, собственным именьям своим — тем, что, предавши их в руки наемников и управителей, требуя от них только денег для своих балов и обедов, званых и незваных, они разрушили истинно законные узы, связывавшие помещиков с крестьянами; вредны, во-вторых, на служащем поприще — тем, что, доставляя места одним только ничего не делающим родственникам своим, отняли у государства истинных дельцов и отвадили охоту служить у честного человека; вредны, наконец, в-третьих, духу правительства своей двусмысленной жизнью — тем, что, под личиною усердия к царю и благонамеренности, требуя поддельной нравственности от молодых людей и развратничая в то же время сами, возбудили негодованье молодежи, неуважение к старости и заслугам и наклонность к вольнодумству действительному у тех, которые имеют некрепкие головы и способны вдаваться в крайности. Не меньше замечателен другой тип: отъявленный мерзавец Загорецкий, везде ругаемый и, к изумлению, всюду принимаемый, лгун, плут, но в то же время мастер угодить всякому сколько-нибудь значительному или сильному лицу доставлением ему того, к чему он греховно падок, готовый, в случае надобности, сделаться патриотом и ратоборцем нравственности, зажечь костры и на них предать пламени все книги, какие ни есть на свете, а в том числе и сочинителей даже самих басен за их вечные насмешки над львами и орлами и сим обнаруживший, что, не боялся ничего, даже самой позорнейшей брани, боится, однако ж, насмешки, как черт креста. Не меньше замечателен третий тип: глупый либерал Репетилов, рыцарь пустоты во всех ее отношениях, рыскающий по ночным собраньям, радующийся, как Бог весть какой находке, когда удается ему пристегнуться к какому-нибудь обществу, которое шумит о том, чего он не понимает, чего и рассказать даже не умеет, но которого бредни слушает он с чувством, в уверенности, что попал наконец на настоящую дорогу и что тут кроется действительно какое-то общественное дело, которое хотя еще не созрело, но как раз созреет, если только о нем пошумят побольше, станут почаше собираться по ночам да позадористей между собою спорить. Не меньше замечателен четвертый тип: глупый фрунтовик Скалозуб, появивший службу единственно в уменье различать форменные отлички, но при всем том удержавший какой-то свой особенный философски-либеральный взгляд на чины, признающийся откровенно, что он их считает как необходимые каналы к тому, чтобы попасть в генералы, а там ему хоть трава не расти; все прочие тревоги ему нипочем, а обстоятельства времени и века для него

не головоломная наука: он искренно уверен, что весь мир можно успокоить, давши ему в Вольтеры фельдфебеля. Не меньше замечательный также тип и старуха Хлестова, жалкая смесь пошлости двух веков, удержавшая из стариных времен только одно пошлое, с притязаньями науважение от нового поколенья, с требованьями почтенья к себе от тех самых людей, которых сама презирает, готовая выбранить вслух и встречного и поперечного за то только, что не так к ней сел или перед нею оборотился, ни к чему не — питающая никакой любви и никакогоуважения, но покровительница арапчонок, мосек и людей вроде Молчалина, — словом, старуха дрянь в полном смысле этого слова. Сам Молчалин — тоже замечательный тип. Метко схвачено это лицо, безмолвное, низкое, покамест тихомолком пробирающееся в люди, но в котором, по словам Чацкого, готовится будущий Загорецкий. Такое скопище уродов общества, из которых каждый окарикатурил какое-нибудь мненье, правило, мысль, извративши по-своему законный смысл их, должно было вызвать в отпор ему другую крайность, которая обнаружилась ярко в Чацком. В досаде и справедливом негодовании противу их всех Чацкий переходит также в излищество, не замечая, что через это самое и через этот невоздержанный язык свой он делается сам нестерпим и даже смешон. Все лица комедии Грибоедова суть такие же дети полупросвещения, как Фонвизиновы — дети непросвещения, русские уроды, временные, преходящие лица, образовавшиеся среди броженья новой закваски. Прямо-русского типа нет ни в ком из них; не слышно русского гражданина. Зритель остается в недоуменье насчет того, чем должен быть русский человек. Даже то лицо, которое взято, по-видимому, в образец, то есть сам Чацкий, показывает только стремление чем-то сделаться, выражает только негодование противу того, что презирено и мерзко в обществе, но не дает в себе образца обществу.

Обе комедии исполняют плохо сценические условия; в сем отношении ничтожная французская пьеса их лучше. Содержанье, взятое в интригу, ни завязано плотно, ни мастерски развязано. Кажется, сами комики о нем не много заботились, видя сквозь него другое, высшее содержание и соображая с ним выходы и уходы лиц своих. Степень потребности побочных характеров и ролей измерена также не в отношении к герою пьесы, но в отношении к тому, сколько они могли пополнить и пояснить мысль самого автора присутствием своим на сцене, сколько, могли собою дорисовать общность всей сатиры. В противном же случае — то есть если бы они выполнили и эти необходимые условия всякого драматического творенья и заставили каждое из лиц, так метко схваченных и постигнутых, изворотиться перед зрителем в живом действии, а не в разговоре, — это были бы два высокие произведения нашего гения. И теперь даже их можно назвать истинно

общественными комедиями, и подобного выраженья, сколько мне кажется, не принимала еще комедия ни у одного из народов. Есть следы общественной комедии у древних греков; но Аристофан руководился более личным расположеньем, нападал на злоупотребленья одного какого-нибудь человека и не всегда имел в виду истину: доказательством тому то, что он дерзнул осмеять Сократа<sup>250</sup>. Наши комики двинулись общественной причиной, а не собственной, восстали не противу одного лица, но против целого множества злоупотреблений, против уклоненья всего общества от прямой дороги. Общество сделали они как бы собственным своим телом; огнем негодованья лирического зажглась беспощадная сила их насмешки. Это — продолжение той же браны света со тьмой, внесенной в Россию Петром, которая всякою благородного русского делает уже невольно ратником света. Обе комедии ничуть не созданья художественные и не принадлежат фантазии сочинителя. Нужно было много накопиться сору и дрязгу внутри земли нашей, чтобы явились они почти сами собой в виде какого-то грозного очищения. Вот почему по следам их не появлялось в нашей литературе ничего им подобного и, вероятно, долго не появится.

Со смертью Пушкина остановилось движенье поэзии нашей вперед. Это, однако же, не значит, чтобы дух ее угаснул; напротив, он, как гроза, невидимо накопляется вдали; самая сухость и духота в воздухе возвещают его приближение. Уже явились и теперь люди не без талантов. Но еще все находится под сильным влиянием гармонических звуков Пушкина; еще никто не может вырваться из этого заколдованного, им очертанного круга и показать собственные силы. Еще даже не слышит никто, что вокруг его настало другое время, образовались стихии новой жизни и раздаются вопросы, которые дотоле не раздавались; а потому ни в ком из них еще нет самоцветности. Их даже не следует называть по именам, кроме одного Лермонтова, который себя выставил вперед больше других и которого уже нет на свете. В нем слышатся признаки таланта первостепенного: поприще великое могло ожидать его, если бы не какая-то несчастная звезда, которой управленье захотелось ему над собой признать. Попавши с самого начала в круг того общества, которое справедливо можно было назвать временным и переходным, которое, как бедное растение, сорвавшееся с родной почвы, осуждено было безрадостно носиться по степям, слыша само, что не прирасти ему ни к какой другой почве и его жребий — завянуть и пропасть, — он уже с ранних пор стал выражать то раздирающее сердце равнодушие ко всему, которое не слышалось еще ни у одного из наших поэтов. Безрадостные встречи, беспечальные расставанья, странные, бессмысленные любовные

---

<sup>250</sup> Имеется в виду комедия «Облака» (423).

узы, неизвестно зачем заключаемые и неизвестно зачем разрываемые, стали предметом стихов его и подали случай Жуковскому весьма верно определить существо этой поэзии словом *безочарование*. С помощью таланта Лермонтова оно сделалось было на время модным. Как некогда с легкой руки Шиллера пронеслось было по всему свету *очарованье* и стало модным, как потом с тяжелой руки Байрона пошло в ход *разочарованье*, порожденное, может быть, излишним очарованьем, и стало также на время модным, так наконец пришла очередь и *безочарованью*, родному детищу байроновского разочарованья. Существование его, разумеется, было кратковременной всех прочих, потому что в безочарованье ровно нет никакой приманки ни для кого. Признавши над собою власть какого-то обольстительного демона, поэт покушался не раз изобразить его образ, как бы желая стихами от него отделаться<sup>251</sup>. Образ этот не выписан определительно, даже не получил того обольстительного могущества над человеком, которое он хотел ему придать. Видно, что вырос он не от собственной силы, но от усталости и лени человека сражаться с ним. В неоконченном его стихотворенье, названном «Сказка для детей», образ этот получает больше определительности и больше смысла. Может быть, с окончанием этой повести, которая есть его лучшее стихотворение, отделался бы он от самого духа и вместе с ним и от безотрадного своего состояния (приметы тому уже сияют в стихотвореньях «Ангел», «Молитва», и некоторых других), если бы только сохранилось в нем самом побольшеуваженья и любви к своему таланту. Но никто еще не играл так легкомысленно с своим талантом и так не старался показать к нему какое-то даже хвастливое презренье, как Лермонтов. Не заметно в нем никакой любви к детям своего же воображенья. Ни одно стихотворение не выносилось в нем, не возлеялось чадолюбно и заботливо; не устоялось и не сосредоточилось в себе самом; самый стих не получил еще своей собственной твердой личности и бледно напоминает то стих Жуковского, то Пушкина; повсюду — излишество и многоречив. В его сочинениях прозаических гораздо больше достоинства. Никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой. Тут видно больше углубленья в действительность жизни — готовился будущий великий живописец русского быта... Но внезапная смерть вдруг его от нас унесла. Слышино страшное в судьбе наших поэтов. Как только кто-нибудь из них, упустив из виду свое главное поприще и назначенье, бросался на другое или же опускался в тот омут светских отношений, где не следует ему

<sup>251</sup> Парафраза слов М. Ю. Лермонтова:

Но я, расставшись с прочими мечтами,  
И от него отделался — стихами.

(«Сказка для детей», строфа 6; опубл. 1842).

быть и где нет места для поэта, внезапная, насильтвенная смерть вырывала его вдруг из нашей среды. Три первостепенных поэта: Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, один за другим, в виду всех, были похищены насильтвенной смертью, в течение одного десятилетия, в поре самого цветущего мужества, в полном развитии сил своих, — и никого это не поразило: даже не содрогнулось ветреное племя.

Но пора, однако же, сказать в заключенье, что такое наша поэзия вообще, зачем она была, к чему служила и что сделала для всей русской земли нашей. Имела ли она влиянье на дух современного ей общества, воспитавши и облагородивши каждого, сообразно его месту. и возвысивши поятия всех вообще, сообразно духу земли и коренным силам народа, которым должно двигаться государство? Или же она была просто верной картиной нашего общества — картиной полной и подробной, ясным зеркалом всего нашего быта? Не была она ни тем, ни другим; ни того, ни другого она не сделала. Она была почти незнаема и неведома нашим обществом, которое в то время воспитывалось другим воспитанием — под влиянием гувернеров французских, немецких, английских, под влиянием выходцев из всех стран, всех возможных сословий, с различными образами мыслей, правил и направлений. Общество наше, — чего не случалось еще доселе ни с одним народом, — воспитывалось в неведении земли своей посреди самой земли своей. Даже язык был позабыт, так что поэзии нашей были даже отрезаны дороги и пути к тому, чтобы коснуться его уха. Если и пробивалась она к обществу, то какими-то незаконными и проселочными дорогами: или счастливо написанная музыка заносила в гостиную какое-нибудь стихотворное произведение; или же плод незрелой молодости поэта, ничтожное и слабое его произведение, но отвечавшее каким-нибудь чужеземно-вольнодумным мыслям, занесенным в голову общества чужеземными воспитателями, бывало причиной, что общество узнавало о существованье среди его поэта. Словом — поэзия наша не поучала общество, не выражала его. Как бы слыша, что ее участъ не для современного общества, неслась она все время свыше общества; если ж и опускалась к нему, то разве затем только, чтобы хлестнуть его бичом сатиры, а не передавать его жизнь в образец потомству. Дело странное: предметом нашей поэзии всё же были мы, но мы в ней не узнаем себя. Когда поэт показывает нам наши лучшие стороны, нам это кажется преувеличенным, и мы почти готовы не верить тому, что говорит нам о нас же Державин. Когда же выставляет писатель наши низкие стороны, мы опять не верим, и нам это кажется карикатурою. Есть, точно, в том и другом как бы какая-то преувеличенная сила, хотя в самом деле преувеличения нет. Причиною первого то, что наши лирические поэты, владея тайной прозревать в зерне, почти неприметном для простых глаз,

будущий великолепный плод его, выставляли очищенней всякое свойство наше. Причиной второго то, что сатирические наши писатели, нося в душе своей, хотя еще и неясно, идеал уже лучшего русского человека, видели ясней всё дурное и низкое русского действительно человека. Сила негодованья благородного давала им силу выставлять ярче ту же вещь, чем как ее может увидеть обыкновенный человек. Вот отчего в последнее время, сильней всех прочих свойств наших, развилась у нас насмешливость. Все смеется у нас одно над другим, и есть уже внутри самой земли нашей что-то смеющееся над всем равно, над стариной и над новизной, и благоговеющее только пред одним нестареющим и вечным. Итак, поэзия наша не выразила нам нигде русского человека вполне, ни в том *идеале*, в каком он должен быть, ни в той *действительности*, в какой он ныне есть. Она собрала только в кучу бесчисленные оттенки разнообразных качеств наших; она совокупила только в одно казнохранилище отдельно взятые стороны нашей разносторонней природы. Поэты наши слышали, что не приспело еще время живописать себя целиком и хвастаться собой, что еще нужно нам самим прежде организоваться, стать собой и сделаться русскими. Еще только размягчена и приготовлена наша природа к тому, чтобы принять ей следуемую форму: еще не успели мы вывести итогов из множества всяких элементов и начал, нанесенных отовсюду в нашу землю, еще во всяком из нас бестолковая встреча чужеземного с своим, а не разумное извлечение того самого вывода, для которого поведена Богом эта встреча. Слыша это, они как бы заботились только о том, чтобы не пропало в этой борьбе лучшее из нашей природы. Это лучшее забирали они отовсюду, где находили, и спешили его выносить на свет, не заботясь о том, где и как его поставить. Так бедный хозяин из обхваченного пламенем дома старается выхватить только то, что есть в нем драгоценнейшего, не заботясь о прочем. Поэзия наша звучала не для современного ей времени, но чтобы, — если настанет наконец то благодатное время, когда мысль о внутреннем построении человека в таком образе, в каком повелел ему состроиться Бог из самородных начал земли своей, сделается наконец у нас общую по всей России и равно желанную всем, — то чтобы увидели мы, что есть действительно в нас лучшего, собственно нашего, и не позабыли бы его вместить в свое построение. Наши собственные сокровища станут нам открываться больше и больше по мере того, как мы станем внимательней вчитываться в наших поэтов. По мере большего и лучшего их узнанья нам откроются и другие их высшие стороны, доселе почти никем не замечаемые: увидим, что они были не одними казначеями сокровищ наших, но отчасти даже и строителями нашими, или действительно имея о том мысль, или ее не имея, но показавши своей высшей от нас природой

которое-нибудь из наших народных качеств, которое в них развилось видней затем именно, чтобы блеснуть пред нами во всей красе своей. Это стремление Державина начертать образ непреклонного, твердого мужа в каком-то библейско-исполинском величии не было стремлением произвольным: начала ему он услышал в нашем народе. Широкие черты человека величавого носятся и слышатся по всей русской земле так сильно, что даже чужеземцы, заглянувшие вовнутрь России, ими поражаются еще прежде, чем успевают узнать нравы и обычай земли нашей. Еще недавно один из них, издавший свои записки<sup>252</sup> с тем именно, чтобы показать Европе с дурной стороны Россию<sup>253</sup>, не мог скрыть изумления своего при виде простых обитателей деревенских изб наших. Как пораженный, останавливался он перед нашими маститыми беловласыми старцами, сидящими у порогов изб своих, которые казались ему величавыми патриархами древних библейских времен. Не один раз сознался он, что нигде в других землях Европы, где ни путешествовал он, не представлялся ему образ человека в таком величии, близком к патриархально-библейскому. И эту мысль повторил он несколько раз на страницах своей растворенной ненавистью к нам книги. Это свойство чуткости, которое в такой высокой степени обнаружилось в Пушкине, есть наше народное свойство. Вспомним только одни названья, которыми народ сам характеризует в себе это свойство, например: название ухо, котороедается такому человеку, в котором все жилки горят и говорят, который миг не постоит без дела: *удача* — всюду спеющий и везде успевающий; и множество есть у нас других названий, определяющих различные оттенки и уклонения этого свойства. Свойство это велико: не полон и суров выйдет русский муж, начертанный Державиным, если не будет в нем чутья откликаться живо на всякий предмет в природе, изумляясь на всяком шагу красоте Божьего творенья. Этот ум, умеющий найти законную середину всякой вещи, который обнаружился в Крылове, есть наш *истинно русский ум*. Только в Крылове отразился тот верный такт русского ума, который, умев выразить истинное существо всякого дела, умеет выразить его так, что никого не оскорбит выраженьем и не восстановит ни против себя, ни против мысли своей даже несходных с ним людей, — одним словом, тот верный такт, который мы потеряли среди нашего светского образования и который сохранился доселе у

<sup>252</sup> Имеется в виду французский путешественник и литератор маркиз Астольф де Кюстин (1790 — 1857), чья книга «La Russie en 1839» («Россия в 1839 г.» Т. 1 — 4) вышла в Париже в 1843 г., выдержала несколько переизданий и была переведена на ряд европейских языков. В России книга была запрещена. До сих пор не имеется полного ее перевода. Сокращенное издание см.: Маркиз де Кюстин. Николаевская Россия. М., 1930 (переиздано: М., 1990).

<sup>253</sup> Маркиз Кюстин. (Примеч. Н. В. Гоголя.)

нашего крестьянина. Крестьянин наш умеет говорить со всеми себя высшими, даже с царем, так свободно, как никто из нас, и ни одним словом не покажет неприличия, тогда как мы часто не умеем поговорить даже с равным себе таким образом, чтобы не оскорбить его каким-нибудь выраженьем. Зато уже в ком из нас действительно образовался этот сосредоточенный, верный, истинно русский тант ума — он у нас пользуется уваженьем всех; ему все позволят сказать то, чего никому другому не позволят; на него никто уж и не сердится. У всех наших писателей бывали враги, даже у самых незлобнейших и прекраснейших душою (стоит вспомнить Карамзина и Жуковского); но у Крылова не было ни одного врага. Эта молодая удаль и отвага рвануться на дело добра, которая так и буйствует в стихах Языкова, есть удаль нашего русского народа, то чудное свойство, ему одному свойственное, которое дает у нас вдруг молодость и старцу и юноше, если только предстанет случай рвануться всем на дело, невозможное ни для какого другого народа, — которое вдруг сливают у нас всю разнородную массу, между собой враждующую, в одно чувство, так что и ссоры, и личные выгоды каждого — все позабыто, и вся Россия — один человек. Все эти свойства, обнаруженные нашими поэтами, есть наши народные свойства, в них только видней развившиеся<sup>254</sup>: поэты берутся не откуда же нибудь из-за моря, но исходят из своего народа. Это — огни, из него же излетевшие, передовые вестники сил его. Сверх того поэты наши сделали добро уже тем, что разнесли благозвучие, дотоле небывалое. Не знаю, в какой другой литературе показали стихотворцы такое бесконечное разнообразие оттенков звука, чему отчасти, разумеется, способствовал сам поэтический язык наш. У каждого свой стих и свой особенный звон. Этот металлический бронзовый стих Державина, которого до сих пор не может еще позабыть наше ухо; этот густой, как смола или струя столетнего токая, стих Пушкина; это сияющий, праздничный стих Языкова, влетающий, как луч, в душу, весь сотканный из света; этот облитый ароматами полудня стих Батюшкова, сладостный, как мед из

---

<sup>254</sup> В соответствии с этими размышлениями Гоголь писал 16 августа 1847 г. С. Т. Аксакову, что «нужно нам узнать истинные начала нашей природы, которые покуда мы рассматриваем только в мужике», а год спустя, 29 октября 1848 г., напоминал А. М. Виельгорской: «...не позабудьте, что вы мне обещали всякий раз, когда встретите Даля, заставлять его рассказывать о быте крестьян в разных губерниях России. Между крестьянами особенно слышится оригинальность нашего русского ума. Когда случится вам видеть Плетнева, не забывайте его расспрашивать о всех русских литераторах, с которыми он был в сношениях. Эти люди были более русские, нежели люди других сословий, а потому вы необходимо узнаете многое такое, что объяснит вам еще удовлетворительнее русского человека».

горного ущелья; этот легкий воздушный стих Жуковского, порхающий, как неясный звук эоловой арфы; этот тяжелый, как бы влачащийся по земле стих Вяземского, проникнутый подчас едкой, щемящей русской грустью, — все они, точно разнозвонные колокола или бесчисленные клавиши одного великолепного органа, разнесли благозвучие по русской земле. Благозвучие не так пустое дело, как думают те, которые незнакомы с поэзией. Под благозвучие, как под колыбельную, прекрасную песню матери, убаюкивается народ-младенец еще прежде, чем может входить в значение слов самой песни, и нечувствительно сами собою стихают и умираются его дикие страсти. Оно так же бывает нужно, как во храме куренье кадильное, которое уже невидимо настрояет душу к слышанью чего-то лучшего еще прежде, чем началось самое служение. Поэзия наша пробовала все аккорды, воспитывалась литературами всех народов, прислушивалась к лирам всех поэтов, добывала какой-то всемирный язык затем, чтобы приготовить всех к служению более значительному. Нельзя уже теперь заговорить о тех пустяках, о которых еще продолжает ветreno лепетать молодое, не давшее себе отчета, нынешнее поколенье поэтов; нельзя служить и самому искусству, — как ни прекрасно это служение, — не уразумев его цели высшей и не определив себе, зачем дано нам искусство; нельзя повторять Пушкина. Нет, не Пушкин и никто другой должен стать теперь в образец нам: другие уже времена пришли. Теперь уже ничем не возьмешь — ни своеобразьем ума своего, ни партийном личностью характера, ни гордостью движений своих, — христианским, высшим воспитаньем должен воспитаться теперь поэт. Другие дела наступают для поэзии. Как во время младенчества народов служила она к тому, чтобы вызывать на битву народы, возбуждая в них браннолюбивый дух, так придется ей теперь вызывать на другую, высшую битву человека — на битву уже не за временную нашу свободу, права и привилегии наши, но за нашу душу, которую Сам небесный Творец наш считает перлом Своих созданий. Многое предстоит теперь для поэзии — возвращать в общество того, что есть истинно прекрасного и что изгнано из него нынешней бессмысленной жизнью. Нет, не напомнят они уже никого из наших прежних поэтов. Самая речь их будет другая; она будет ближе и родственней нашей русской душе. Еще в ней слышней выступят наши народные начала. Еще не бьет всей силой кверху тот самородный ключ нашей поэзии, который уже кипел и бил в груди нашей природы тогда, как и самое слово поэзия не было ни на чьих устах. Еще никто не черпал из самой глубины тех трех источников, о которых упомянуто в начале этой статьи. Еще доселе загадка — этот необъяснимый разгул, который слышится в наших песнях, несется куды-то мимо жизни и самой песни, как бы сгораемый желаньем лучшей отчизны, по которой тоскует со дnia

созданья своего человек. Еще ни в ком не отразилась вполне та многосторонняя поэтическая полнота ума нашего, которая заключена в наших многоочитых пословицах, умевших сделать такие великие выводы из бедного, ничтожного своего времени, где в таких тесных пределах и в такой мутной луже изворачивался русский человек. и которые говорят только о том, какие огромные выводы может сделать нынешний русский человек из нынешнего широкого времени, в которое нанесены итоги всех веков и, как неразобранный товар, сброшены в одну беспорядочную кучу. Еще тайна для многих этот необыкновенный лиризм — рожденье верховной трезвости ума, — который исходит от наших церковных песней и канонов<sup>255</sup> и покуда так же безотчетно возносит дух поэта, как безотчетно подмывают его сердце родные звуки нашей песни. Наконец, сам необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки,

---

<sup>255</sup> Тайна этого лиризма была открыта Гоголю и известна не по слуху. В его бумагах сохранилась целая тетрадь переписанных им собственноручно зимой 1843/44 г. из служебных Миней церковных песней и канонов — около ста листов (ныне находится в Рукописном отделе Пушкинского Дома). Из этой тетради следует, что Гоголь прочел Минеи за полгода (с сентября по февраль) и сделал выписки на каждый день. Приведем одну из них — гоголевские извлечения из песнопений праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня: «Приидите, Боголюбивии вси. Крест Честный возносимый видяще, возвеличим купно, и славу дадим Единому Избавителю и Богу, взывающе: распnyйся на древе крестном, не прези молящихся нас.

Днесъ яко воистинну святовещанный глагол Давидов конецъ прият: се бо яве пречистыхъ ногъ Твоихъ покланяемся подножию, и на сень крилу Твою надеющиеся, Всесцедрый, вопиемъ Ти: да знаменается на насъ светъ Лица Твоего. Православныхъ людей Твоихъ рогъ вознеси, Честнаго Креста Твоего воздвижениемъ, Христе, Многомилостиво.

Тебе приснопетое древо, на немже простреся Христос, Едем хранящее обращающееся оружие, Кресте устыдеся: страшный же херувим уступи, на тебе пригвожденному Христу, подающему мир душам нашим.

Подземныхъ силы противный Креста страшатся, начертаема знамения на воздухе, по немуже ходят небесныхъ и земнородныхъ роди, колена преклоняюще Христу, подающему мир душам нашим.

Иже до третияго небесе восхищен быти в рай, и глаголы слышав неизреченный и Божественный, ихже не леть языки человеческими глаголати. Что Галатом пишет, яко рачитель писаний прочтосте и познаете: мне, глаголет, хвалитися да не будет, токмо во едином Кресте Господни, на немже страдав уби страсти. Того убо и мы известно держим, Крест Господень, хвалу вси: есть бо нам спасительное сие древо, оружие мира, непобедимая победа.

О преславнаго чудесе, широта Креста и долгота небеси равна есть: яко Божественною благодатию освящает всяческая. О сем языцы варварстии побеждаются. О сем скрипты царей утверждаются. О Божественный лествицы, еюже восходим на небеса, возносяще в песнях Христа Господа!»

все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой, как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая, с одной стороны, высокие слова из языка церковно-бблейского, а с другой стороны — выбирая на выбор меткие названья из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность, таким образом, в одной и той же речи восходить до высоты, не доступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощущительной осознанию непонятливейшего человека, — язык, который сам по себе уже поэт и который недаром был на время позабыт нашим лучшим обществом: нужно было, чтобы выболтали мы на чужеземных наречьях всю дрянь, какая ни пристала к нам вместе с чужеземным образованьем, чтобы все те неясные звуки, неточные названья вещей — дети мыслей невыяснившихся и сбивчивых, которые потемняют языки, — не посмели бы помрачить младенческой ясности нашего языка и возвратились бы мы к нему уже готовые мыслить и жить своим умом, а не чужеземным. Все это еще орудия, еще материалы, еще глыбы, еще в руде дорогие металлы, из которых выкуется иная, сильнейшая речь. Пройдет эта речь уже насквозь всю душу и не упадет на бесплодную землю. Скорбью ангела загорится наша позня и, ударивши по всем струнам, какие ни есть в русском человеке, внесет в самые огрубелые души святыню того, чего никакие силы и орудия не могут утвердить в человеке; вызовет нам нашу Россию — нашу русскую Россию: не ту, которую показывают нам грубо какие-нибудь квасные патриоты, и не ту, которую вызывают к нам из-за моря очужеземившиеся русские, но ту, которую извлечет она из нас же и покажет таким образом, что все до единого, каких бы ни были они различных мыслей, образов воспитанья и мнений, скажут в один голос: «Это наша Россия; нам в ней приютно и тепло, и мы теперь действительно у себя дома, под своей родной крышей, а не на чужбине».

## XXXII

### СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ<sup>256</sup>

В русском человеке есть особенное участие к празднику Светлого Воскресенья. Он это чувствует живей, если ему случится быть в чужой

---

<sup>256</sup> Глава написана специально для книги.

земле. Видя, как повсюду в других странах день этот почти не отличен от других дней, — те же всегдашние занятия, та же вседневная жизнь, то же будничное выраженье на лицах, — он чувствует грусть и обращается невольно к России. Ему кажется, что там как-то лучше празднуется этот день, и сам человек радостней и лучше, нежели в другие дни, и самая жизнь какая-то другая, а не вседневная. Ему вдруг представляется — эта торжественная полночь, этот повсеместный колокольный звон, который как всю землю сливает в один гул, это восклицанье «Христос воскрес!», которое заменяет в этот день все другие приветствия, это поцелуй, который только раздается у нас, — и он готов почти воскликнуть: «Только в одной России празднуется этот день так, как ему следует праздноваться!» Разумеется, все это мечта; она исчезнет вдруг, как только он перенесется на самом деле в Россию или даже только припомнит, что день этот есть день какой-то полусонной беготни и суеты, пустых визитов, умышленных незаставаний друг друга, наместо радостных встреч, — если ж и встреч, то основанных на самых корыстных расчетах; что честолюбие кипит у нас в этот день еще больше, чем во все другие, и говорят не о Воскресенье Христа, но о том, кому какая награда выйдет и кто что получит; что даже и сам народ, о котором идет слава, будто он больше всех радуется, уже пьяный попадается на улицах, едва только успела кончиться торжественная обедня, и не успела еще заря осветить земли. Вздохнет бедный русский человек, если только все это припомнит себе и увидит, что это разве только карикатура и посмеянье над праздником, а самого праздника нет. Для проформы только какой-нибудь начальник чмокнет в щеку инвалида, желая показать подчиненным чиновникам, как нужно любить своего брата, да какой-нибудь отсталый патриот, в досаде на молодежь, которая бранит старинные русские наши обычаи, утверждая, что у нас ничего нет, прокричит гневно: «У нас все есть — и семейная жизнь, и семейные добродетели, и обычаи у нас соблюдаются свято; и долг свой исполняем мы так, как нигде в Европе; и народ мы на удивление всем».

Нет, не в видимых знаках дело, не в патриотических возгласах и не в поцелуе, данном инвалиду, но в том, чтобы в самом деле взглянуть в этот день на человека, как на лучшую свою драгоценность, — так обнять и прижать его к себе, как наироднейшего своего брата, так ему обрадоваться, как бы своему наилучшему другу, с которым несколько лет не видались и который вдруг неожиданно к нам приехал. Еще сильней! еще больше! потому что узы, нас с ним связывающие, сильней земного кровного нашего родства, и породнились мы с ним по нашему прекрасному небесному Отцу, в несколько раз нам ближайшему нашего земного отца, и день этот мы — в своей истинной семье, у Него Самого в дому. День этот есть тот святой день, в который празднует святое,

небесное свое братство все человечество до единого, не исключив ил него ни одного человека.

Как бы этот день пришелся, казалось, кстати нашему девятнадцатому веку, когда мысли о счаствии человечества сделались почти любимыми мыслями всех; когда обнять все человечество, как братьев, сделалось любимой мечтой молодого человека; когда многие только и грезят о том, как преобразовать все человечество, как возвысить внутреннее достоинство человека; когда почти половина уже признала торжественно, что одно только христианство в силах это произвесть; когда стали утверждать, что следует ближе ввести Христов закон как в семейственный, так и в государственный быт; когда стали даже поговаривать о том, чтобы все было общее — и дома и земли; когда подвиги сердоболия и помощи несчастным стали разговором даже модных гостиных; когда, наконец, стало тесно от всяких человеколюбивых заведений, странноприимных домов и приютов. Как бы, казалось, девятнадцатый век должен был радостно воспраздновать этот день, который так по сердцу всем великодушным и человеколюбивым его движеньям! Но на этом-то самом дне, как на пробном камне, видишь, как бледны все его христианские стремления и как все они в одних только мечтах и мыслях, а не в деле. И если, в самом деле, придется ему обнять в этот день своего брата, как брата — он его не обнимет. Все человечество готов он обнять, как брата, а брата не обнимет. Отделись от этого человечества, которому он готовит такое великодушное объятие, один человек, его оскорбивший, которому повелевает Христос в ту же минуту простить, — он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, несогласный с ним в каких-нибудь ничтожных человеческих мнениях, — он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, страждущий видней других тяжелыми язвами своих душевных недостатков, больше всех других требующий состраданья к себе, — он оттолкнет его и не обнимет. И достанется его объятие только тем, которые ничем еще не оскорбили его, с которыми не имел он случая столкнуться, которых он никогда не знал и даже не видел в глаза. Вот какого рода объятье всему человечеству дает человек нынешнего века, и часто именно тот самый, который думает о себе, что он истинный человеколюбец и совершенный христианин! Христианин!<sup>257</sup> Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, наместо того, чтобы призвать Его к себе в домы, под родную крышу свою, и думают, что они христиане!

Нет, не воспраздновать нынешнему веку Светлого праздника так,

<sup>257</sup> Слова Христианин до они христиане! в первом издании были исключены цензурой.

как ему следует воспраздноваться. Есть страшное препятствие, есть непреоборимое препятствие, имя ему — *гордость*. Она была известна и в прежние веки, но то была гордость более ребяческая, гордость своими силами физическими, гордость богатствами своими, гордость родом и званием, но не доходила она до того страшного духовного развития, в каком предстала теперь. Теперь явилась она в двух видах. Первый вид ее — гордость чистотой своей.

Обрадовавшись тому, что стало во многом лучше своих предков, человечество нынешнего века влюбилось в чистоту и красоту свою. Никто не стыдился хвастаться публично душевной красотой своей и считать себя лучшим других. Стоит только приглядеться, каким рыцарем благородства выступает из нас теперь всяк, как беспощадно и резко судит о другом. Стоит только прислушаться к тем оправданьям, какими он оправдывает себя в том, что не обнял своего брата даже в день Светлого Воскресенья. Без стыда и не дрогнув душой, говорит он: «Я не могу обнять этого человека: он мерзок, он подл душой, он запятнал себя бесчестнейшим поступком; я не пущу этого человека даже в переднюю свою; я даже не хочу дышать одним воздухом с ним; я сделаю крюк для того, чтобы обехать его и не встречаться с ним. Я не могу жить с подлыми и презренными людьми — неужели мне обнять такого человека как брата?» Увы! позабыл бедный человек девятнадцатого века, что в этот день нет ни подлых, ни презренных людей, но все люди — братья той же семьи, и всякому человеку имя брат, а не какое-либо другое. Все разом и вдруг им позабыто: позабыто, что, может быть, затем именно окружили его презренные и подлые люди, чтобы, взглянувши на них, взглянул он на себя и поискал бы в себе того же самого, чего так испугался в других. Позабыто, что он сам может на всяком шагу, даже не приметив того сам, сделать то же подлое дело, хотя в другом только виде, — в виде, не пораженном публичным позором, но которое, однако же, выражаясь пословицей, есть тот же блин, только на другом блюде. Все позабыто. Позабыто им то, что, может, оттого развелось так много подлых и презренных людей, что сурово и бесчеловечно их оттолкнули лучшие и прекраснейшие люди и тем заставили пуще 'ожесточиться. Будто бы легко выносить к себе презренье! Бог весть, может быть, иной совсем был '*не* рожден бесчестным человеком; может быть, бедная душа его, бессильная сражаться с соблазнами, просила и молила о помощи и готова была облобызать руки и ноги того, кто, подвигнутый жалостью душевной, поддержал бы ее на краю пропасти. Может быть, одной капли любви к нему было достаточно для того, чтобы возвратить его на прямой путь. Будто бы дорогой любви было трудно достигнуть к его сердцу! Будто уже до того окаменела в нем природа, что никакое чувство не могло в нем пошевелиться, когда и разбойник благодарен за любовь,

когда и зверь помнит ласковшую его руку! Но все позабыто человеком девятнадцатого века, и отталкивает он от себя брата, как богач отталкивает покрытого гноем нищего от великолепного крыльца своего. Ему нет дела до страданий его; ему бы только не видать гноя ран его. Он даже не хочет услышать исповеди его, боясь, чтобы не поразилось обонянье его смрадным дыханьем уст несчастного, гордый благоуханьем чистоты своей. Такому ли человеку воспраздновать праздник небесной Любви?

Есть другой вид гордости, еще сильнейший первого, — гордость ума. Никогда еще не возрастала она до такой силы, как в девятнадцатом веке. Она слышится в самой боязни каждого прослыть дураком. Все вынесет человек века: вынесет название плута, подлеца; какое хочешь дай ему название, он снесет его — и только не снесет название дурака. Над всем он позволит посмеяться — и только не позволит посмеяться над умом своим. Ум его для него — святыня. Из-за малейшей насмешки над умом своим он готов сию же минуту поставить своего брата на благородное расстояние и посадить, не дрогнувши, ему пулю в лоб. Ничему и ни во что он не верит; только верит в один ум свой. Чего не видит его ум, того для него нет. Он позабыл даже, что ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы в человеке, и стоит без движения и даже идет назад, когда не возвышаются нравственные силы. Он позабыл и то, что нет всех сторон ума ни в одном человеке; что другой человек может видеть именно ту сторону вещи, которую он не может видеть, и, стало быть, знать того, чего он не может знать. Не верит он этому, и все, чего не видит он сам, то для него ложь. И тень христианского смиренья не может к нему прикоснуться из-за гордыни ума. Во всем он усомнится: в сердце человека, которого несколько лет знал, в правде, в Боге усомнится, но не усомнится в своем уме. Уже ссоры и браны начались не за какие-нибудь существенные права, не из-за личных ненавистей — нет, не чувственные страсти, но страсти ума уже начались: уже враждуют лично из несходства мнений, из-за противоречий в мире мысленном. Уже образовались целые партии, друг друга не видевшие, никаких личных сношений еще не имевшие — и уже друг друга ненавидящие. Поразительно: в то время, когда уже было начали думать люди, что образованьем выгнали злобу из мира, злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир, — дорогой ума, и на крыльях журнальных листов, как всепогубляющая саранча, нападает на сердце людей повсюду. Уже и самого ума почти не слышно. Уже и умные люди начинают говорить ложь противу собственного убеждения, из-за того только, чтобы не уступить противной партии, из-за того только, что гордость не позволяет сознаться перед всеми в ошибке — уже одна чистая злоба воцарилась наместо ума.

И человеку ли такого века уметь полюбить и почувствовать христианскую любовь к человеку? Ему ли исполниться того светлого простодушия и ангельского младенчества, которое собирает всех людей в одну семью? Ему ли услышать благоухание небесного братства нашего? Ему ли воспраздновать этот день? Исчезнуло даже и то наружно добродушное выраженье прежних простых веков, которое давало вид, как будто бы человек был ближе к человеку. Гордый ум девятнадцатого века истребил его. Диавол выступил уже без маски в мир. Дух гордости перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей, он явился в собственном своем виде. Почуя, что признают его господство, он перестал уже и чиниться с людьми. С дерзким бесстыдством смеется в глаза им же, его признающим; глупейшие законы дает миру, какие доселе еще никогда не давались, — и мир это видит и не смеет ослушаться. Что значит эта мода, ничтожная, незначащая, которую допустил вначале человек как мелочь, как невинное дело, и которая теперь, как полная хозяйка, уже стала распоряжаться в домах наших, выгоняя все, что есть главнейшего и лучшего в человеке? Никто не боится преступать несколько раз в день первейшие и священнейшие законы Христа и между тем боится не исполнить ее малейшего приказанья, дрожа перед нею, как робкий мальчишка. Что значит, что даже и те, которые сами над нею смеются, пляшут, как легкие ветренники, под ее дудку? Что значит эти так называемые бесчисленные приличия, которые стали сильней всяких коренных постановлений? Что значит эти странные власти, образовавшиеся мимо законных, — посторонние, побочные влияния? Что значит, что уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода, а Божий помазанники остались в стороне?<sup>258</sup> Люди темные, никому не известные, не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мненьями и мыслями умных людей, и газетный листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствительным законодателем его не уважающего человека. Что значит все незаконные эти законы, которые видимо, в виду всех, чертят исходящая снизу нечистая сила, — и мир это видит весь и, как очарованный, не смеет шевельнуться? Что за страшная

---

<sup>258</sup> В повести Гоголя «Рим» (1842) эта мысль была выражена следующим образом: «...показалась ему теперь низкою роскошь XIX столетия, мелкая, ничтожная роскошь, годная только для украшенья магазинов, выведшая на поле деятельности золотильщиков, мебельщиков, обойщиков, столяров и кучи мастеровых, и лишившая мир Рафаэлей, Тицианов, Микель-Анжелов, низведшая к ремеслу искусство». Основанием для соотнесения художника с «Божиим помазанником» явилось у Гоголя представление об идеальном облике и высшем назначении монарха, — о его, подобном искусству художника, призвании быть вдохновляющим людей «образом Того на земле, Который Сам есть любовь» (см. наст. изд., с. 84).

насмешка над человечеством! И к чему при таком ходе вещей сохранять еще наружные святые обычай Церкви, небесный Хозяин которой не имеет над ними власти? Или это еще новая насмешка духа тьмы? Зачем этот утративший значение праздник? Зачем он вновь приходит глупше и глупше скликать в одну семью разошедшихся людей и, грустно окинувши всех, уходит как незнакомый и чужой всем? Всем ли точно он незнаком и чужд? Но зачем же еще уцелели кое-где люди, которым кажется, как бы они светлеют в этот день и празднуют свое младенчество, — то младенчество, от которого небесное лобзанье, как бы лобзанье вечной весны, изливается на душу, то прекрасное младенчество, которое утратил гордый нынешний человек? Зачем еще не позабыл человек навеки это младенчество и, как бы виденное в каком-то отдаленном сне, оно еще шевелит нашу душу? Зачем все это и к чему это? Будто не известно зачем? Будто не видно к чему? Затем, чтобы хотя некоторым, еще слышащим весеннее дыхание этого праздника, сделалось бы вдруг так грустно, так грустно, как грустно ангелу на Небе. И, завопив раздирающим сердце воплем, упали бы они к ногам своих братьев, умоляя хотя бы один этот день вырвать из ряда других дней, один бы день только провести не в обычаях девятнадцатого века, но в обычаях Вечного Века, в один бы день только обнять и обхватить человека, как виноватый друг обнимает великодушного, все ему простившего друга, хотя бы только затем, чтобы завтра же оттолкнуть его от себя и сказать ему, что он нам чужой и незнакомый. Хотя бы только пожелать так, хотя бы только насильно заставить себя это сделать, ухватиться бы за этот день, как утопающий хватается за доску! Бог весть, может быть, за одно это желанье уже готова сброситься с небес нам лестница<sup>259</sup> и

---

<sup>259</sup> Образ лестницы (в старославянском — «лествица») — один из наиболее часто встречающихся у Гоголя. Он восходит к Библии — видению патриарха Иакова: «И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божий восходят и нисходят по ней» (Бытие, гл. 28, ст. 12). Этот фрагмент входит в паремии, читаемые в Церкви на Богоородичные праздники и встречается во многих акафистах, церковных песнях и канонах. В православной святоотеческой литературе «лествица» — коренной образ духовного возрастания. Одной из любимых книг Гоголя была «Лествица» св. Иоанна Синайского, подвижника VI в. В Харьковском историческом музее до войны хранился гоголевский сборник выписок «Из книги: Лествица, возводящая на небо» (автограф около ста страниц в восьмую долю листа). Местонахождение его в настоящее время не известно (см. также коммент. к с. 433). Доктор А. Т. Тарасенков, наблюдавший Гоголя во время его предсмертной болезни, вспоминает: «Он указал мне на сочинение Иоанна Лествичника, в котором изображены ступени христианского совершенства, и советовал прочесть его». По словам Тарасенкова, сочинение св. Иоанна Синайского нравилось Гоголю «своими строгими правилами», и он «старался достигать высших ступеней, в нем

протянуться рука, помогающая взлететь по ней.

Но и одного дня не хочет провести так, человек девятнадцатого века! И непонятной тоской уже загорелася земля; черствей и черствей становится жизнь: все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире!

Отчего же одному русскому еще кажется, что праздник этот празднуется, как следует, и празднуется так в одной его земле? Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского? Что значит в самом деле, что самый праздник исчез, а видимые признаки его так ясно носятся по лицу земли нашей: раздаются слова: «Христос воскрес!» — и поцелуй, и всякий раз так же торжественно выступает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гулят и гудут по всей земле, точно как бы будят нас? Где носятся так очевидно призраки, там недаром носятся; где будят, там разбудят. Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе. Померкают временно, умирают в пустых и выветрившихся толпах, но воскресают с новой силой в избранных, затем, чтобы в сильнейшем свете от них разлиться по всему миру. Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено Самим Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, разозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее — и праздник Светлого Воскресенья воспразднуется, как следует, прежде у нас, чем у других народов! На чем же основываясь, на каких данных, заключенных в сердцах наших, опираясь, можем сказать это? Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. «Хуже мы всех прочих» — вот что мы должны всегда говорить о себе. Но есть в нашей природе то, что нам пророчит это. Уже самое неустройство наше нам это пророчит. Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя

---

описанных» (Тарасенков А. Т. Последние дни жизни Н. В. Гоголя. С. 13, 31). Действительно, 26 июня н. ст. 1842 г. Гоголь писал В. А. Жуковскому: «...живет в душе моей глубокая, неотразимая вера, что небесная сила поможет взойти мне на ту лестницу, которая предстоит мне, хотя я стою еще на низайших и первых ее ступенях». А в марте 1843 г. — Н. Н. Шереметевой: «Долгое воспитанье еще предстоит мне, великая, трудная лестница». Тот же Тарасенков рассказывает, что Гоголь, умирая, сказал громко: «Лестницу! поскорее, давай лестницу!..» (Подобные же слова о лестнице сказал перед смертью св. Тихон Задонский, сочинения которого Гоголь перечитывал неоднократно и тоже делал из них выписки).

нам неприличное и внести в себя все, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней. Что есть многое в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа, — доказательство тому уже то, что без меча пришел к нам Христос, и приготовленная земля сердец наших призывала сама собой Его слово, что есть уже начала братства Христова в самой нашей славянской природе, и побратанье людей было у нас родней даже и кровного братства, что еще нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые поставляют препятствие непреоборимое к соединению людей и братской любви между ними, что есть, наконец, у нас отвага, никому не сродная, и если предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможное ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросить с себя вдруг и разом все недостатки наши, все позорящее высокую природу человека, то с болью собственного тела, не пожалев самих себя, как в двенадцатом году, не пожалев имущества, жгли дома свои и земные достатки, так рванется у нас все сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды — все бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия — один человек. Вот на чем основываясь, можно сказать, что праздник Воскресенья Христова воспразднуется прежде у нас, чем у других. И твердо говорит мне это душа моя; и это не мысль, выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются. Внущенiem Божиим порождаются они разом в сердцах многих людей, друг друга не видавших, живущих на разных концах земли, и в одно время, как бы из одних уст, изглашаются. Знаю я твердо, что не один человек в России, хотя я его и не знаю, твердо верит тому и говорит: «У нас прежде, чем во всякой другой земле, воспразднуется Светлое Воскресенье Христово!»

## КОММЕНТАРИЙ

В настоящее издание включены религиозно-нравственные произведения Гоголя последнего десятилетия его жизни. До революции делались попытки объединения некоторых из них в специальном томе (Соч. Н. В. Гоголя. 10-е изд./Под ред. Н. С. Тихонравова. Т. 4. М., 1889; Соч. Н. В. Гоголя /Под ред. В. В. Каллаша. Т. 8. Мистико-моралистические сочинения. Спб., 1909). В советский период, однако, даже в Полное академическое собрание сочинений Гоголя (Л., 1937 — 1952) не включены ни «Размышления о Божественной Литургии», ни набросок «Труд», ни «Правило жития в мире» (первоначальная редакция), ни другие известные к тому времени тексты. Таким образом, в

данном сборнике впервые предпринята попытка собрать рассеянные по различным изданиям и публикациям произведения Гоголя духовного характера: просветительскую и автобиографическую прозу, трактаты, молитвы, отдельные записи. В комментариях широко использованы материалы архивов Москвы, Санкт-Петербурга и Киева, в частности составленный Гоголем сборник выписок из творений святых отцов и учителей Церкви. В необходимых случаях тексты сверены с автографами.

Отсутствующие в рукописи и восстановленные по смыслу слова, а также принадлежащие составителям и редакторам названия произведений и даты обозначены угловыми скобками.

## ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ

В первом издании книги «Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя» (СПб., 1847) цензурой были исключены следующие письма: *XIX. Нужно любить Россию; XX. Нужно проездиться по России; XXI. Что такое губернаторша; XXVI. Страхи и ужасы России; XXVIII. Занимающему важное место.* Гоголь решил представить непропущенные главы самому государю и просил П. А. Плетнева устроить это через А. О. Смирнову и графа М. Ю. Виельгорского; составлено было даже письмо к царю, но Плетнев отговорил его от этого шага. Гоголь надеялся быстро выпустить книгу вторым изданием, в полном виде, однако этим надеждам не суждено было сбыться.

«Переписка» вызвала небывалый общественный резонанс. Уже февральский номер петербургского журнала «Финский вестник» сообщил читателям: «Ни одна книга, в последнее время, не возбуждала такого шумного движения в литературе и обществе, ни одна не послужила поводом к столь многочисленным и разнообразным толкам...» (Финский вестник. 1847. № 2. С. 33). А по свидетельству С. П. Шевырева, в течение двух месяцев по выходу книги «она составляла любимый, живой предмет всеобщих разговоров. В Москве не было вечерней беседы, разумеется, в тех кругах, куда проникают мысль и литература, где бы не толковали об ней, не раздавались бы жаркие споры, не читались бы из нее отрывки» (Москвитянин. 1848. № 1. С. 4).

Книгу резко осудили А. И. Герцен, В. Г. Белинский и люди западнического направления. П. Я. Чаадаев, как всегда, имел своеобразное мнение. «При некоторых страницах слабых, а иных и даже грешных, — писал он князю П. А. Вяземскому, — в книге его (Гоголя. — В. В., И. В.) находятся страницы красоты изумительной, полные правды беспредельной, страницы такие, что, читая их, радуешься и гордишься,

что говоришь на том языке, на котором такие вещи говорятся» (Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М., 1989. С. 314).

В славянофильских кругах книга Гоголя была прията по-разному. А. С. Хомяков защищал ее, а дружная семья Аксаковых разделилась в мнениях. Сергей Тимофеевич выговаривал Гоголю: «Вы грубо и жалко ошиблись. Вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить Небу и человечеству, — оскорбляете и Бога и человека». Его сын Константин видел в книге ложь: «Ложь не в смысле обмана и не в смысле ошибки — нет, а в смысле неискренности прежде всего. Это внутренняя неправда человека с самим собою...» Иван Аксаков, напротив, считал, что «Гоголь прав и является в этой книге как идеал художника-христианина».

На «Выбранные места...» откликнулись почти все журналы и газеты. В мартовских номерах «Московского городского листка» была напечатана статья Аполлона Григорьева «Гоголь и его последняя книга» — первая по времени попытка истолкования «Переписки». Разбирая «стренную», по его слову, книгу Гоголя, критик утверждал, что она есть болезненный момент в духовном развитии автора, но самую болезненность считал характерной для эпохи, и величайшей заслугой Гоголя находил мысль о необходимости для всякой личности «собрания себя всего в самого себя». Гоголь, однако, не нашел в выступлении Григорьева ничего полезного. «Статья Григорьева довольно молодая, — писал он С. П. Шевыреву, — говорит больше в пользу критика, чем моей книги».

В конце апреля 1847 г. в «Санкт-Петербургских ведомостях» появилась большая статья князя П. А. Вяземского «Языков — Гоголь», посвященная двум событиям в литературном мире — смерти Н. М. Языкова и выходу «Выбранных мест...». «Как ни оценивай этой книги, — писал князь Вяземский, — с какой точки зрения ни смотри на нее, а все придешь к тому заключению, что книга в высшей степени замечательная. Она событие литературное и психологическое» (Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 173). В статье содержалось немало резких высказываний о В. Г. Белинском (хотя имя его и не называлось), что не понравилось Гоголю. Благодаря князя за статью, он выразил неудовольствие резкостью его суждений о «нападателях» на книгу. «Ожидая от вас статьи, — писал Гоголь, — в которой бы и я и книга остались в стороне, а выступил бы на сцену предмет (книги. — В. В., И. В.)».

Подробному и язвительному разбору «Выбранные места...» подверг Н. Ф. Павлов в «Московских ведомостях» за март — апрель 1847 г. Примерно тогда же появились статьи Л. В. Брандта, Е. Ф. Розена, Ф. В.

Булгарина, О. И. Сенковского и других. Это была мелочная, придирчивая критика. Независимо от того, хвалили они Гоголя или ругали, их писания носили поверхностный характер.

Одним из первых на книгу отзывался В. Г. Белинский. В февральском номере «Современника» (вышел 7 февраля) появилась его рецензия, которая заканчивалась словами: «Горе человеку, которого сама природа создала художником, горе ему, если, недовольный своею дорогою, он ринется в чуждый ему путь! На этом новом пути ожидает его неминуемое падение, после которого не всегда бывает возможно возвращение на прежнюю дорогу...» (Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. М., 1982. С. 238 — 239). Эта рецензия подверглась сокращению как со стороны редакции журнала, так и со стороны цензуры. В том же феврале 1847 г. Белинский писал В. П. Боткину: «Статья о гнусной книге Гоголя могла бы выйти замечательно хорошою, если бы я в ней мог, зажмурив глаза, отиться моему негодованию и бешенству...» Этим чувствам критик вполне предался в «Письме к Гоголю» из Зальцбурна от 15 июля н. ст. 1847 г.

В результате всех критических выступлений создалось в целом крайне неблагоприятное к «Выбранным местам...» общественное мнение. Гоголь вынужден был отказаться от второго издания книги. Отдельные главы ее он намеревался включить в пятый том задуманного им в конце жизни нового собрания сочинений; сюда же должны были войти и статьи из «Арабесок». Однако это не означало отказа от книги в ее настоящем виде. Г. П. Данилевский, посетивший вместе с О. М. Бодянским Гоголя за полгода до смерти, вспоминает, что на вопрос Бодянского о «Переписке» Гоголь ответил: «Она войдет в шестой том; там будут помещены письма к близким и родным, изданные и неизданные... Но это уже, разумеется, явится... после моей смерти» (Гоголь в воспоминаниях современников. Без м. изд. 1952. С. 439).

Впервые полный текст «Выбранных мест...» был издан Ф. В. Чижовым в кн.: Полное собрание сочинений Н. В. Гоголя. Второе издание его наследников, пополненное по рукописи автора. Т. 3. М., 1867.

Текст печатается по изданию: Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями. М.: Сов. Россия, 1990.

Расположение писем имеет продуманную композицию, воплощая в себе отчетливую христианскую идею и следуя схеме Великого Поста. В «Предисловии» автор объявляет о своем намерении отправиться Великим Постом во Святую Землю и испрашивает у всех прощения, подобно тому как в преддверии Поста, в Прощеное воскресенье, все христиане просят прощения друг у друга. Открывается книга «Завещанием», — чтобы

напомнить каждому о важнейшей христианской добродетели — памяти смертной. Центральное место занимает семнадцатая глава, которая называется «Просвещение».

«Просветить, — пишет Гоголь, — не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь». Без духовного просвещения, по Гоголю, не может быть никакого света: «Свет Христов освещает всех!»

Венцом книги является «Светлое Воскресенье», напоминающее каждому о Вечной Жизни. Таким образом, в «Выбранных местах...» читатель проходит путь христианской души во время Великого Поста (традиционно отождествляемого со странствием) — от смерти к Воскресению, через скорби (глава «Страхи и ужасы России») — к радости.

**Николай Васильевич Гоголь**

**ДУХОВНАЯ ПРОЗА**

**Редактор Э. С. Смирнова**

Художественный редактор Л. Е. Безрученков Технический редактор Е. В.

Кузьмина Корректоры А. З. Лазуткина, Л. В. Дорофеева, С. В.

Мироновская, Л. М. Логунова

И Б № 6383

Сдано в набор 04.03.92. Подп. в печать 26.08.92. Формат 70Х 108/32. Бумага офс. № 1 (на вкл. офс.). Гарнитура обыкновенная новая. Печать офсетная. Усл. печ л. 25,98 (вл. ч. вкл. 1,48). Усл. кр.-отт. 26,33. Уч.-изд. л. 28,04 (в т. ч. вкл. 1,36). Тираж 50000 экз. Заказ 87. С — 78. Изд инд. ЛХ-429

Издательство «Русская книга» Министерства печати и информации России. 123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38.

Книжная фабрика № 1 Министерства печати и информации России 144003, г. Электросталь Московской обл., ул. Тевоянца, 25.

**Гоголь Н. В.**

Г58 Духовная проза/Сост. и comment. В. А. Воропаева, И. А. Виноградова; Вступ. ст. В. А. Воропаева. — М.: Русская книга, 1992. — 560 с., 1 л. портр., 16 л. ил.

Книгу составляют наиболее значительные религиозно нравственные произведения писателя, в большинстве своем неизвестные современному читателю, при обретающие сегодня особо актуальное звучание в связи с остро вставшей проблемой духовного возрождения народа и обустройства России

Издание иллюстрировано рисунками Ф Г Солнцева, портретами корреспондентов Гоголя, к которым он обращается в «Выбранных местах из переписки с друзьями», и лицами ближайшего окружения писателя в последние годы его жизни

84Р1

4702010101-088

50-1992

M-105(03)92

18BN 5-268-00183-3

---

Текст подготовлен для публикации в сети Интернет Православным сетевым братством “Русское небо”

(© RUS-SKY, 1999)

<http://rus-sky.com>

[webmaster@rus-sky.com](mailto:webmaster@rus-sky.com)